К. А. Куприна

КУПРИН — МОЙ ОТЕЦ

К. А. Куприна

КУПРИН — МОЙ ОТЕЦ

Издательство
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Москва — 1971

8Р2
К92

Художник В. А. САВОСТЬЯНОВ

Куприна К. А.

К92 Куприн — мой отец. М., «Сов. Россия», 1971.

256 с. с илл. на вкл.

Книга Ксении Куприной — дочери выдающегося русского писателя Александра Ивановича Куприна, 100-летие со дня рождения которого отмечалось в 1970 году, носит биографический характер. В этих воспоминаниях полнее раскрывается образ писателя, его характер, взаимоотношения с друзьями. Некоторые стороны биографии Куприна благодаря интересным наблюдениям, отдельным деталям и фактам, сообщенным автором, станут более понятными читателю. Последняя глава книги посвящена возвращению Куприна из эмиграции на родину.

7—2
109—70

8Р2

ОТ АВТОРА. Когда поезд, увозивший моих родителей на родину, двинулся, мне поневоле пришлось разжать руки, державшие руки моего отца. Я еще долго стояла одна на перроне парижского Северного вокзала. Что-то во мне оборвалось, я почувствовала, что видела родителей в последний раз, и, несмотря на теплый день, меня охватил озноб.

Я не поехала с родителями по многим личным причинам.

В душе у меня двоилось. Я была счастлива, что отец мой в конце своей многострадальной жизни обретет то, о чем он уже не смел мечтать: покой, прощение, любовь своего народа. Он так страстно тосковал по своей родине в течение семнадцати лет!

Чувство родины для нас, второго поколения эмигрантов, то есть для тех, кто был вывезен детьми, конечно, совсем другое, чем у родителей, потерявших свой дом, свой язык, привычки, воспоминания молодости и всей сознательной жизни,— словом, потерявших все.

Мы же, второе поколение, уже учились на чужбине. Обычаи, язык той страны, где мы находились, были большинством из нас полностью освоены. Но, несмотря на это, мы всегда чувствовали себя иностранцами, живущими из милости, и если мы порою и забывали об этом, то нам напоминали дети в школе, администрация в ограничениях работы. Так, прожив 38 лет в Париже, я считалась иностранкой. У меня не было паспорта, а только удостоверение личности, оно же и вид на жительство, в котором как клеймо стояло слово «Apatride» (без родины).

Первое яркое чувство родины у меня проснулось, когда во время немецкой оккупации в Париже я увидела на улице и в метро множество людей с газетами в руках, где жирным шрифтом в передовой было напечатано слово «Москва». У меня потемнело в глазах, и я заплакала от ужаса, вообразив, что немцы извещали о взятии Москвы. Впоследствии я уже всем сердцем следила за успехами Красной Армии.

Простые французы, слушавшие под секретом и с большим риском иностранное радио, часто обращались ко мне

с ликованием — «Ваши-то держат Сталинград!», «Ваши-то гонят немцев! Молодцы!»

И я гордилась «своими».

Второй раз я снова почувствовала себя не только русской, но и советской, за несколько дней до освобождения Парижа от оккупантов.

Париж тогда представлял довольно странную картину. Ветер вздымал столбы пыли, мёл бумаги, газеты, трепал полуоборванные гитлеровские плакаты и лозунги. Из особняков судорожно грузили ворованные картины, ковры, мебель.

По улицам иногда маршировал, шаркая не в ногу, немецкий патруль человек в двадцать, состоявший из стариков и подростков, одетых явно не по росту.

С визгом из переулков выскакивали машины, за которыми гнались другие, перестреливаясь на дикой скорости. Уже совсем близко бабахали тяжелые орудия.

Носились какие-то тревожные слухи, что немцы, уходя, взорвут Париж. Население застыло в тяжелом ожидании.

Но Париж пощадила война, его почти не бомбили.

Впоследствии мы узнали, что в самом деле коменданту Парижа Дитриху фон Хольтицу был дан приказ взорвать столицу при отступлении. Не успев покинуть город, он вместе со своим штабом сдался 26 августа.

В ночь на 25 августа вдруг воцарилась удивительная тишина, которую приблизительно в полночь нарушил далекий одинокий звук колокола. И сразу зазвонил телефон. Электричество и газ давно были выключены, но телефон почему-то действовал. Всю ночь Париж перезванивался, поздравляя друг друга с освобождением. Спать никто не мог.

Утро выдалось прекрасное, солнечное. Все население высыпало на улицы, бульвары, авеню. Все бежали в направлении Триумфальной арки, бежали с радостными лицами, букетами, целовались, жали друг другу руки. Побежала и я. Первыми вошли в Париж части генерала Леклера, за ними американцы, канадцы, англичане. Мы услышали гул, а потом, наконец, увидели танки и бронемашины, забросанные цветами.

Лица, руки, рубашки бойцов были сплошь в красных отпечатках губ восторженных парижанок. Толпа становилась все гуще и гуще. Вдруг среди общего ликования с крыш застрочили пулеметные очереди. Танки и бронемашины за-

стопорили и подняли дула пулеметов к небу. На крышах прятались гитлеровские прислужники, которых немцы не взяли с собой. Они нашли там последнее убежище и, зная свою участь, мстили союзным войскам и толпе. Дней десять за ними охотились в лабиринте парижских крыш. Много мирных граждан погибло от шальных пуль в этот радостный день.

Возвращаясь по самой красивой авеню мира, авеню Булонского леса, я увидела, что дома расцвечены флагами: французскими, английскими, американскими, бельгийскими... Но советских в этом районе богачей нигде не было. Они забыли о самоотверженной борьбе Советской Армии, забыли или хотели забыть, чем они обязаны Советскому Союзу.

Мне стало обидно. Дома я наспех распорола широкую красную шерстяную юбку, нашила на нее желтые серп и молот, воспроизведя, может быть не совсем точно, советский флаг, и водворила его на окно.

Простые французы, рабочие, проходя мимо, улыбались и кричали: «Браво!»

В пригородах и рабочих кварталах этот флаг не был забыт.

Когда окончилась война, я стала разыскивать свою мать, оставшуюся в Ленинграде после смерти отца в 1938 году, надеясь, что она пережила блокаду. К несчастью, я узнала, что она покоится рядом с ним на Волковском кладбище.

Вернулась я в 1958 году и только в Советском Союзе поняла, насколько любит и ценит моего отца советский народ. Такой широкой популярности я не ожидала.

Я не думала, что когда-либо возьмусь за перо. В нашей семье никогда не велось дневников, ничего не записывалось, ничего не береглось. Документы и письма часто терялись или выбрасывались. Отец всегда высмеивал какие-либо литературные потуги мамы или мои. Но, встретив такой горячий интерес к Куприну как человеку, к его жизни, к самым незначительным его привычкам и вкусам, я подумала, что обязана написать то, что помню. Со мной уйдет последний челоеек, проживший рядом с Куприным 29 лет, хотя очень трудно писать о своих родителях, так как в детстве и в юности мы больше думаем о себе и мало знаем их внутренний мир.

Я часто буду в этой книге прибегать к еще не опубликованным письмам, документам, высказываниям моего отца и его современников. В остальном же просто постараюсь вспомнить мою жизнь рядом с ним.

Я бесконечно благодарна всем, кто помог мне в моих розысках, современникам Куприна, рассказавшим многое о нем.

Особую благодарность и глубокое уважение я испытываю к Эммануилу Марковичу Ротштейну, ныне покойному, человеку, полюбившему талант моего отца самой верной любовью и отдавшему 30 лет своей жизни, чтобы создать огромный архив, посвященный жизни и творчеству Куприна. Эммануил Маркович мечтал составить «Летопись жизни и творчества А. И. Куприна», но преждевременная смерть прервала этот монументальный труд. Э. М. Ротштейн дал мне первые советы, когда я приступала к работе. Архив, любезно предоставленный его вдовою, очень помог мне.

Только вернувшись в 1958 году в Советский Союз, читая документы, вникая в письма, слушая рассказы немногих оставшихся современников, я по-настоящему начала узнавать и понимать моего отца. Понимать, не анализируя его литературный путь, его жизнь. Понимать многое в его характере и поступках, с его чисто человеческими достоинствами и недостатками. Как ни странно, рядом с громадной жизнерадостностью и любознательностью ко всему у Куприна часто случались приступы меланхолии, отвращения к себе, растерянности, усталости. Буйным и злым он делался только, когда выпивал, и те некоторые скандальные истории, которые вечно ему приписываются, хотя и не все достоверны, происходили под влиянием алкоголя, действовавшего на него раздражающе. Но в каком бы состоянии он ни был, я никогда не видела, чтобы он поднял руку на животное, на ребенка, на женщину или слабое и униженное существо.

Несмотря на врожденный писательский талант, зоркую наблюдательность и неустанную работу над языком своих произведений, ему не хватало высшего образования, общей культуры. Куприн часто об этом сожалел и с жадностью впитывал все, что могло обогатить его живую память.

Я думаю, что многое в его противоречивом характере можно объяснить казенным детством, военным воспитанием. Он был болезненно самолюбив и уязвим. Отец как-то ска-

зал Бунину: «Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. Я на честолюбие не имею даже права. Я писателем стал случайно, долго кормился чем попало, а потом стал кормиться рассказиками, и вот вся моя писательская история».

В Пушкинском доме, в Ленинграде, сохранились коекакие записи Елизаветы Морицовны Куприной, моей матери. По настоянию многих ее друзей после смерти А. И. Куприна она задумала написать свои воспоминания. К сожалению, война и блокада прервали эту работу, и с ее трагической смертью ушел драгоценный свидетель — самый близкий и любящий человек, проживший все трудные годы рядом с Куприным.

Скромная маленькая самоотверженная женщина, никогда не желавшая ничего для себя и жившая только ради Александра Ивановича, так хотела начать свои воспоминания:

«Если, дожив до старости, никогда не вел дневников, и однажды, сев в удобное кресло, начнешь вспоминать себя с раннего детства и всех людей, встречавшихся на пути, то кажется, что смотришь в калейдоскоп. Вот так и я всю жизнь куда-то стремилась, о ком-то заботилась, никогда не занимаясь воспоминаниями пройденного пути, дневники презирала, так как в них часто люди заносят под влиянием минуты много лишнего, компрометирующего людей, а зачастую просто сплетни и, еще хуже, предположение о людях. Личной жизни у меня не было, да она и неинтересна никому, но судьба меня сводила с большими людьми, о них-то мне и хочется поделиться».

Биография моей матери тесно связана с Маминым-Сибиряком, с его дочерью Аленушкой, с литературной средой и переплетается с жизнью А. И. Куприна задолго до их женитьбы. Поэтому моя мама собиралась начать свою книгу с воспоминаний о Марии Морицовне — жене Мамина — и своего детства в доме писателя. Я следую ее воле.

Глава I

МАРИЯ МОРИЦОВНА

Во многих семьях есть свои тайны и легенды, которые сильно действуют на воображение детей: то ли дед — капитан дальнего плавания, то ли брат — солдат, погибший героем, то ли прабабка, танцевавшая с самим Пушкиным. Таким романтическим образом в нашей семье была моя тетка, Мария Морицовна Абрамова, умершая задолго до моего рождения.

Я не помню, когда и какими судьбами ее сундук с театральными костюмами попал к нам в Гатчину. Тогда мне было лет семь. Мама позволила мне играть с ними. Для меня это был сундук со сказочными богатствами. Костюм Василисы Мелентьевны с кокошником, богато вышитым жемчугами, голубой атласный сарафан, прозрачные вуали, затканные золотом, костюм пажа из малинового бархата, перья, веера, бутафорские драгоценности.

В Ленинграде, на Волковом кладбище, есть скромный памятник на могиле писателя Мамина-Сибиряка. На барельефе Мамин и его дочь Аленушка. У их ног доска: Мария Морицовна Абрамова. 1865—1892 г.

Мало кто знает, что Мария Морицовна была гражданской женой Мамина-Сибиряка, матерью Аленушки, — интересным человеком, талантливой актрисой с мечущейся творческой душой.

Мария Морицовна родилась в Перми. Ее отцом был венгр Мориц-Гейнрих Ротони. Говорят, что он был старинного графского рода, что он участвовал в восстании мадьяров в 1848 году и был ранен. Ему пришлось бежать в Россию, так как за его поимку назначена была большая награда.

Сначала он долго жил в Оренбурге, женился на сибирячке, переменив свою фамилию на Гейнрих. Позже он переехал в Пермь, где открыл фотоателье. У него была большая семья. Мария Морицовна была старшей, потом десять мальчиков и, наконец, последняя — девочка Лиза (1885) — моя мать.

В 1880 году в Пермь был сослан на жительство молодой В. Г. Короленко. В свободное время он занимался педагогической деятельностью, был учителем и у многочисленной семьи Гейнрихов. К молодому ссыльному потянулась местная молодежь. Сходились по вечерам, читали и обсуждали нелегальщину.

В 1881 году был убит Александр II. Власти потребовали от Владимира Галактионовича подписать присягу Александру III. Он отказался. Его решили сослать в самую глушь Сибири.

11 августа 1881 года в 8 часов вечера на вокзале собрались друзья и местная молодежь, чтобы проводить будущего писателя. Среди них была и 16-летняя Мария Морицовна.

Мориц-Гейнрих Ротони был очень строгим и властным отцом, а у Маруси, несмотря на молодость, характер был гордый и своенравный. Часто между дочерью и отцом происходили ссоры, а однажды он высек Марусю. Глубоко оскорбленная, она уехала в Казань, где поступила на фельдшерские курсы, но вскоре бросила учебу ради театра. Чтобы отец не мог ее вернуть силой, Мария Морицовна вышла замуж за актера Абрамова.

Она много ездила по всяким городам и городишкам. Часто брала с собой свою маленькую сестренку Лизу. Умная, начитанная, красивая, взбалмошная, Мария Морицовна томилась пошлой средой, в которую попала, и тяжкими условиями провинциальных театров конца столетия. Брак с Абрамовым оказался неудачным. Двадцатитрехлетняя молодая женщина пишет Короленко:

«На сцене я добилась того, к чему так сильно стремилась, — сделалась «заправской актрисой», с репертуаром, «с положением», — как у нас называется; получаю двести рублей в месяц жалования и два бенефиса, а это по провинциальному считается очень хорошо.

Никогда не забуду, как я начинала, разыгрывалась в Мулах[1], помните? — и просила Вас смотреть и сказать по

[1] На берегах Камы в окрестностях Перми существовали Большие и Малые Мулы, где организовывали летом театральные представления,

совести, есть ли у меня талант. И Вы сказали мне — да! И я была ужасно как счастлива. Но мне не для того только хотелось быть актрисой, чтобы получать деньги — занимать положение, а чтобы быть полезным членом общества, приносить добро своим трудом! А вот этого-то нет. А напротив, с каждым днем убеждаешься, что и признака никакой пользы нет, а только кривляние да ломание самой себя, своих сил и жизни на потеху праздной толпы, и так больно и гадко сделается, что и сказать нельзя. Хоть в омут головой, а жизнь, которую, поневоле, приходится вести — такая пошлая, грязная, безобразная, яма помойная. А люди, которые живут этой жизнью, о них и говорить нечего. Слова человеческого, хорошего в пять лет ни разу не слыхала. А вне сцены то же самое. Кто знакомится с актрисами? Первбрядники, ловеласы всевозможные, которые смотрят на актрису, как на кокотку высшего разряда.

...Одно знаю, чувствую, что верить надо, сильно верить во что-нибудь, да не могу. Во что? Научите! Почему я Вам так пишу — сейчас скажу.

Помните, когда мы в Перми бегали с Верой, в Кам, послушать Вас. Я была еще совсем, совсем неразумной, глупенькой девочкой — со стремлением к пользе и добру. А Вы так хорошо говорили, что только сильнее хотелось этого добра — и так хорошо делалось на душе от Ваших слов. И верилось во что-то... И потому, что не фразы то были — это чувствовалось. Я смотрела на Вас тогда, как на что-то высшее, чем обыкновенные люди, — и самой хотелось быть такой...»[1].

Приблизительно через год после этого письма ей удалось осуществить свою давнюю мечту. Она приехала в Москву, где сняла Шалапутинский театр, назвав его театром Абрамовой. Там впервые был поставлен «Леший» Чехова, разгромленный критикой. «Эта мелодрама, — писал некий Ив. Иванов в журнале «Артист», — на учено-эстетической основе довольно своеобразна, но, как всякая мелодрама, неестественна и комична».

Театр этот вскоре прогорел из-за административной неурядицы и беспорядочного ведения дела. В это время умерла мать актрисы в Перми. Марии Морицовне пришлось позаботиться о своих младших братьях и сестренке, что в

---

[1] Письма М. М. Гейнрих-Абрамовой хранятся в Музее Короленко в Полтаве.

какой-то мере отвлекло ее от скорби о погибшем театре. В 1890 году она подписала договор на гастроли в Екатеринбурге, куда переехала вместе с семьей. Там она встретилась с Маминым-Сибиряком.

О первой встрече с ним Мария Морицовна написала Короленко: «Был у меня сегодня Мамин-Сибиряк. Я говорила в первый день приезда, что хотелось бы познакомиться, — ему передали, и вот он нанес мне визит — и очень понравился, такой симпатичный, простой»... Мамин-Сибиряк пишет об этой встрече более подробно: «Первое впечатление от Марии Морицовны получилось совсем не то, к какому я был подготовлен. Она мне не показалась красавицей, а затем в ней не было ничего такого, что присвоено по штату даже маленьким знаменитостям: не ломается, не представляет из себя ничего, а просто такая, какая есть в действительности. Есть такие особенные люди, которые при первой встрече производят такое впечатление, как будто знаешь их хорошо давно. Именно под таким впечатлением я откровенно заметил:

— Я могу только удивляться, Мария Морицовна, что вы забрались в такую глушь... Думаю, что это печальная ошибка и что вы не выживете у нас даже одного сезона.

— Я постоянно служила в провинции, а затем у меня есть кое-какие дела именно здесь.

Она даже вздохнула и какая-то больная улыбка осветила это чудное молодое лицо, полное такой чарующей внутренней красоты. Это было одно из тех удивительных лиц, в которые нужно вглядеться и которые, чем больше в них вглядываетесь, тем больше вам нравятся. Меня поразила красота выражения и та дорогая простота, которая сказывалась в каждом движении.

...Из разговора с Марией Морицовной я убедился, что с другими актрисами она имеет мало общего, как женщина образованная, интересы которой не ограничиваются исключительно театральной сферой. Мы говорили о литературе, писателях, последних книжках, новых журналах, и я еще раз убедился, что имею дело с серьезно образованным человеком, много думавшим и передумавшим».

О первом спектакле, в котором он увидел Марию Морицовну, Мамин-Сибиряк пишет: «В первый раз я увидел Марию Морицовну в «Нищие духом», — она играла Кондорову. Как теперь помню этот спектакль. Скажу опять, что я шел в театр с некоторым предубеждением, которое питаю

вообще к гастролерам. Видел я их на своем веку достаточно и хорошо знаю, чего стоят стереотипные газетные рецензии. Мария Морицовна, хотя и не была патентованной знаменитостью, но о ней знали и в нашем захолустье. В первом же действии, когда я увидел Кондорову, все сомнения рассеялись. На сцене Мария Морицовна была замечательной красавицей. Это была, действительно, красота поражающая, колоритная, эффектная... Каждое движение, каждый жест, взгляд — была красота уверенная, спокойная, полная самой собой. И все гармонировало одно с другим».

Островая-Сигова[1] вспоминает в своей коротенькой заметке: «Во время гастролей Абрамовой в Екатеринбургском театре я была рецензентом и имела особое место в театре. Каждый раз, когда выступала Абрамова, Мамин приходил в театр. Его место было рядом со мной. В антрактах Дмитрий Наркисович не выходил в фойе, а бывать за кулисами было запрещено Абрамовой. Я тоже оставалась на месте, предпочитая беседу с ним прогулке по фойе, и мы подолгу разговаривали. ...На моих глазах происходило перерождение Мамина в другого человека, вызывавшее сначала удивление, а потом глубокое сочувствие. Это уже был совсем не тот человек, которого я знала раньше. Куда девался его желчно-насмешливый вид, печальное выражение глаз и манера цедить сквозь зубы слова, когда он хотел выразить свое пренебрежение к собеседнику. Глаза блестели, отражая полноту внутренней жизни, рот приветливо улыбался. Он на моих глазах помолодел. Когда на сцене появлялась Абрамова, он весь превращался в слух и зрение, не замечая ничего окружающего. В сильных местах ее роли Абрамова обращалась к нему, глаза их встречались и Мамин как-то подавался вперед, загораясь внутренним огнем, и даже румянец выступал на его лице.

...Когда опускался занавес, Дмитрий Наркисович обращался ко мне и вполголоса говорил:

— Хороша?

Я кивала головой. Затем он, видимо, погружался в мечты. После спектакля он провожал артистку домой».

Мамин не пропускал ни одного спектакля. Смотрел ее в ролях Медеи, Маргариты Готье, Адриенны Лекуврер и Василисы Мелентьевны; последнюю он считал лучшей

---

[1] Воспоминания И. Островой-Сиговой, как и письма Мамина, хранятся в Музее Мамина-Сибиряка в Свердловске.

ролью Марии Морицовны. Очень портила впечатление уездная труппа. Актеры путали выхода, играли исключительно под суфлера. В сущности играли по-настоящему одни гастролеры.

В своих воспоминаниях о Марусе[1] Мамин-Сибиряк пишет: «...не оставляя, так сказать, вещественных памятников своей деятельности, артист все-таки вносит очень много в культуру, в развитие масс, просто в ежедневный обиход самого обыкновенного среднего человека. Театр является могучим проводником лучших чувств, неумирающих идей и той правды, которая должна стоять как светильник на горе. В этом отношении миссия истинного артиста грандиозна и его деятельность, без сомнения, оставляет после себя широкий след. Кто высчитает, измерит и взвесит те восторги, слезы и хороший здоровый смех, которые вызываются талантливой игрой... Помню хорошо последнюю заветную мечту Марии Морицовны о народном театре.

— Он будет, этот народный театр, — убежденно повторяла она. — И если стоит работать, то только для него... Мое последнее желание — основать именно такой театр. Я убеждена, что он пойдет прекрасно, и я с удовольствием бы положила на него все свои силы.

Этой мечте не суждено было сбыться, но ее осуществление только вопрос времени».

Мамин-Сибиряк хотел издавать в Екатеринбурге газету, но хлопоты ни к чему не привели, власть имущие не могли ему простить какого-то инцидента в прошлом. Одновременно он начал писать повесть «Братья Гордеевы». Уже после смерти Марии Морицовны он передал черновик повести Фидлеру с надписью: «Эта повесть написана в период любви и счастья... Да будет вечна память о той, которая любила автора и которую любил автор. Дарю эту рукопись другу Федору Федоровичу Фидлеру[2]. 22 октября 1892 г.».

Страстная любовь этих двух известных людей вызвала много толков. Об этом даже писали в газетах. Мамин-Сибиряк и Мария Морицовна вынуждены были уехать из Екатеринбурга, захватив с собой маленькую Лизу, мою

---

[1] «Дневник Артиста», № 4. Приложение к журн. «Артист». М., 1892.

[2] Ф. Ф. Фидлер — создатель замечательного литературного музея, собиратель рукописей и переводчик русских поэтов на немецкий язык. Он дружил со многими писателями и поэтами своего времени. Рукопись его воспоминаний хранится в ЦГАЛИ.

мать. Поселились они в Петербурге на Миллионной улице. Жили скромно, почти нигде не бывали. Мария Морицовна вполне была счастлива в тесном литературном кружке. Она ждала ребенка. Их большим другом был Николай Константинович Михайловский, видный народнический деятель, публицист и литературный критик, редактор журнала «Русское Богатство». Счастье длилось недолго. Мария Морицовна умерла 27 лет, через два дня после рождения Аленушки.

О своем горе Мамин-Сибиряк писал матери:

«Милая, дорогая мама, завтра «великий день», самый теплый русский праздник, а я его буду встречать своим черным горем, своими слезами, своим одиночеством... Я сейчас живу тенью, хожу тенью, работаю тенью. Но есть и жизнь, моя родная старушка, такая маленькая слабенькая жизнь, которая едва тлеет. Моя девочка Елена почти совсем поправилась. Ей уже две недели, и она начинает походить на человека. Все знакомые находят, что девочка очень походит на мать, и это меня больше всего радует. Буду жить для этого маленького существа, буду работать для него и буду им счастлив...»

Ф. Ф. Фидлер пишет: «Через несколько недель, когда я его посетил впервые, — мое внимание привлекли гостиная и кабинет: они представляли из себя маленький музей, посвященный памяти покойной Маруси. Повсюду висели, стояли и лежали ее портреты — от громадного, в человеческий рост, до миниатюрного...»

Роман «Золото» Мамин-Сибиряк посвятил Марии Морицовне.

Глава II

ЛИЗИНО ДЕТСТВО

Мамин-Сибиряк остался с двумя детьми: новорожденной Аленушкой и 10-летней Лизой, сестрой Маруси. Он пишет Морицу Гейнриху, отцу девочки, моему деду, который к этому времени очень опустился:

«У меня осталась на руках Ваша дочь Лиза. Вы пишете, что устроите у старшего брата. Дело в том, что мне хотелось бы в память Марии Морицовны дать хорошее воспитание Лизе, которое в Е. недоступно. Я ее помещу в институт или в женскую гимназию».

Через некоторое время Дмитрий Наркисович сообщает отцу Лизы: «После смерти М. М. я устроил ее (Лизу) в хорошее семейство — у Давыдовой, вдовы директора консерватории, семья вполне приличная».

А. А. Давыдова была вдовой Карла Юрьевича Давыдова, избранного после смерти Антона Рубинштейна директором Петербургской консерватории. Он был композитором, а также прекрасным виолончелистом. Сама Давыдова слыла красавицей и умницей. Ей принадлежал литературный журнал «Мир божий», в котором она была главным редактором. У Александры Аркадьевны была единственная дочь, Лидия Карловна, вышедшая замуж за И. Туган-Барановского, известного ученого-экономиста. В семье жила еще и приемная дочь — Мария Карловна, будущая первая жена Куприна, унаследовавшая после смерти Александры Аркадьевны и Лидии Карловны журнал «Мир божий».

Дом Давыдовых посещали самые интересные и талантливые люди Петербурга.

С большим сочувствием А. А. Давыдова отнеслась к горю Дмитрия Наркисовича. Она приютила у себя Аленушку и Лизу, а когда Мамин поселился в Царском Селе, Давыдова порекомендовала ему бывшую гувернантку Марии Карловны, жившую с ними Ольгу Францевну Гувале, по происхождению немку, чтобы вести его дом и смотреть за детьми.

Мамин-Сибиряк еще долго горюет. На сороковой день он пишет отцу Маруси, что собирается поставить часовенку и бюст Маруси. «Каждый день оплакивать Марусю хожу к ней на кладбище. Скажу Вам еще раз, что смерть М. М. унесла мое счастье и я могу только ходить на ее могилу и оплакивать свое горе».

Своей матери он пишет: «Милая дорогая мама, сегодня мне, наконец, минуло сорок лет... роковой день... Я считаю его смертью, хотя умер на полгода раньше... Дальше каждый год явится своего рода премией. Так и буду жить.

Оглядываясь назад и подводя итоги, должен сознаться, что, собственно говоря, не стоило и жить, несмотря на внешний успех и имя... Счастье промелькнуло яркой кометой, остался тяжелый и горький осадок. Благодарю имя той, которая приносила это счастье, короткое, мимолетное, но настоящее...

Мое будущее в могиле рядом с ней.

Дочка Аленушка да простит мне эти малодушные слова:

когда она сама будет матерью, она поймет их значение. Грустно, тяжело, одиноко.

Наступила слишком ранняя осень. Я еще в силах и, может быть, проживу долго, но что это за жизнь: тень, призрак».

«...У меня одна мысль о Марусе и я, вероятно, сойду на ней с ума, — писал Мамин также своей сестре Елизавете Наркисовне. — Бывают дни, когда мне делается просто страшно. Мысли путаются в голове, а сердце сосет могильная тоска. Хожу гулять, чтобы громко разговаривать с Марусей».

Брак с Марией Морицовной не был официально зарегистрирован, так как Абрамов не соглашался на развод, и только в 1902 году Мамин смог удочерить Аленушку. Понемногу Ольга Францевна крепко забрала в свои руки бразды правления в небольшой семье Мамина. Лизу она невзлюбила. Моя мама часто мне рассказывала о своем тяжелом детстве. Из гордости она не жаловалась Дмитрию Наркисовичу. Постоянно, даже в мелочах, Ольга Францевна давала ей почувствовать, что фактически она чужая и живет из милости. Всяких обид было столько, что несколько раз Лиза убегала. Первый раз в редакцию «Мира божьего», второй раз — в цирк, куда она решила поступить. Мамин-Сибиряк привозил ее обратно.

Дмитрий Наркисович безумно любил Аленушку. Она была болезненная, хрупкая, очень нервная девочка. Чтобы ее успокоить, он перед сном рассказывал ей сказки. Так родились прелестные «Аленушкины сказки».

Понемногу все портреты Марии Морицовны пропали из кабинета Мамина-Сибиряка. Строгий порядок, педантичность, расчетливость, граничащая со скупостью,— все это было глубоко чуждо Мамину. Часто вспыхивали скандалы. И все-таки он был полностью под влиянием Гувале, которая через несколько лет стала его женой.

Ревность к покойнице никогда не покидала ее. Даже после смерти Мамина она говорила Федору Федоровичу Фидлеру, что Мамин жил с Марусей всего полтора года, но это время было для него сущим адом, о котором он вспоминал с ужасом, — до того невыносим был характер покойницы: «крутой, своенравный, злобный и мстительный». Все это явно противоречит письмам и воспоминаниям Мамина. Он всегда продолжал любить Марусю и воспитывал эту любовь в Аленушке.

Мария Карловна часто навещала свою бывшую гувернантку, ее отношения к Лизе были как старшей высокообразованной девицы к маленькой нелюбимой сиротке.

После свадьбы Марии Карловны с Куприным, когда у них родилась дочь Лидия, ее крестной матерью была Ольга Францевна Гувале.

Понемногу Лиза превратилась в прелестную девушку с редкой улыбкой.

Ничего нет горше детских обид, страшнее растоптанной веры в справедливость людей и ударов по самолюбию.

Лиза была очень небольшой, с миниатюрными ножками и ручками, пропорциональна, как статуэтка Танагра. Лицо бледно-матовое, точеное, с большими серьезными карими глазами и очень темными волосами. Ей часто говорили, что она похожа на свою сестру Марию Морицовну.

Пошли сплетни, что Мамин неравнодушен к Лизе. Ей стало еще тяжелее, так как Ольга Францевна начала без всяких причин ревновать. Лиза решила окончательно покинуть дом Маминых и поступила в Евгеньевскую общину сестер милосердия. Об этом событии вспоминает Фидлер в октябре 1902 года: «Мамин праздновал свои именины в Царском Селе на новой квартире (Малая ул., 33) освещенной электрическим светом. Было много гостей, но сам виновник торжества почти ничего не пил и имел необычно мрачный вид, — вероятно, удрученный решительным заявлением Лизы, что она не уйдет из Общины сестер милосердия».

Ухаживать за больными, спасать от смерти людей оказалось настоящим призванием Лизы, сутью всего ее существа. Она мечтала о самопожертвовании. Мамин несколько раз ездил в Общину, умолял Лизу вернуться, но на этот раз ее решение было бесповоротным.

Началась русско-японская война. Лиза в качестве сестры милосердия в феврале 1904 года добровольно попросилась на Дальний Восток. Мамин-Сибиряк страшно за нее беспокоился, делал все, чтобы воспрепятствовать отъезду, тщетно упрашивал остаться, даже запил с горя.

Проводы уезжающих на фронт были торжественными: флаги и музыка. Дмитрий Наркисович приехал проводить Лизу на Николаевский вокзал. После отъезда он говорил о ней с Фидлером с чисто отеческой любовью и трогательной озабоченностью.

По коротким запискам моей матери известно, что поезд-

ка на фронт оказалась очень тяжелой: поезда были переполнены, теплушки перегружены. А тут еще в Иркутском туннеле с поездом, в котором ехала Лиза, случилось крушение: первые тяжелые впечатления, первые убитые и раненые.

В Иркутске мама встретила одного из своих братьев, остальные разбрелись кто на Дальний Восток, кто в Харбин, кто в Китай. Потом ей предстояла длинная дорога на ледоколе по Байкалу, потом Харбин, Мукден (Порт-Артур был уже сдан). Солдаты болели тифом, дизентерией, появилась даже чума. Поезда обстреливались.

Лиза вела себя самоотверженно и была награждена несколькими медалями. Вскоре она снова в Иркутске, где встретила свою первую любовь — молодого врача, грузина. Они обручились. У Лизы всю жизнь были твердые понятия о честности, доброте, о чести. Тем страшнее ей показалось крушение веры в любимого человека. Она случайно увидела, как ее жених бил беззащитного солдата, бил с увлечением, со смаком, до крови.

Она немедленно порвала с ним, но была так потрясена, что чуть не покончила самоубийством. Чтобы больше с ним не встречаться, Лиза взяла отпуск и вернулась в Питер к Маминым, где атмосфера для нее не стала легче.

Глава III

КУПРИН

Биография моего отца довольно широко известна, и я не ставлю себе задачей охватить в книге целиком его жизнь и творчество. Я хочу только напомнить читателю о переломных моментах его молодости, переменах, повлиявших на формирование его характера.

Отец очень гордился своим татарским происхождением по линии матери.

Во второй половине XVII века прадед Александра Ивановича Куприна князь Куланчаков был пожалован поместьем в Наровчатском уезде Пензенской губернии. Согласно семейным преданиям разорение предков произошло в результате их буйных нравов, расточительного образа жизни и алкоголизма.

Дед Александра Ивановича приобрел в Пензенской

губернии две захудалые деревеньки — Зубово в Наровчатском уезде и Щербанку в Мокшинском. Но разорение продолжалось.

Последним потомком Куланчаковых была мать Куприна Любовь Алексеевна, вышедшая замуж за Ивана Ивановича Куприна, канцелярского служащего, а впоследствии письмоводителя Спасской городской больницы.

Первая дочь, Софья, родилась в 1861-м, вторая, Зинаида,— в 1863 году. Потом родилось трое мальчиков, умерших младенцами, и последним Александр, мой отец, в 1870 году.

22 августа 1871 года Иван Иванович Куприн умер от холеры, оставив свою жену, двух старших дочерей и малолетнего Сашу совсем без средств. Гордой и вспыльчивой Любови Алексеевне пришлось унижаться перед чиновниками, чтобы устроить своих девочек в казенные пансионы. А сама она переехала во Вдовий дом в Москву. Сашу ей пришлось взять с собой, он прожил три года в совсем неподходящей обстановке для ребенка, среди старушечьих интриг, сплетен, подхалимства к богатым и презрения к бедным.

Он боготворил свою мать, но часто стыдился унижений, которые ей приходилось терпеть ради детей, когда она обращалась к благодетелям учреждений. Я думаю, что тогда и зародилось у Куприна бешеное самолюбие. Он никогда не мог потом забыть ее унизительных фраз, обращенных к высокопоставленным лицам. Но что могла она сделать? Ей же нужно было вырастить троих детей? Потом ей удалось поместить Сашу в Разумовский сиротский приют.

С шести лет началось для мальчика детство, которое он впоследствии во многих своих произведениях назовет «поруганным» и «казенным».

В 1880 году Саша Куприн выдержал вступительные экзамены во 2-ю Московскую военную гимназию, преобразованную вскоре в кадетский корпус, как и все военные гимназии.

В своем рассказе «На переломе» Куприн описывает, как за незначительный проступок его приговорили к десяти ударам розгами. «В маленьком масштабе он испытал все, что чувствует преступник, приговоренный к смертной казни». И кончает он рассказ словами: «Прошло очень много лет, пока в душе Буланина (Куприна) не зажила эта кровавая, долго сочившаяся рана.

Да полно — зажила ли?»

В этом рассказе описывается штатский воспитатель Кикин, по доносу которого Буланин был приговорен к розгам.

«Безличное существо, одинаково робевшее и заискивавшее как перед мальчиками, так и перед начальством».

Когда рассказ появился в «Ниве» в 1906 году, Куприн получил невероятно грубое и ругательное письмо от Кикина, который был возмущен, что отец не изменил его фамилии. Кикин угрожал судом.

Отец с чувством удовлетворенной мести хранил это письмо. Рана так и не зажила!

Тема телесного наказания звучит и в рассказе «Механическое правосудие».

Уже с тринадцатилетнего возраста Саша Куприн пишет стихи, чаще всего сидя в карцере за буйный нрав.

В 1888 году из-за слезных просьб матери, которой казалось, что военная карьера обеспечит сына на всю жизнь, Саша поступил в Александровское военное училище в Москве. Там за «тяжелый проступок» — за первый напечатанный рассказ «Последний дебют» — Куприн был приговорен к карцеру на двое суток.

Позднее он описал свои впечатления детства и юности в таких произведениях, как «Кадеты», «Беглецы», «Юнкера», «Святая ложь». Поэтому, когда его попросили написать свою биографию, он ответил, что почти все его произведения автобиографичны.

После окончания юнкерского училища, в 1890 году, Куприн был зачислен в 46-й Днепровский пехотный полк и послан в качестве подпоручика в самую глушь Юго-Западного края — Проскурово. Жизнь захолустного городка он позднее описал в своем «Поединке».

Чтобы вырваться из засасывающей трясины, подпоручик Куприн стал готовиться к экзаменам в Академию Генерального штаба. В 1893 году он отправился с этой целью в Петербург.

Причина краха на экзаменах известна только со слов самого Куприна. В Киеве в ресторане-барже на Днепре он увидел подвыпившего пристава, оскорблявшего девушку-официантку. Куприн то ли побил его, то ли бросил за борт. Субъект подал жалобу, которая попала к генерал-губернатору Драгомирову, и подпоручик Куприн не был допущен к последующим экзаменам.

Прослужив в захолустье еще четыре года, во время которых Куприн много времени отдавал литературе, он, наконец, подал в отставку и вырвался на волю, хотя знал, что этим наносит страшный удар своей матери.

И с тех пор началась его бродячая, пестрая жизнь. В течение десяти лет он был и грузчиком, и актером, и суфлером, и землемером, работал на литейном заводе, голодал, был журналистом и даже продавцом в лавке санитарных принадлежностей.

В Киеве он начал по-настоящему писать. Там были созданы произведения «Молох», «Киевские типы», «Олеся», «Как я был актером» и др.

Военная муштра и униженное детство не могли не повлиять на формирование его характера. Хотя он и обличал во многих повестях и рассказах военщину и офицерский быт, но воспитание не могло подсознательно не влиять на его мировоззрение. В нем иногда прорывалось некое армейское рыцарство.

В 1902 году, приехав в Петербург, Куприн благодаря Бунину знакомится с Марией Карловной Давыдовой и вскоре на ней женится. Некоторое время он редактирует журнал «Мир божий» вместе с Ф. Батюшковым и А. Богдановичем, ведя отдел беллетристики и поэзии.

Семейная жизнь Куприных была сложной. Мария Карловна — умная, светская, блестящая женщина — задалась целью обуздать буйный нрав Куприна и сделать из него знаменитого писателя. Александр Иванович вначале был очень влюблен в свою жену и нежно любил дочку Лидушу. Но он терпеть не мог светское общество и обязательства, принуждавшие людей исполнять ритуалы, предписываемые средой и обычаями. Великосветским знакомым жены Александр Иванович предпочитал своих богемных друзей, с которыми встречался в маленьких кабачках. Он не выносил над собою никакого насилия — слишком много ему пришлось в молодости «выдрючиваться» перед начальством.

Преданным другом Куприна был профессор Федор Дмитриевич Батюшков, историк и литератор. Их обширная переписка, начиная с 1902 года, свидетельствует о большом влиянии Батюшкова на Куприна. Человек высочайшей культуры, мягкий, обходительный, он помогал Александру Ивановичу творческими советами, снабжал нужными литературными источниками, иногда оказывал материальную

поддержку, защищал его интересы в редакциях журналов, издательств и газет.

В имении Батюшкова — Даниловском Куприн проводил много времени и плодотворно там работал.

Немало было тогда разговоров, что Куприн обязан признанием его таланта своей жене-издательнице и ее высокопоставленным связям. Бешеное самолюбие Александра Ивановича не могло с этим мириться, и он решает не отдавать «Поединок» в «Мир божий». Об этом он пишет 29 августа 1904 года Батюшкову, редактору «Мира божьего»: «О перемене моего решения относительно «Поединка» я только потому не уведомил вас, что был вполне уверен, что это сделает Мария Карловна. Действительно, я отдаю повесть в другое место[1]. Делаю это по многим причинам:

1) потому что в журнале, каком бы то ни было, у меня цензура съела бы три четверти произведения и притом из лучших мест;

2) потому что убежден, что мое имя или мое произведение для журнала ничего существенного не представляет;

3) потому что меня всегда тяготила моя «родственная» связь с журналом; часто мне приходилось слышать темные намеки, товарищеские шутки, отголоски сплетен, смысл которых заключался в том, что меня печатают и хвалят в журнале ради моей близости к нему. Многие и до сих пор говорят мне «ваш журнал» или еще лучше «ваш богатый журнал». И вот поэтому-то ту повесть, которая для меня составляет мой главный девятый вал, мой последний экзамен, я и хочу отделить от этого родственного благоволения. Существуют и еще причины, но о них я покамест не могу упомянуть».

Мария Карловна ревностно относилась к дружбе Куприна с Батюшковым и старалась ее разрушить.

В 1906 году Куприн пишет Батюшкову:

«...Ты меня часто упрекаешь в том, что я не вполне искренен и не все тебе говорю, что всегда бывало для меня мучительным и тяжелым. Позволь же и мне упрекнуть тебя в худшем. Ты расчетливо берег про запас свою неуязвимость на случай разрыва, но для меня это пустяки; это только маленькая царапина по душе. Только запомни мои слова: в первый раз в жизни я так интимно и решительно

[1] В сборник «Знание».

отдал свою дружбу человеку и она не изменится ни от сплетни, ни от вражды, ни от ненависти, ни от твоих или моих ошибок».

Когда Лиза вернулась с войны, Куприны отсутствовали. Их дочка Люлюша, оставленная на няньку, заболела дифтерией. Лиза страстно любила детей. День и ночь дежурила она у постели Люлюши и очень к ней привязалась. Вернувшись в Питер, Мария Карловна обрадовалась привязанности дочери к Лизе и предложила последней поехать с ними в Даниловское, имение Федора Дмитриевича Батюшкова. Лиза согласилась, так как чувствовала себя в то время неприкаянной и не знала, чем себя занять.

Хотя Куприн и Лиза часто встречались, но только на именинах И. К. Михайловского он обратил внимание на ее строгую красоту. Об этом свидетельствует краткая записка моей мамы, где не указана дата этой встречи. Она вспоминает только, что молодежь пела под гитару, что среди гостей был молодой еще Качалов.

В Даниловском Куприн уже по-настоящему влюбился в Лизу. Я думаю, что в ней была та настоящая чистота, та исключительная доброта, в которых очень нуждался в то время Александр Иванович. Однажды во время грозы он объяснился с нею. Первым чувством Лизы была паника. Она была слишком честной, ей совсем не было свойственно кокетство. Разрушать семью, лишать Люлюшу отца казалось ей совершенно немыслимым, хотя и у нее зарождалась та большая, самоотверженная любовь, которой она впоследствии посвятила всю жизнь.

Лиза снова обратилась в бегство. Скрыв от всех свой адрес, она поступила в какой-то далекий госпиталь, в отделение заразных больных, чтобы быть совсем оторванной от мира.

В феврале 1907 года для друзей Куприных стало ясно, что супруги несчастливы и что разрыв неизбежен. Куприн поселился в гостинице «Пале-Рояль» в Питере и стал сильно пить. Федор Дмитриевич Батюшков, видя, как Александр Иванович губит свое железное здоровье и свой талант, взялся разыскать Лизу. Он нашел ее и стал уговаривать, приводя именно такие аргументы, которые только и могли поколебать Лизу. Он говорил ей, что все равно разрыв с Марией Карловной окончателен, что Куприн губит себя и что ему нужен рядом с ним именно такой человек, как она. Спасать было призванием Лизы, и она

согласилась, но поставила условием, что Александр Иванович перестанет пить и поедет лечиться в Гельсингфорс.

19 марта Александр Иванович с Лизой уезжают в Финляндию, а 31-го разрыв с Марией Карловной становится официальным.

Куприну была чужда светская наигранность, легкое кокетство, обмен взглядов и полуулыбок, которые в общем ничего не значат и как бы входят в правила салонного этикета. Я помню, как отец выгнал какого-то несчастного молодого человека из нашего дома только за то, что ему показалось, он смотрел на меня «грязными глазами». Отец всегда ревниво следил за мною, когда я танцевала, и уже по тому можно судить о его бешеной реакции, когда Мария Карловна намеками давала ему понять, кто и как за ней ухаживает. Если судить по воспоминаниям самой Марии Карловны, то создается впечатление, что Куприн совсем не мог работать дома. Странно подумать, что, живя в одном городе со своей женой и ребенком, он снимал комнату в гостинице или уезжал в Лавру, в Даниловское, либо в Гатчину, чтобы писать.

Из Гурзуфа, куда поехали Лиза и Александр Иванович после лечения, отец пишет Батюшкову пятого мая 1907 года[1].

«Я решил продать Балаклаву за шесть тысяч рублей, из которых большую половину отдам Марии Карловне. Подумай, платить каждый месяц сторожу, платить налоги, платить работникам, садовникам, в плодовых питомниках и т. д. и т. д. — и не иметь возможности даже выехать в эту землю обетованную — ужасно оскорбительно! Доверить же это все Марии Карловне никак нельзя. Она не будет ровно ничего платить, земля останется без призора, виноградник быстро выродится и станет не плюсом, а минусом земли, фруктовые деревья одичают и земля потеряет стоимость».

14 мая 1907 года Куприн снова пишет Батюшкову.

«Оказывается по словам Боголюбова, что «М. Б.» уже выпустил объявление о выходе «Поединка». Таким образом, издательница, или как ты ее называешь — доверительница, не только в данном случае не сообразовалась с моим желанием, но поступила вопреки моей ясно выраженной

[1] В 1905 году Куприн приобрел участок земли в Балаклаве. Он очень увлекся садоводством, посадил виноградники, выписал редкие растения, цветы. Впоследствии отец всегда вспоминал о Балаклаве, как о потерянном рае.

воле: не печатать о II томе[1] и именно не печатать потому, что это может повредить моим денежным отношениям с Пятницким, или может быть она это делала нарочно, назло, из упорства и мстительности? С нею все ведь возможно предполагать. Но тогда, за что же и я ее буду щадить? Вот поэтому-то я и желал бы очень этот пункт разъяснить и если такое объявление существует — опровергнуть его хотя бы выпуском объявления, где о II-м томе не будет упомянуто.

Конечно, ей хорошо на каждом шагу совать мне Люлюшу. Это и выгодно и выставляет ее в привлекательном свете — любящей матери, оставленной негодяем мужем. Я для Люлюши готов сделать решительно все, что в моих силах. Что же касается Ел. Морицовны, то она Люлюшу любит чуть ли не более, чем я, и всякий намек на то, чтобы девочку ограничить чем-нибудь, ее возмущает. Но ведь сама-то жизнь Люлюши при ней будет несчастная. М. К. только притворяется любящей матерью. Что она бросала девочку целыми днями и месяцами на тетю Лизу, это еще ничего — Лиза любит и до сих пор девочку со всею нежностью настоящей матери, говорит о ней беспрестанно, видит ее во сне, бредит ею. Лиза не сделала бы никогда вреда ребенку. Но М. К. оставляла ее на попечение вздорной, изломанной горничной, на попечение со всеми трюками бонны-немки, со звериной мордой, крашеными волосами, лет 50-ти и в корсете. Вся ее забота о Лидуше заключалась только в том, что она по утрам брала ее в грязную постель и давала ей играть косой, или, уезжая из дома, дразнила ее: «а мама уезжает, бедная мама, а тебе не жаль мамы?» и т. д. ...

Живем в Гурзуфе, у самого моря. Соседей нет. Но есть третья свободная комната и в ней кровать. Есть также готовый стол. Итак, если некто вдруг возьмет и приедет в Гурзуф, на дачу Макисович — то кроме радостной встречи он найдет еще все готовые удобства (кроме «удобства», которое — увы! — в первобытно-даниловском виде), морское купанье, верховую езду, рыбную ловлю, а, главное, нетерпеливо ожидающего соскучившегося друга.

Целую тебя, Лиза тебе шлет привет. Помни ради бога, что я не только люблю тебя несравненно, но и горжусь

---

[1] II том, если я и выпущу, то осенью, для чего купил у Пятницкого остатки. Иного выхода нет. *(Прим. А. И. Куприна).*

твоей дружбой. Могу ли я дурно говорить о тебе? Подумай!

Иногда я бывал несправедлив к тебе, но только тогда, когда М. К. уверяла меня, что ты был ее любовником. Я не верил, но впадал в сильное бешенство.

Она выдумывала про тебя дурацкие анекдоты, выдумывала прозвища и через день ссылалась на меня!

И сейчас меня душит ярость, я ничего не могу с собой поделать».

Еще письмо Батюшкову.

17 мая 1907 г. Гурзуф.

Ты, я вижу, милый Фед. Дмит., отбился от рук. Вот именно, правильнее всего заложить часы, взять аванс и ехать куда хочется. Ты так много и так бескорыстно делал для других, что даже сам не подозреваешь, что на затраченный тобой душевный капитал возросли огромные проценты, и ты не догадаешься их тронуть.

А у меня любовно созрел удивительный план. Втроем в Батуме покупаем трех лошадей. Ел. Мор. в мужском костюме. Едем Военно-Грузинской и В.-Осетинской дорогами. Едем в Грузию, Сванетию, в ауле ночуем, где бог послал. Едим барашка-марашка, пьем вино-мино, поем мравол-джаллием[1], заводим кунаков, объединяем Кавказ с Россией и потом тебе самому будет курьезно читать, как вся эта поездка отразилась у меня в рассказе.

И, наконец, еще одно письмо, горькое и тревожное.

21 мая 1907 г. Гурзуф.

Дорогой Фед. Дмитр.

Я не могу работать! Мысли о Люлюше, злоба против М. К. и многое-многое — печалят меня, тревожат и разбивают желание работать. Я подумываю о Кесьме. Но подумываю также и о том, чтобы на летние месяцы взять с собою Люлюшу (с согласия матери). М. К. едет за границу до октября. А Люлюшу оставляет сначала у Маминых, а потом берет с собою. Где девочке жить в Финляндии, под дождем, а потом мыкаться по железным дорогам — самое лучшее пожить опять в деревне, которая так полезна была ей в прошлом году. Осенью она опять может быть с матерью хоть весь год.

Не поможешь ли ты тут мне советом или делом! Ведь

[1] Куприн в шутку так называет «Мравальжамиер».

М. К. знает хорошо, что за девочкой будет тщательный уход и никто никогда не иначе отзовется о маме, как с большой нежностью. Да, ведь, и девочка ей вовсе не нужна. Она держит ее и будет около себя держать, как орудие злобы и мстительности против меня. Вспомни ты хоть прошлое лето. Ведь М. К. была тогда совсем, совсем свободна. А разве она хоть раз подошла к Люлюше и занялась ею? Когда я ей об этом говорил, она обрывала меня грубо: «У меня есть на это бонна!»

Ах, все это так выводит меня из себя. Я слабый, слабовольный человек и не могу побороть этих мелочей. Они у меня и днем, и ночью, и во сне.

Александр Иванович и Лиза возвращаются из Гурзуфа и едут в Даниловское к Батюшкову, где Куприн пишет «Суламифь».

Его всегда привлекали библейские темы. Любовь к Лизе возвращает его к давнишней мечте о пересказе «Песни песней», о великой любви царя Соломона к простой девушке из виноградников. Он часто просит Батюшкова присылать ему разные материалы и очень увлечен своей работой.

За август—сентябрь отец написал рассказ «Изумруд», в основу которого лег действительный эпизод с беговым жеребцом Рассветом в Москве.

В октябре в Даниловское приезжает из издательства «Шиповник» Гжебин и предлагает продать повесть «Суламифь» за 500 рублей за лист.

Работа не мешает отцу принимать участие в разных самодеятельных (любительских) спектаклях.

Из Устюжина Куприн пишет В. А. Тихонову:

«5 сентября 1907 года. Ставили мы здесь в Устюжине спектакль «Дядя Ваня». Я играл довольно скверно Астрова. Дама, игравшая со мной профессоршу, так испугалась дикого влюбленного пламени, сверкавшего из моих глаз, и сцены объяснения, что забыла роль и только порывалась убежать. Но я держал ее за талию как стальными клещами и шептал: «Ты придешь? Да?» так страстно, что было даже совсем непристойно. Теперь она и ее муж доктор на меня в претензии».

Дама, жена д-ра Рябкова, стала прототипом героини купринского рассказа «Черная молния».

Эту же сцену позднее описывала моя мать. Она рассказывала, что партнершей отца в «Дяде Ване» была жена д-ра Рябкова и что из озорства А. И. вкладывал в поцелуй

много пыла. Во время репетиции провинциальная дамочка в смущении восклицала: «Дайте атмосферу! Мне не хватает атмосферы!»

Из Даниловского отец и мать возвращаются через некоторое время в Петербург, а потом поселяются в Гатчине. Вскоре мама снова едет в Петербург, где 21 апреля 1908 года, в день пасхи, родилась я.

Мне рассказывали, что в день моего рождения отец послал своим друзьям Щербовым в Гатчину следующую телеграмму: «Роды прошли благополучно девочка». На почте нечаянно поставили «не», и получилось «роды прошли неблагополучно».

Щербовы мечтали о дочке, так как у них было два сына — старший Вадим и младший Егор, оба глазастые, черномазые. В полной уверенности, что мама скончалась, Настасья Давыдовна и Павел Егорович решили удочерить меня. Так я чуть не вошла в семью Щербовых. Когда меня первый раз привезли девятимесячную в гости к Щербовым в Гатчину, Вадим и Егор — два сорванца, которые чуть не стали моими названными братьями, оставшись наедине со мной, едва не лишили меня жизни, запихав мне в нос, рот и уши шарики из бумаги. К счастью, наши родители вовремя вошли. Павел Егорович держал своих сыновей в ежовых рукавицах, часто бывал с ними несправедлив, в особенности с младшим кротким Егором. Позднее они стали чудесными юношами.

А. Измайлов в газете «Русское слово» так описывает гатчинский быт Куприна.

6/19 февраля 1908 г.

Последний год Куприн живет в Гатчине. Минутах в пяти ходьбы от вокзала стоит большая деревянная дача, где он снимает верх. Его уже знают, как «заслуженного обывателя», и полицейские козыряют ему, как знакомому.

Но ничто ни около дачи, ни в обстановке ее внутри не подскажет вам, что здесь живет «знаменитость». Скромен и самый кабинет Куприна.

Пара больших диванов с коврами на стенах и на полу, две-три карикатуры известного карикатуриста Щербова, друга и соседа Куприна. Никаких картин, никаких портретов, кроме, впрочем, одного. Обстановка почти студенческая. В углу письменный стол с «живописным беспорядком» и рядом — сооружение для писания стоя с корректурами

последних работ — не то верстак, не то маленький биллиардный стол.

Почти демонстративное отсутствие заботы об убранстве, порядке или «впечатлении».

В это время Мария Карловна и ее бывшая гувернантка Ольга Францевна восстановили против нашей семьи Любовь Алексеевну, мать Куприна, старшую сестру Софью Ивановну Мажарову, а также Мамина-Сибиряка, попавшего полностью под влияние жены.

Одно время Мамин был особенно плохо настроен против Куприна, но впоследствии он понял, что был несправедлив.

В литературных воспоминаниях «Отрывки вслух» приводится такое высказывание Мамина-Сибиряка о Куприне:

«А вот Куприн. Почему он большой писатель? Да потому что живой. Живой он, в каждой мелочи живой. У него один маленький штришок и — готово: вот он весь тут, Иван Иванович. А почему? Потому что Куприн тоже был репортером. Видал, вынюхивал людей, как они есть. Кстати, он, знаете, имеет привычку настоящим образом, по-собачьи, обнюхивать людей. Многие, в особенности дамы, обижаются. Господь с ними, если Куприну это нужно...»[1]

Об отношении Мамина-Сибиряка к Лизе в то время пишет Ф. Ф. Фидлер.

«Когда Лиза вышла замуж за Куприна, — двери дома Мамина для нее закрылись навсегда. Сам Мамин продолжал ее любить по-прежнему (он воспитывал ее от 10- до 18-летнего возраста), но «тетя Оля» не могла ей простить, что она была причиной развода Куприна с его первою женой, Марией Карловной Давыдовой, ее бывшей воспитанницей; кроме того, это подавало дурной пример Аленушке. Так мне жаловалась сама Ольга Францевна... Шли месяцы. Лиза продолжала любить Мамина, своего второго отца, и стремилась повидаться с ним. Свидание не устроилось, несмотря на то, что я для сего предложил свою квартиру. Мамин охотно согласился на мое предложение, но благодаря его запуганности («а что, если тетя Оля узнает?») разговор кончился ничем. «Недавно Лиза была крайне неосторожна: в заказном конверте она прислала мне кар-

[1] «Журнал журналов», 1916, № 33.

точку, на которой она снята со своим младенцем. Пришлось вложить портрет в другой конверт и без единого слова приписки вернуть его Лизе». «Зачем же ты показал его жене?» — «Она его без меня вскрыла».

С Куприным Мамин иногда встречался в ресторане. Но он умер, так и не увидав той, к которой был отечески-нежно привязан и которая ему, хотя отдаленно, напоминала его «Марусю».

Несмотря на свою исключительную доброту, моя мать никогда не простила Ольге Францевне своего горького детства и того, что она не смогла попрощаться с человеком, по-отцовски любившим ее. Аленушка, бледная, нервная, поэтичная девушка, приезжала в Гатчину и много раз пыталась примирить Лизу и тетю Олю. Но это оказалось невозможно.

Аленушка умерла в 1914 году от скоротечной чахотки, пережив своего отца только на два года. Экономист и статистик, друг Мамина Д. Рихтер, очень любивший Аленушку, посвятил ее памяти несколько теплых строк, начинавшихся словами Мамина:

«Один глазок у Аленушки спит, другой смотрит; одно ушко Аленушки спит, другое слушает...» Закрылся у Аленушки и другой глазок; перестал присматриваться к жизни; перестало прислушиваться к ней и другое ушко; но навеянные ею сказки будут долго будить в молодой душе русских детей любовь к природе, любовь к человеку...»

Последняя воля Аленушки была покоиться между отцом и матерью.

Глава IV

СТРАНСТВИЯ

Куприн в Гатчине много и плодотворно работал. В газетах появляется рассказ из цикла «Листригоны». Он также работает над «Ямой». Но царская цензура не оставляет его в покое.

В 1908 году Петербургский цензурный комитет постановил «возбудить судебное преследование против Куприна за опубликование в сборнике «Зарницы» (1907 г., № 1) рассказа «Свадьба», в котором, по отзыву цензора, «в самом отталкивающем виде представлен русский офицер

в его отношениях к местному еврейскому населению».

На допросе у следователя Куприн виновным себя не признал. С него взята подписка о невыезде из Петербурга.

В мае 1908 года в Гатчине Александр Иванович заболевает острой формой ревматизма и по настоянию врачей уезжает в Ессентуки для лечения грязями. Хотел работать над «Ямой», но боли ему не позволяют.

Оттуда он пишет моей маме, которая осталась в Гатчине, так как чувствовала себя слабой после трудных родов.

Июнь, август.

Милая Сюзинка!

Соскучился ужасно, просто ужас до чего. Я тебя, моя маленькая, очень люблю, но и больше: ты мой хороший, нежнейший добрый друг. Целую твои ручки.

Вот два портрета, которые снял с меня один милый сотрудник здешней газеты А. Я. Тронштейн. Нравятся ли тебе? Сидючий подретуширован — очень уж подгулял. Пиши мне больше. Вчера не получил от тебя письма и мне сегодня хуже. Очень ноги болят ревматической болью. Подумываю уже: не перевезти ли мне сюда тебя с Аксиньей? Разбираешь ли ты все мои письма? Я говорю о почерке. Пора бы привыкнуть. Ах, если бы полегчало. Кажется, в месяц написал бы роман. Подумай, как хорошо бы это было. Десять тысяч за роман, три тысячи за второе издание четвертого тома, тысяча останется прежнего, а 1000 застыли в Никер. Итого 15 тысяч, 6000 на прожитие, 1000 — запас. За 8 тысяч купили бы недвижимость с садом и огородом!!! Для Ксюшеньки. Целую тебя, обнимаю, желаю здоровья.

К доктору, к доктору обратись, моя родненькая.

Твой Саша

27 марта 1908 года в Малом театре состоялась премьера пьесы «На покое» по мотивам одноименной повести Куприна. Пьеса написана в сотрудничестве с известным писателем А. И. Свирским. Через три месяца эту пьесу ставит народный театр в Пензе.

В июле 1908 года вышел в свет пятый том сочинений Куприна в «Московском книгоиздательстве».

Имя Куприна часто связывалось с разными скандальными инцидентами, в которых он и не принимал участия.

О нем выдумывали массу анекдотов и небылиц. Или рассказывали истории, имеющие весьма отдаленное отношение к правде.

Пока Куприн лечился в Ессентуках, в Петербурге происходит отвратительный скандал — процесс кошкодавов. У богатого заводчика посылали лакея собирать в мешок кошек, которых затем привязывали к мебели по всему дому. Спускали на них собак. Несколько человек из литературной среды при этом присутствовали. И когда начался процесс, то стали обвинять Куприна, что он, дескать, также присутствовал при этом мерзком развлечении. Куприн немедленно написал протест в газеты и был глубоко возмущен, так как он всегда любил животных и никогда, повторяю, за все мое детство, отрочество и юность я не видела отца обижавшим животное.

Внезапная шумная известность, независимый характер Куприна породили много врагов, а пресса тех лет была жадна на всякого рода сенсации и мелкие происшествия.

В ноябре 1909 года мы все втроем едем в Финляндию, где в Торенсбергском санатории отец уже был на излечении в 1907 году. Появляются слухи, что Куприн сошел с ума, что у Куприна буйное помешательство. Распространяют эти слухи разные газетные листки, которых так много было в то время под разными названиями.

В середине февраля 1909 года Александр Иванович с семьей решает ехать в Житомир, где временно останавливается у своей сестры Зинаиды Ивановны Нат. Отец очень любил эту сестру, а также ее мужа лесничего, с которым часто отправлялся на охоту. От него он узнал много лесных тайн.

Позже, в конце 20-х годов, из Парижа Куприн напишет своей сестре:

«Весть о смерти Ната не потрясла меня, но огорчила до слез. Как много прекрасных воспоминаний связано в моей памяти с ним! Начиная с его первого курса в Петровской Академии, а потом лесничества: Звенигородское, Куршинское, Зарайское. В них самые благодатные месяцы в моей жизни. Там я впитал в себя самые мощные, самые благородные, самые широкие, самые плодотворные впечатления. Да там же я учился русскому языку и русскому пейзажу.

Поистине, в духовном смысле вы оба были моими кормильцами, поильцами и лучшими воспитателями».

Но вскоре, не желая обременять Натов, у которых было трое детей, мои родители сняли домик. По мере того как мы переезжали из города в город, с квартиры на квартиру, понемногу невольно обрастали скарбом. Каждый переезд становился сложнее и хлопотливее.

Отца и мать не покидала мысль купить где-нибудь небольшую усадьбу. Отец старался как можно больше работать, чтобы иметь возможность приобрести собственность.

Он сообщал Батюшкову 10 марта 1909 года, что уже написал более пяти печатных листов, чтобы сколотить деньги на землю. Но на расстоянии сговориться с издателями оказалось очень трудно, случались всевозможные недоразумения, деньги не высылались. Куприну хотелось продолжать «Яму», а корректуры написанных глав не присылали вовремя.

Житомир не нравился Куприну. Он иронически пишет Батюшкову, что город населяют вовсе не люди, а деревянные идиоты, чиновники, отставные генералы, монахи и, главным образом, — маклеры.

Материальные дела становятся все хуже. Отец жалуется, что в то время, когда он мучительно горел, обдумывая «Яму», он вынужден был бегать по Житомиру в поисках денег, «бебехи» были заложены. Чем больше Александр Иванович живет в Житомире, тем менее привлекает его жизнь в этом скучном украинском провинциальном городке. Он мечтает о Балаклаве, с которой у него связано столько воспоминаний. «До сих пор, несмотря на все мои хлопоты, я не могу поселиться в тех местах, откуда... был выслан в исторические дни...»[1]

Расставшись с Марией Карловной, отец оставил ей все и поэтому постоянно испытывал денежные затруднения, несмотря на известность. Он не умел работать систематически, и обязательства тяготили его.

В одном из интервью он жалуется на издателей: «Вообще трудно выявить условия, которые помогают развитию творчества. Нужно старое спокойное время...

Ну, а о правовом положении писателя говорить нечего. Ему достается в жизни больше всего и от публики, и от

---

[1] А. И. Куприн был выслан из Балаклавы за участие в событиях 1905 года.

начальства административного, от конфискации его произведений, тюрьма для его свободной личности и голод на старости».

В августе 1909 года за чухнинское[1] дело Александра Ивановича посадили под домашний арест с приставлением городового. Ему прислали бумагу из петербургской судебной палаты с приказом полиции взыскать 50 рублей штрафа или посадить на десять суток домашнего ареста. Александр Иванович предпочел последнее. Сделал он это, конечно, из озорства, решив, что для него это будет спокойнее: городовые не будут пропускать к нему кредиторов и всяких начинающих писателей и прочих людей, мешающих ему сосредоточиться. Мама тоже была довольна, а городовые еще больше — им платили суточные, кормили и поили на кухне и не мешали заводить шашни с кухаркой.

Об этом аресте появились карикатуры и анекдоты в разных газетах.

В Житомире у нас завелся новый член семьи, черный пудель Негодяй. Хотя в очерке «О пуделе» Александр Иванович пишет, что название это было ему дано вовсе не по заслугам, но впоследствии Негодяй вполне оправдал свою кличку. Мне много о нем рассказывали. Когда художества пуделя довели родителей до отчаяния, его попробовали кому-то отдать. Но Негодяй всегда возвращался назад, грязный, с довольной улыбкой на морде и «вовсе неприличный».

Александр Иванович привел Негодяя на спектакль в Житомирский театр. Так как пьеса отцу не понравилась, он громко стал разговаривать с собакой, что, конечно, вызвало неудовольствие публики, и Куприна попросили освободить помещение.

Это была одна из тех шуток, которые потом раздувались в газетах как дикие выходки отца.

Наконец был получен развод с Марией Карловной, и 16 августа 1909 года Александр Иванович собрался повенчаться с мамой и крестить меня. Крестины все время откладывались, так как мои родители не хотели записать меня как незаконнорожденную. Батюшков тогда находился в Павлограде, но, по-видимому, он приехал на торжественный случай, чтобы стать моим крестным отцом и присутст-

---

[1] Адмирал Чухнин покрыл себя позорной славой в севастопольских событиях, о чем гневно выступил в печати А. И. Куприн.

вовать на двух церемониях. Крестной матерью была Зинаида Ивановна — младшая сестра отца. Крестили меня в селе Гуменик, и были эти крестины совершенно необычайными.

Священник наотрез отказался крестить годовалого ребенка, не желая марать таким безобразием церковные книги. Его долго упрашивали, и наконец он согласился с тем условием, что запишет меня как новорожденную. Подумав, мои родители согласились, зная, что для женщины впоследствии всегда будет приятно быть моложе в официальных бумагах.

Рассказывали, что когда по ходу церемонии нужно было опустить меня в купель, я вытянулась дугой и так закричала, что задрожали своды сельской церквушки. Услышав мой вопль, наш пудель Негодяй ворвался с диким лаем в церковь, что, конечно, вызвало переполох.

Федор Дмитриевич Батюшков, дрожа от беззвучного смеха, не заметил, как, держа в руках зажженную свечку, нечаянно поджег длинную гриву священника. Пока тушили попа, выводили из церкви Негодяя, прошло довольно много времени, и измученный священник согласился не окунать меня в купель, а только окропить мою голову.

Об этом происшествии особенно любил вспоминать Александр Иванович.

В конце августа 1909 года мы переезжаем в Одессу, где вскоре снимаем квартиру с видом на море. Для Куприна начинается довольно бурный одесский период.

Там завязалась его многолетняя дружба с художником Нилусом, с борцами Иваном Заикиным, Иваном Поддубным и известным летчиком и спортсменом С. И. Уточкиным.

Мой отец объездил почти всю Россию, любил многие ее города, уезды, пейзажи, но особое место в его сердце занимала Одесса. События многих повестей, рассказов, очерков, таких, как «Гранатовый браслет», «Белая акация» и других, происходят в этом своеобразном, колоритном порту.

Отец всегда вспоминал об Одессе с особой нежностью. Родители часто мне потом рассказывали о маленьких происшествиях 1909—1910 годов, которые были полны острых ощущений — радостей и горечи.

Александр Иванович получал массу писем после выхода «Ямы», преобладали анонимные. По этому поводу он говорил сотрудникам газет: «Ругают меня за первую часть

«Ямы», называют порнографом, губителем юношества. И главное, автор грязных пасквилей — не мужчина. Пишут, что я изображаю все в неверном виде, с целью осмеяния разврата. Это было бы ничего! Письма от анонимов, изрыгающих хулу, меня не удивляют. Уязвленные обыватели, отстаивающие публично целомудрие и мораль, а втихомолку предающиеся всем грехам Содома и Гоморры, вправе сердиться. Но вот критика меня удивляет. Как можно так поспешно делать окончательные выводы о произведении, которое еще не окончено? Одни критики меня расхвалили, другие разругали, а, в общем, они меня сильно пугают своими советами.

Сильно тормозят работу опасные цензоры. Право, раньше жилось лучше. Знать, напишешь книгу, пошлешь в цензуру, а потом исправляешь. Теперь же боишься, как бы вся книга не была задержана из-за одной-двух глав».

Шаткое материальное положение, неустроенность, вечные денежные затруднения, ядовитые уколы всевозможных газет, — хотя отец принимал многое с большим юмором, — не могли, конечно, не отразиться на его настроении, на его творчестве, для которого ему необходимы были тишина и покой. Мама оберегала его как могла, но она была тогда еще молодой и очень неопытной, не всегда могла совладать со стихийным нравом Александра Ивановича. Часто у отца случались приступы отвращения к жизни и к себе, усталости и неврастении. Тогда он прибегал к алкоголю, который всегда действовал на него раздражающе. Негодяй быстро освоился в Одессе и мог найти отца, где бы он ни был, и привести домой.

5 сентября 1909 года журналист Хейфец предложил Куприну подняться на воздушном шаре и потом написать об этом очерк. 13 сентября полет был осуществлен вместе с С. И. Уточкиным. Шар поднял в воздух Горелик. О своих впечатлениях отец пишет очерк «Над землей». Вскоре после полета, это было уже осенью, один большой почитатель таланта Куприна предоставил ему свою роскошную дачу на берегу моря. Отец пишет Батюшкову, что надеется уже не сдвинуться оттуда, что стоят чудесные ясные дни, что в море 19°. «С рыбаками еще не подружился. Их здесь много, и все народ суровый».

Но опять все оказалось не столь привлекательным, как выглядело вначале.

Батюшкову 21 сентября 1909 г.

Дорогой Федор Дмитриевич и кум!

Живем на даче на Б. Фонтане. Огромный дом, со светелкой для меня наверху, много комнат, и все это навязал мне — представь, бесплатно! — какой-то еврей, мой пылкий поклонник. Конечно, я его вознагражу по-царски! Но кругом уже разъехались все дачники, мы одни, Лиза пугается, нет припасов, по ночам воют на луну брошенные собаки, а в окрестных дачах жулики обдирают оставшиеся балконные занавески.

Кстати: твоя крестница все болеет животом. Выписываем доктора из Одессы и каждый его приезд обходится нам в 20 рублей. Нянька уехала в Житомир, у нее заболели дети.

Летал на днях на воздушном шаре. Теперь, по своей психологии, я тверд и окончательно уверен, что ни при каких условиях во время падения шара никто не схватится за клапанную тоненькую веревочку, а только за канат. Это я проверял на себе, находясь на высоте 1200 метров.

Прости, что так долго не отвечал на твои письма. Теперь буду тебе писать много и часто. Но с тобой у нас постоянно так бывает, что то ты, то я вдруг упираемся и молчим.

Напиши мне побольше о себе. Ты всегда как-то о себе умалчиваешь, а мне интересно знать все, что тебя касается.

Не знаешь ли: когда мне наконец выдадут Пушкинскую премию?[1]

Знаком с рыбаками. Хожу в море под парусом на скумбрию и камбалу.

Целуем тебя все трое.

Твой А. Куприн.

Вскоре наша семья опять поселяется в Одессе. Отец, когда на него нападал «Писучий периуд», как он его называл, всегда требовал полной тишины и беспрекословного исполнения всех своих просьб. И, хотя он был исключительным отцом, он не всегда понимал тревожное материнское сердце. Он пишет Батюшкову в сентябре 1909 года:

«Все это время мне плохо писалось. То переезды, то Ксеночка больна. А ты знаешь Елизавету — когда у нее болен ребенок, то весь дом обращается в мерзость запустения, и мне в нем нет места.

[1] В 1909 г. Бунину и Куприну была совместно присуждена Пушкинская премия.

На зиму, вернее всего, мы останемся в Одессе. Ищем квартиру.

И еще потому я не мог до сих пор приняться за «Яму», что уж больно много начитался критики — до того, что мне моя работа опротивела. Теперь насилу справился с собою и начинаю».

6 октября 1909 года родилась преждевременно вторая дочь —Зинаида. Снова поездка: Рига — Петербург. Вернувшись в Одессу 28 октября, Куприн, всегда жадный на всякие новые впечатления и ощущения, под наблюдением водолаза Дюжева опускается на морское дно.

В это время в Петербурге актер Ходотов написал пьесу под названием «Госпожа пошлость», которая возбудила огромный скандал, так как в персонажах пьесы были явные намеки на многих известных писателей и художников, в том числе и на А. И. Куприна. Пустили слух, что Александр Иванович собирается вызвать Ходотова на дуэль. Другие говорили, будто Куприн собирается писать ответную пьесу «Господин Хам». Но когда к Куприну пришел по этому поводу корреспондент, отец ответил: «Извините, это... буря в клистире».

Однако ни один человек, конечно, не может совсем спокойно переживать всяческую травлю, нападки и бесконечные мелкие житейские неприятности. Зная гостеприимный нрав Александра Ивановича, к нему без конца приходили за советами и мешали работать.

В «Одесских новостях» 8 октября Куприн говорит: «Опасно мне иметь квартиру где-нибудь в центре города. Сильно одолевают начинающие писатели. Носят, носят рукописи без конца. Ну, хорошо, принесет, оставит. Я не имею решимости отказать в просмотре, принимаю, обещаю дать ответ. Но беда-то в том, что юные собратья часто остаются недовольны моим отзывом и слишком резко выражают мне свое неудовольствие. Да не так уж просто, а почти с бранью и упреками».

В Одессе в то время находился и Иван Бунин. Вместе с художником Нилусом, умиленные, как пишет Батюшкову отец, его рассказами о Даниловском, они мечтали туда поехать втроем недели на две-три. Куприн собирался написать о Даниловском такой же цикл, как и «Листригоны». Этот проект не осуществился, но 22 ноября отец уехал в Петербург, потом в Даниловское, а в декабре мои кочевники-родители снова очутились в Одессе.

В январе 1910 года в ответ на запрос Федора Батюшкова Куприн сообщает, что согласен продать петербургскому издательству Цейтлиной 10 томов своих сочинений за 75 тысяч рублей, но продажа может состояться только через один-два года, так как Мария Карловна продала первый, второй и третий тома раньше на два года. Эти тома Куприн передал в собственность Марии Карловне при разводе в 1907 году.

В феврале 1910 года Мария Карловна вышла замуж за Н. И. Иорданского[1], публициста. У него был от первого брака сын Николай, приблизительно одного возраста с Лидушей.

23 февраля наша семья возвращается из Риги в Одессу. Куприн же едет в Москву. Он просил писателя А. И. Федорова, постоянно проживающего в Одессе, смотреть за Лизой, которая плохо себя чувствовала в то время.

Письмо Александра Ивановича Батюшкову.

Март 24. 1910 г.

У нас было горе. Заболела Ксеночка. Она себя зовет «Нека» и даже «бедная Нека». Дифтерит. Отправляюсь в Одессу.

До этого Александр Иванович жил под Москвой у Софьи Ивановны Можаровой — своей старшей сестры — в Сергиевском посаде.

В начале мая 1910 года мои родители сняли дачу под Одессой вместе с семьей Богомольца, известного присяжного поверенного. У Богомольцев был сын приблизительно моего возраста. Мне рассказывали, что как-то на даче было много гостей и о детях забыли. Поздно вечером спохватились, что кроватки пусты. Стали искать — сначала в доме, потом в саду, потом на пляже, где нас и обнаружили. Мы задумчиво сидели на песке, держась за руки, в сентиментальном молчании. И когда нас спросили: «Что вы здесь делаете?» — я ответила: «Смотрим на луну». Потом в семье у нас всегда шутили, что это был мой первый роман.

В июне 1910 года отца постигло большое горе, скончалась на 70-м году жизни Любовь Алексеевна Куприна. Отец очень любил свою мать, хотя они редко виделись. Она так и не захотела покинуть свой Вдовий дом, где провела

---

[1] Н. И. Иорданский — в те годы публицист меньшевистского направления. После революции вступил в партию большевиков, занимался дипломатической деятельностью.

почти всю свою жизнь. Похоронили ее на Ваганьковском кладбище. Отец поехал в Москву на похороны из Одессы.

В «Петербургской газете» от 19 июня 1910 года Куприн посвятил ей статью. «Все политическое и литературное движение России моя мать переживала, всегда становясь на сторону нового, молодого. Мать умерла современным человеком. Она пережила даже декаденщину».

Вернувшись в Одессу, отец снова надевает костюм водолаза и в присутствии мамы, у брекватера Хлебной гавани, опускается на морское дно.

В августе 1910 года выслана в издательство первая глава второй части «Ямы».

В своих воспоминаниях борец и силач Иван Заикин описывает первую встречу с Ал. Ив. Куприным в 1910 году. Произошло это в кафе, куда привел Заикина его друг Саша Диабе.

«В кафе вошли еще двое.

— Вон, смотри,— шепнул Саша. — Куприн.

Один из вошедших был высоким, представительным господином.

Другой — низенький, квадратный, с толстой шеей, маленькими прищуренными глазами, тридцатилетний мужчина; одет он был в потертый пиджачок, на голове, подстриженной под ежик, — пестрая татарская тюбетейка. Короткая каштановая бородка, мягкие усы показались мне всклокоченными. Саша встал, направился к нему навстречу, пригласил к нашему столику. Он был знаком с обоими.

— Иван Заикин, — представил он меня.— Потом жест в сторону высокого мужчины.— Журналист Горелик. — Затем поклон низенькому в тюбетейке: — Писатель Куприн.

Я был разочарован. Вот если бы писателем оказался аристократического вида Горелик, то другое дело, а этот, квадратненький, совсем не походит на знаменитость; и одежонка на нем простенькая, и сам простоват с виду.

— А вы много написали книжек? — спрашиваю из вежливости.

Куприн смотрит на меня, прищурив маленькие смеющиеся глаза.

— Разве вы не читаете книг?

— Да нет, милый, некогда было учиться.

— Жаль. Такой ядреный образец человеческой породы и вдруг безграмотный.

Удивительное дело: мы с ним как-то сразу перешли на ты».

Так началась многолетняя дружба между добродушным неграмотным великаном и Куприным. Многих иногда удивляла и даже возмущала эта дружба и вообще любовь Куприна к циркачам, рыбакам и всякому живописному люду. Но никогда бы не были написаны многие и многие рассказы, повести и очерки, если бы мой отец не испробовал всевозможные ремесла, не общался бы с самыми разнообразными людьми, не выслушивал бы часами их иногда яркие, иногда нудные профессиональные разговоры.

В ноябре 1910 года Куприн возвращается в Одессу. Он совершает свой знаменитый полет с Заикиным, который кончился катастрофой.

Этот полет возбуждает, как все, что делал Куприн, много шума.

Гораздо позднее Иван Заикин вспоминает о событиях этого дня немного не так, как их описал Куприн в очерке «Мой полет».

Заикин в тот же день уже поднимался в воздух благополучно два раза.

«Третьим должен лететь Александр Иванович, — пишет Заикин[1].

— Я готов, Ваня.

Признаться, меня охватило беспокойство.

— Александр Иванович, может, не полетим? Не стоит рисковать тебе жизнью. Аппарат мой несовершенный...

Беспокоило то, что мы оба дяди весьма тяжеловесные — по семи пудов каждый, а аэроплан не рассчитан на такой груз.

Попросил француза:

— Жорж, подлей бензину и масла с таким расчетом, чтобы полетать час-два, до самого темна.

Ветерок с каждой минутой разыгрывается. Александр Иванович заложил газету под костюм, чтобы не поддувал ветер, и сел. Занимаю и я свое место. Заиграла музыка. Долго катились по дорожке, наконец оторвались от поля. Поднялся прямо над городом. Я направляю машину, а она проваливается... того гляди за трибуны или за что-нибудь задену. Положение незавидное. А с моря шторм надви-

---

[1] «В воздухе и на арене». Воспоминания Ивана Заикина. Куйбышев, 1963.

гается. Подняться удалось всего лишь метров на четыреста. Пока не поздно, надо опускаться. Летим над городом, повернул налево, машина все ниже и ниже, чего доброго, сядешь на людей. Что делать? Решил лучше рискнуть собой и Куприным, чем врезаться в публику. Делаю поворот влево, и машина садится самым сильным темпом, аширсмены мои почему-то бездействуют, и я врезаюсь левым крылом в землю, метрах в двадцати от публики. Треск, звон. Куприн пролетел через меня метров на десять, как мячик. Меня с силой выбросило из сиденья, придавило аэропланом. Крики ужаса:

— Убились! Разбились!

Куприн быстро вскочил на ноги, кричит:

— Старик, жив?

— Жив, — говорю, — курилка!

Вылезаю из-под обломков. Онемело все тело, встать не могу. Чувствую, у меня мокро в сапоге, наверное, кровь.

Через силу поднялся и, наступая на носок, легонько пошел. Нас окружили».

Заикин затем пишет, что они поехали в гостиницу, но, по другим свидетельствам, его увезли в больницу. У Заикина были более серьезные повреждения, чем у отца. А Куприна друзья потащили в ресторан праздновать счастливый финал воздушной авантюры, забыв предупредить маму, кормившую Зиночку. Она пережила сильный нервный шок, когда к ней прибежали и рассказали, что Заикин и Куприн упали и что желтый самолет был рассыпан на мелкие части по зеленому полю. Потом шутили, что это было похоже на яичницу с луком. О счастливом исходе добрые люди не сообщили. Пришлось искать кормилицу, и вскоре в нашей семье появилась Саша.

Первый пилот Одесского аэроклуба Вандершкруф утверждал, что аварии можно было избежать. В случае признания Заикиным вины в поломке аппарата Заикину угрожал иск со стороны владельца Ташкова в размере 30 тыс. франков.

А вот что пишет Куприн о катастрофе в открытом письме в редакцию «Одесских новостей» в защиту Заикина.

«Катастрофа произошла оттого, что Заикин, боясь налететь на ограду кладбища, слишком круто повернул в сторону. Аппарат же летел низко, потому что Заикин совместно со мной представляет слишком большой вес для

«Фармана». Я повредил себе только коленную чашку да отделался синяками...

Только впоследствии я узнал, что Заикин в эту критическую секунду сохранил полное хладнокровие. Он успел рассчитать, что лучше пожертвовать аэропланом и двумя людьми, чем произвести панику и, может быть, стать виновником нескольких человеческих жизней. Он очень круто повернул налево... И затем я услышал только треск и увидел, как мой пилот упал на землю.

Я очень крепко держался за вертикальные деревянные столбы, но и меня быстро вышибло из сиденья и я лег рядом с Заикиным. Я скорее его поднялся на ноги и спросил:

— Что ты, старик? Жив?!

Все это дело прошлое. Заикин опять борется в Симферополе и часто пишет мне совершенно безграмотные, но необыкновенно нежные письма и подписывается: «Твой серенький Иван».

Что касается меня — больше на аэроплане не полечу»[1].

Отец тогда не предвидел быстрого развития авиации. Он еще много летал потом в Гатчине.

Глава V

ГАТЧИНА

Постоянные переезды из города в город, чужие квартиры, дачи, гостиницы утомили отца. В 1910 году он пишет Батюшкову из Риги:

«И вот мы снова в «Петроградской» гостинице на неопределенное время. Право, нам точно суждено роком бродить без истинного пристанища по чужим углам. А вот в сорок лет это уже становится тяжелым, скучным и печальным».

Куприн очень любил Балаклаву, черноморских рыбаков, крепкую дружбу с которыми он воспевал в «Листригонах».

Отец мечтал снова поселиться там. Но ему было запрещено проживать в этих краях после его участия в севастопольских событиях 1905 года. На хлопоты друзей Александра Ивановича пришел решительный отказ.

Ко всем этим мерам царской полиции отец относился

---

[1] «Одесские новости», 1910, 13 ноября.

с присущим ему юмором. О своем тайном посещении Балаклавы он написал шуточные стихи под названием «Административная высылка».

В Балаклаву, точно в щелку,
В середине ноября
Я приехал втихомолку,
Но приехал зря.
Не успел кусок кефали
С баклажаном проглотить,
Как меня уж увидали
И мгновенно — фить...

С Петербургом отца связывало многое: издательство, работа в газетах, друзья, но жить ему хотелось за городом. Он всегда мечтал о маленьком клочке земли, где он мог завести домашних животных, мог бы растить цветы и овощи.

Некоторое время родители колебались между Гатчиной и Царским Селом.

В Гатчине Куприн бывал неоднократно. В 1906 году он гостил там у писателя В. А. Тихонова, где писал «Гамбринус». Его вторичное пребывание в Гатчине в 1908 году вызвало переполох в местной полиции. Комендант города писал столичному губернатору, что, по «непроверенным» данным, писатель политически неблагонадежен и «принадлежит к военно-революционным организациям». Он просил запретить Куприну пребывать в Гатчине. Особое совещание по государственной охране прекратило «Дело Куприна» за отсутствием улик после почти годовой волокиты. Об этом отец ничего не знал и очень полюбил Гатчину.

В рассказе «Шестое чувство», напечатанном уже в эмиграции, он так пишет об этом городке:

«По-настоящему ему бы надо было называться «Сирень». Теперь, стоя на высокой вышке, я понял, что никогда еще и нигде за время моих блужданий по России я не видел такого буйного, обильного, жадного, великолепного цветения сирени, как в Гатчине. В ней утопали все маленькие разноцветные деревянные дома и домишки Большой Гатчины и Малой, Большой Загвоздки, Малой, Зверинца и Приората и в особенности дворцового парка и его окрестностей.

Как радостно и странно было глядеть сверху на этот мощный волнистый сиреневый прибой, набегавший на городишко жеманно-лиловыми, красно-фиолетовыми волнами и

белыми грядами, рассыпавшимися, как густое белое овечье руно...»

Или:

«Весной вся Гатчина нежно зеленеет первыми блестящими листочками сквозных берез и пахнет веселым смолистым духом. Осенью же она одета в пышные царственные уборы лимонных, янтарных, золотых и багряных красок, а увядающая листва белоствольных берез благоухает, как крепкое старое, драгоценное вино».

Некоторое время наша семья жила в Петербурге у Батюшкова. Няня Саша приехала с нами из Одессы. Она очень полюбила Зиночку, и ей казалось, что мои родители уделяют мне больше нежности и внимания.

В феврале 1911 года мы снова сняли квартиру в Гатчине и стали подыскивать подходящую усадебку. Вскоре родители узнали, что на Елизаветинской улице продается дом. Я думаю, что само название улицы привлекло отца: мою мать звали Елизаветой.

Маленький, построенный в начале века, уютный зеленый домик в пять комнат с большой террасой и чудесными тополями вокруг принадлежал подполковнику Эвальду.

В купчей того времени имелся пункт для будущих хозяев: «Мостовую содержать в чистоте и исправности, а дом и забор с наружной стороны в благовидности».

Может, в этом и был секрет «благовидности» всей Гатчины, состоявшей из кокетливых разноцветных домиков, утопавших в зелени.

Дом купили 17 мая 1911 года в кредит: выплачивали за него вплоть до 1915 года. Об этой кабале отец в шутку написал своему другу Шеплявскому, восторгавшемуся домиком:

> Не дача, Вы сказали,— рай,
> Ах, в каждом рае есть изнанка,
> В сем рае я не бабарай,
> Но только старший дворник банка.

Слово «бабарай» по-цыгански означает барин.

Мой отец считал, что второе его призвание — садоводство. С жадностью человека, соскучившегося по любимому делу, он начал копать, сажать, благоустраивать свой маленький участок.

Позднее, в эмиграции, отец с большой любовью вспоминал в одной из своих повестей об этом участке: «Я собственноручно снял с моего огорода 36 пудов карто-

феля в огромных бело-розовых клубнях, вырыл много ядреной петровской репы, египетской круглой свеклы, остро и дико пахнущего сельдерея, репчатого лука, красной, толстой, упругой грачевской моркови и крупного белого ребристого чеснока — этого верного противоцинготного средства... Весь мой огород был размером в двести пятьдесят квадратных саженей, но, по совести могу сказать, потрудился я над ним усердно, даже, пожалуй, сверх сил.

...Мне не жаль собственности, но мой малый огородишко, мои яблони, мой крошечный благоуханный цветник, моя клубника «виктория» и парниковые дыни-канталупы «Женни Линд» — вспоминаю о них, и в сердце у меня острая горечь.

Здесь была прелесть чистого, простого, чудесного творчества. Какая радость устлать лучинную коробку липовым листом, уложить на дно правильными рядами большие ягоды клубники, опять перестлать листьями, опять уложить ряд и весь этот пышный, темно-красный дар земли отослать в подарок соседу! Какая невинная радость, точно материнская».

У нас появились собаки, кошки, лошади, куры, гуси. На дворике были каменные и деревянные пристройки.

Садик наш благоухал на всю Елизаветинскую улицу. Бывший хозяин подполковник Эвальд оставил нам в наследство свою огромную собаку Малыша. Домочадцев было 11 человек. Появились жданные и нежданные гости. Некоторые жили по неделям. Никому не отказывалось в гостеприимстве.

Моя мать не умела противиться этому потоку. Она была самоотверженной, доброй женщиной, готовой все отдать. А отец уверял, что «нам каждый гость ниспослан богом». Иногда к обеду покупалось до 16 фунтов мяса. Конечно, при таком ведении хозяйства мои родители всегда испытывали нужду в деньгах.

В 1911 году, после окончания «Гранатового браслета», Куприн написал в Гатчине много рассказов и очерков.

Кабинет отца кочевал из комнаты в комнату. Мои родители очень любили переставлять мебель: из гостиной делали детскую, из детской папин кабинет и т. д.

Летом отец часто уходил писать в сад, в самый тенистый уголок. Там густо росли деревья, тополя, елки, рябина, сирень.

Посредине маленького пятачка стоял врытый в землю

грибовидный стол из толстого сруба и полукруглая скамейка. Там, запасшись холодным квасом, отец часами просиживал вместе со своим стенографом Комаровым. В дождливую погоду они устраивались на террасе.

Когда отец работал, весь дом замирал, кажется даже собаки переставали лаять.

Зимой он запирался в своем кабинете, где ходил взад и вперед по диагонали из угла в угол, быстро диктуя.

Он также любил работать ночью один за своим огромным письменным столом из белого ясеня. Каждый именитый гость, приезжавший в Гатчину, писал, рисовал что-нибудь на память на этом столе, потом отец это место собственноручно покрывал лаком.

Приезжали писатели, поэты, знаменитые актеры, композиторы, музыканты, художники. Часто экспромтом получались чудесные концерты.

Иногда отец затевал в саду шашлыки, для чего были сделаны специальные печурки. Он сам священнодействовал с шампурами, а весь дом сбивался с ног, бегая взад и вперед, исполняя его многочисленные приказания.

Всегда желанными гостями у нас были циркачи, в особенности клоун Жакомино и Иван Заикин. Они привозили зверюшек, показывали сальто, фокусы, раскрывали свои тайны, делились новыми выдумками, советовались с отцом. Борцы демонстрировали приемы французской борьбы и свою силу. Когда мы входили в любой цирк, зрителей извещали о нашем присутствии, клоуны выдумывали какие-нибудь шутки, дрессировщики заставляли своих зверей нам кланяться. Потом в антракте начиналось самое увлекательное. Цирковые кулисы, веселые встречи, кормление слонов булками, специфический запах зверей, грима и настоящего трудового пота.

Как-то в Гатчине у нас появился медвежонок Маша, большая проказница, любившая переворачивать тарелки на обеденном столе лапой, очень ловко, не разбивая их. Потом Маша стала большой. Однажды, рассердившись на дворника, дразнившего ее едой, она ударила его по лицу. Пришлось с ней расстаться. Машу отдали в цирк. Мы, конечно, присутствовали при ее дебюте на арене. Она каталась на роликах и старательно выделывала разные трюки. Но вдруг она нас увидела и, положив лапу в рот, горько заревела. К большому восторгу зрителей, я не выдержала и начала ей вторить.

Как-то клоун Жакомино обещал мне подарить козленка, а потом забыл про это. Однажды во время его номера в цирке ему на арену ввели козочку с розовой ленточкой, внесли бурдюк с красным вином и записку, которую он немедленно прочел вслух:

Обещал козленка —
Обманул ребенка.
Старый ты кретин!
А. Куприн.

Под всеобщий хохот и аплодисменты с комическими жестами и поклонами Жакомино подвел козочку к нашей ложе и вручил ее мне. Очаровательная белоснежная козочка сделалась моим любимым другом. Мы вместе спали, играли в прятки, гуляли. Она бегала свободно по всему дому, роняла орешки, пила молоко из соски. Понемногу она становилась большой, у нее выросла борода, большие рога, появился сильный запах и она оказалась... козлом. Это был прототип героя «Козлиная жизнь». Пришлось расстаться, так как козел упрямо продолжал входить в дом и бодать всех под коленки, в особенности толстую кухарку Дуню. Его отдали в воинскую часть, где он подружился с лошадьми и стал общим любимцем. Чтобы меня утешить, Жакомино, приехав в Гатчину, сказал мне, что привез маленькую, крошечную куколку. Кукла оказалась больше меня.

В самой Гатчине у нас тоже было много знакомых, а самым близким другом отца был художник-карикатурист Щербов. Наши семьи были связаны очень тесной дружбой в течение многих лет.

Дружил отец также с писателем А. Н. Будищевым, в то время известным беллетристом, но совершенно забытым сейчас. Часто посещал братьев Веревкиных, хозяев единственной гостиницы и харчевни. Общался со всеми извозчиками, крестил у них детей. Часто участвовал в гатчинских любительских спектаклях. Со священником, отцом Александром, отец годами играл в преферанс. Он очень не любил проигрывать, не из-за денег, а принципиально. Мне рассказывала няня Саша, что часто, возвращаясь домой после очередной пульки, свой выигрыш отец совал под подушку — «служкам». Объяснял он это тем, что выиграл у священника, а поп, дескать, взял эти деньги за поминки и потому он не хочет оставлять их у себя.

Та же няня рассказывала мне следующее:

Было это в 1911—1912 году. Ей тогда было лет двадцать. Была она красивая, дородная. Отец подтрунивал над ней, дескать, пора замуж. Однажды приходит он в детскую и говорит:

— Ну, Саша, нашел я тебе жениха. Приоденься, причешись и приходи в мой кабинет на смотрины.

Приходит Саша в кабинет разодетая, вся розовая от волнения. Стоит посредине комнаты огромный парень в косоворотке. Отец спрашивает:

— Ну, как, нравится тебе невеста?

Тот говорит:

— Нравится. Настоящая русская красавица. Кровь с молоком.

— А тебе, — спрашивает отец, — нравится жених?

Взглянула Саша исподлобья и сказала решительно:

— Не нравится. Бритый, а я с усами хочу.

Отец, принимая всерьез свою роль свата, стал ей говорить, что парень уж больно хорошо поет.

Но это совсем испортило дело: без усов, да еще шарманщик, да одет по-деревенски. Парня решительно отвергли. Потом она узнала, что это был... Шаляпин.

А Саш у нас было много. Папу звали Саша, няню — Саша и... собаку. Как позовет мама: «Саша, Саша!» — так все трое и появляются. Но никто на это не обижался.

Моя младшая сестричка Зиночка, кроткое круглолицее существо с раскосыми монгольскими глазами, простудилась, когда ей было полтора года. Доктор, скрывавший свою глухоту, лечил ее от расстройства желудка и не расслышал процесса в легких. Она умерла в начале 12-го года и была похоронена на Гатчинском кладбище. Мама меня часто туда водила, но горе свое не показывала, и посещения эти не оставляли тяжелого впечатления. Я помню солнце, цветы, жужжание пчел и нежный уход материнских рук за могилкой.

Няня Саша, очень любившая Зиночку, не захотела у нас остаться после ее смерти и уехала обратно в Одессу, где нашла свой идеал с большими черными усами. Вскоре мои родители поехали в Ниццу, взяв и меня. Отец абсолютно достоверно описывает эту поездку в «Лазурных берегах».

Глава VI

ДЕТСТВО

Воспоминания раннего детства иногда бывают очень яркими, и не столько окружающая обстановка, люди, сколько чувства — любовь, ненависть — у детей принимают огромные размеры и остаются в памяти на всю жизнь.

И, как ни странно, теперь, когда прожита сложная и трудная жизнь, иногда бессонной ночью я вспоминаю детские обиды настолько явно, что ловлю себя на совершенно искреннем возмущении и взволнованности.

До сих пор, когда льет обильный летний дождь, мне кажется, что я забыла куклу в саду.

Помню крошечный эпизод в Ницце. Мне четыре года. Какая-то чужая несимпатичная тетя повела меня гулять. Из протеста я вырвалась и бросилась через дорогу, чуть не попав под колеса извозчика. На лошади была шляпа из соломки, а над пролеткой белый балдахин с помпонами. Самое главное — было чувство удовлетворения, что я испугала эту тетю...

Мое детство проходило в тесном общении с природой и животными. Для меня каждое дерево, каждый куст, каждый распускающийся цветочек были живыми существами. Этим я, конечно, обязана отцу. Каждый уголок нашего сада в Гатчине был моим заколдованным царством.

Новый сезон приносил новые чудеса. Я помню тихую радость первых подснежников в парке Приорате. Они появлялись в неисчислимом количестве. Помню весенние лужи, когда таял снег, в них отражалось солнце — это тоже была радость.

Помню желтый, рыжий, оранжевый, буро-красный мир осени. Помню снежные горы, в которых выкапывались сказочные пещеры и деловито строились юрты.

Я до сих пор помню каждый кустик, каждое растение, каждую грядку нашего сада и огорода, с такой любовью посаженного папиными руками. И как природа отплачивала ему чудесными цветами и плодами. Кажется, что нигде больше я не видала такого цветения и не пробовала таких вкусных и ароматных яблок, дынь, груш и ягод. А с какой детской радостью мы с отцом открывали вдруг под деревьями дикие ландыши или грибы маслята вдоль забора под акациями. Как заботливо укутывал он на зиму в рогожку розы, которыми так гордился.

Самыми счастливыми моими часами были прогулки по парку Приорат вдвоем с отцом. Там он учил меня мудрому и тонкому искусству рыболовства. Там же я впервые постигла на маленькой утлой лодчонке трудную греблю «плюмажем» (от французского слова «оперение»): при обратном движении весел надо их легко проводить по воде плашмя, и на поверхности воды образуются как бы перья.

Наши отношения были чисто товарищескими, никогда я не чувствовала, чтобы отец обращался со мной, как взрослый с ребенком.

Моими лучшими друзьями были животные. Что я только с ними не делала! Кошек одевала в кукольные платьица, доила огромного сенбернара, садилась на него верхом, с козлом играла в прятки. Никогда они меня не кусали и не царапали.

Я убеждена, что лучше всего животные понимают детей. Вообще они очень любят игры, а играя улыбаются.

Помню, отец рассказывал, как две собаки решили поохотиться за курицей. Одна осталась на страже у калитки, а другая носилась по огороду, стараясь загнать курицу поближе к первой. Ведь как-то они сообразили и распределили свои роли.

Мне было, наверное, лет пять, когда однажды отец совсем опозорился как воспитатель. Он привез гостинцы из Петербурга. Почему-то ему не хотелось говорить, что он купил эти подарки, и он сказал, что своровал их для меня. Я приняла папину шутку за чистую монету, больше того, мне это понравилось. И как-то в сопровождении гувернантки в бакалейной лавочке в Гатчине я потихоньку положила в карман три ореха. Придя домой, я с гордостью положила их на папину тарелку и сказала:

— Вот, я их своровала для тебя!

Отец невероятно смутился, в особенности когда увидел реакцию мамы и гувернантки.

Меня заставили пойти в лавочку, сознаться перед продавцом и вернуть орехи. Было ужасно стыдно. Все во мне протестовало от недоумения: почему же папа говорил, что крадет, когда это так плохо? Я думаю, сам он не мог объяснить своего поступка и чувствовал себя так же плохо, как и я. В нем всегда жил какой-то кусочек детства.

Как и многие дети, я почему-то любила играть в кладбище. В довольно сыром месте нашего сада, между рябиной и большим кустом сирени, росли ландыши. Там я хоронила

и оплакивала жуков, которых мне не удавалось вылечить, гусениц, птичек. Отец долго издевался надо мной после того, как раскрыл это кладбище. На одном из деревянных крестов было написано: «Скворез умученый кожками».

На поляне перед нашим домом стояла очень хорошенькая елочка. Часто в рождественскую ночь ее украшали, и на ней зажигались огни, отчего снежная глубина сада казалась волшебной.

Я очень хорошо помню рождество в мои шесть лет. Помню, с каким старанием я клеила из толстой блестящей бумаги домики, коробочки, вырезала серебряных ангелочков, чертиков, раскрашивала золотом и серебром орехи, потом помогала разукрашивать елку, стройную, мохнатую, наполнившую весь дом своим чудесным хвойным запахом — запахом праздника. Помню, как в ванной я устроила елку для тараканов.

В торжественный вечер мама вдруг сказалась больной. К моему страшному огорчению, она заперлась в своей комнате, положив на голову компресс, и строго запретила к ней стучаться.

Меня перестали интересовать и подарки и мои маленькие товарищи. И когда наконец пришел Дед-Мороз с большой ватной бородой, я не выдержала и бросилась к маминой двери. Не получая никакого ответа, я начала громко плакать и, чтобы меня утешить, пришлось разоблачить тайну Деда-Мороза, который и был мамой.

Испорченный праздник, смутная обида на взрослых заставили меня перенести все мои нежные чувства на елку.

Прошло рождество, прошел Новый год. Сняли игрушки, елка начала осыпаться, но я ни за что не позволяла ее убирать. Она порыжела, оголилась, но я продолжала слезно умолять, чтобы елку не трогали. Это было похоже на любовь к обиженному существу. Мне казалось, что оно живет какой-то тайной жизнью, что я должна защищать его.

И вот однажды, возвращаясь с прогулки, я застала на дворе отца, рубившего мою елку. С диким воплем я бросилась ее спасать и чуть не попала под топор, отчего отец, видимо испугавшись, оттолкнул меня довольно грубо, чего он никогда не делал. Он, который всегда так понимал детскую душу, не понял, что жалкое деревце в тот момент было моим детищем. А я вспоминаю до сих пор невероятную обиду и горькое чувство. Ссора с отцом длилась несколько месяцев. Я спрятала пилу и топор в отцовском кабинете, но

так, что он никак не мог их найти. Собрав жалкие остатки моей елочки — иглы, я упрямо ходила по дому и посыпала ими все, что могла: рукопись, чернильницу, тарелки, стаканы, папин диван, постель. И никто мне не сказал ни слова. Никогда, никогда отец не поднял на меня руки, хотя я часто заслуживала наказания.

Иногда на улицах Гатчины я убегала от няни и с деланным страхом обращалась к незнакомым дядям или тетям:

— Я потерялась, отведите меня домой.

— Как тебя зовут, девочка?

— Я дочь Куприна.

И сразу люди улыбались и торжественно вели меня на Елизаветинскую улицу, знакомую всем гатчинцам.

В детстве я очень любила деревья. Помню рябину, на верхушке которой образовалось как бы удобное кресло, в котором я проводила много часов. Это был мой дом, мое убежище. Туда я залезала, когда приходил какой-нибудь неприятный для меня знакомый, туда я убегала от уроков французского языка или музыки.

Все деревья в нашем саду были мною обследованы. Я любила залезать на березу — ее белоснежный шелковистый ствол и светло-зеленая листва делали окружающий мир каким-то праздничным, светлым, кружевным.

Как-то, гуляя по саду, я заметила в соседнем заборе дырку, откуда на меня глядел какой-то круглый глаз. Чувствуя на себе все время этот пристальный, неутомимый взгляд, я выделывала всякие фокусы: то кружилась на одном месте с тяжелым предметом почти до потери сознания, то прыгала с крыльца, то ездила верхом на добродушном сенбернаре. Однажды я быстро залезла на забор и, победоносно сев на него верхом, застала на месте преступления маленького мальчика с анемичным бледным личиком, большим безвольным ртом и огромными влажными карими глазами. Я ему предложила:

— Давайте познакомимся. Как вас зовут?

— Вова.

У него были вялые, всегда потные руки. Он был трус и врунишка. С тех пор он сделался моим верным рыцарем, моей жертвой. Бедный маленький мальчик Вова.

— Вова, если вы меня любите, ложитесь в крапиву!

— Вова, залезайте на забор!

Вова плакал, обижался, жаловался своей маме, после чего я наказывала его презрением и переставала с ним

разговаривать. И снова видела его влажный глаз в дырочке забора. Потом он униженно просил у меня прощения, и снова начинались его мучения.

Однажды после очередной ссоры с Вовой я замазала глиной все дырочки забора, показывая этим, что все между нами кончено. Вова решил мне отомстить. Как-то, подкараулив мою маму на улице, он подошел к ней и сказал:

— Елизавета Морицовна, а вы знаете, почему я больше не играю с Ксенией? Мне запретила моя мама! Ксения пришла к нам и, когда мама стала угощать ее чаем, она вдруг вцепилась ей в волосы.

Моя мать очень удивилась такому сообщению и повела Вову к нам в дом. При очной ставке Вова повторил свою выдумку. В доме, как всегда, были гости, приехавшие из Питера. Среди них оказался известный адвокат.

Папа решил устроить суд. Глядя прямо мне в глаза, Вова снова разыграл сцену, как я вцепилась в волосы его матери. Возмущенная и удивленная, я, конечно, все отрицала, но была совершенно потрясена его невероятно убедительной ложью и актерскими способностями. Никакие перекрестные вопросы не помогли — каждый стоял на своем.

Тогда папа решил позвать на судилище мать Вовки. Он стал уверять, что его мать уехала в Питер, что ее сейчас нет дома. Но все-таки, держа Вовку за руку, папа направился в соседний дом. Потом он рассказывал, что по дороге Вова продолжал клясться, что мамы нет, но на лестнице не выдержал, заплакал и сознался в своей выдумке.

Я торжествовала. Но с тех пор мальчик Вова ушел из моей детской жизни.

Любовь к животным у меня наследственная. С самого раннего детства собаки, лошади, кошки, козы, обезьяны, медведи и другие звери были равноправными членами нашей семьи. С нежным и пристальным вниманием следил мой отец за их жизнью и нравами. Он говорил, что, если прислушаться к интонациям мяуканья или лая, явно слышится просьба, возмущение, ласка или боль. Среди животных есть добрые и злые, капризные и покладистые, есть воры и убийцы. У них разные характеры, большей частью выработанные самими хозяевами как следствие обращения и воспитания.

В книге «Анатолий Леонидович Дуров», вышедшей в Воронеже в 1914 году, Куприн пишет:

«Когда желают оскорбить человека, говорят: «Эх ты,

животное». Я, со своей стороны, считал бы для себя за честь быть похожим во многих отношениях на некоторых животных. Кичливому царю природы — человеку — многому следовало бы поучиться у животных. Где вы встретите признательность и честность, как не у собак, идеальную любовь лебедя, который умирает от тоски по лебедихе. Однобрачие гусей, не нарушаемое за всю их жизнь. И у каких животных вы встретите Азефов, Гилевичей и т. п. Что же касается внешних чувств животных, то они значительно совершеннее, чем у человека.

Осязание: слон чувствует муху на толстой своей коже (тогда как человек часто бывает «под мухой», ничего не чувствует).

Обоняние: это одно из наиболее развитых чувств; собака отличает след своего хозяина через несколько часов после того, как он прошел, и тысячи следов других людей.

Слух: кошка слышит на далеком расстоянии шаги совершенно бесшумно бегающей мыши.

Животные отличаются своей памятью, рассудком, способностью различать время, пространство, цвета и звуки. У них бывают привязанности и отвращение, любовь и ненависть, благодарность, признательность, верность, радость и горе, гнев, смирение, хитрость, честность и забитость. Но здесь уместно подчеркнуть, что в обиходе и характере животных (я говорю о домашних) положительные стороны преобладают над отрицательными.

Животное ухаживает за больными, помогает слабым и делится своей пищей с голодными».

В своей записной книжке Куприн однажды записал в 1933 году в Париже:

«Собаки на наших глазах все больше очеловечиваются. Но мы видим примеры особачившихся и освинячившихся людей.

P. S. Говорю это в подлинном смысле».

Еще в 1910 году Александр Иванович встретил Владимира Дурова и увлек его идеей взяться за дрессировку морских львов.

Александр Иванович, разглядывая как-то морского льва, обратил внимание на его необыкновенно выразительные глаза и по их взгляду решил, что зверь должен быть очень умным, хотя до того времени существовало мнение, что все морские звери необыкновенно тупы.

Многих четвероногих героев отцовских рассказов я хорошо помню.

Про обезьянку Марию Ивановну отец написал маленький рассказ, мало известный. Могу добавить, что назвал он ее так, чтобы досадить какой-то неприятной ему даме, которая, рассердившись, перестала посещать наш дом, и таким образом цель была достигнута. Привезла в Гатчину обезьянку Лидия, дочь Александра Ивановича от первого брака, которая была старше меня на шесть лет и жила у своей матери в Петербурге. У нее тоже была, видимо, наследственная страстная любовь к животным. Кажется, ей велели избавиться от натворившей бед обезьянки, и она сейчас же подумала об отце.

Об одной «слабости» Марии Ивановны Лида осторожно умолчала. Обезьянка не могла равнодушно относиться к шуму шелка и поэтому не пропускала ни одной дамы, одетой в юбку из такой материи.

Я вспоминаю Марию Ивановну баюкающей щенка. Она держала его головой вниз и нежно прижимала торчащий вверх хвостик к своей мордочке. Щенок отчаянно визжал, но подойти к ней в эти минуты было невозможно. Это поведение навело отца на мысль, что у нее какая-то женщина, наверное, отняла детеныша. Чтобы отвлечь ее от щенка, я отдавала Марии Ивановне свои игрушки, которые она немедленно превращала в груду мусора.

Как-то приехал в Гатчину наш верный друг клоун Жакомино и предложил взять безобразницу к себе на обучение. У него как раз был задуман цирковой номер с обезьянкой.

Мария Ивановна оказалась способной и умной ученицей, и Жакомино был в восторге от нее.

Наконец наступил день премьеры. Все шло хорошо. Мария Ивановна проделывала все, что делал клоун,— сальто, курбеты, скачки и гримасы. Номер часто прерывался смехом и аплодисментами. Но вдруг вдоль барьера показалась запоздавшая дама в красивом шуршащем платье, отороченном мехом шиншиллы. Мария Ивановна, не слушая окриков Жакомино, в два прыжка через манеж очутилась около дамы и сорвала с нее юбку, укусив притом ее за икру. Получился скандал. Жакомино приговорили к четырем дням ареста и возмещению убытков. Так окончилась карьера обезьянки.

О ее дальнейшей судьбе после неудавшегося дебюта

в цирке мне рассказал журналист Борис Михайлович Киселев, с отцом которого Куприн дружил в Киеве. Когда клоуну Жакомино пришлось продать обезьянку в зоологический сад, она не растерялась. Однажды перед глазевшими на нее зрителями, вспомнив уроки Жакомино, она стала проделывать курбеты и сальто. На нее посыпались конфеты, бананы и булки, что ей, разумеется, понравилось, и каждый рав, когда собиралось достаточно народа у клетки, Мария Ивановна показывала свое искусство. Постепенно она стала любимицей детворы.

А вот что я помню о самой любимой отцом собаке — Сапсане.

В псарне великого князя Михаила родились щенки редкой породы. Заведующий псарней, хороший знакомый А. И. Куприна, дал ему знать об этом счастливом событии. Один из новорожденных был совсем хилым и слабеньким, и его хотели утопить как недостойного вступить в почетную великокняжескую свору, которую тренировали для охоты на медведей. Отец упросил отдать ему щеночка.

Крохотное существо выкармливали из соски, давали ему толченые кости и рыбий жир. Назвали его Сапсаном. Потом он стал большой «щенок опятиног», как называл папа всех неуклюжих подростков в переходном возрасте.

Но характер у Сапсана уже тогда был независимый и гордый. Кроме отца, он никого не признавал, был серьезным и не позволял с собой никакой фамильярности не только со стороны чужих, но и со стороны членов семьи. Сапсан никогда не играл со мной, а я никогда бы и не решилась таскать его за хвост или впрягать в санки. Эти игры мне позволяли лишь добродушные сенбернары.

У отца с Сапсаном были свои разговоры, секреты, ссоры, примирения. Несколько лет спустя Сапсан, гуляя с отцом на базаре, увидел козленка и, не слушая окриков, кинулся на бедное животное. Год был голодный. Отцу пришлось заплатить за козленка, и в сердцах он сильно побил своего друга. Сапсан обиделся, залез в будку и долго дулся. Два-три дня спустя на Сапсана наскочил грузовик и чуть не раздавил его. Сапсана принесли домой, бережно положили на тахту в папином кабинете и прикрыли чистой простыней. Отец потребовал, чтобы их оставили вдвоем. Заглянув в скважину, я увидела, как папа стоял на коленях у изголовья Сапсана и просил у него прощения. К счастью, могучий пес выздоровел.

Я его боялась, хотя у нас в доме всегда было много собак.

Как-то я спросила у занятого в огороде папы, на цепи ли Сапсан. Услышав его утвердительный ответ, я направилась к выходной калитке. Вдруг показался Сапсан в игривом настроении. Я совершила ошибку и побежала, он за мной. С диким криком я уткнулась в забор, а Сапсан лапами начал срывать с меня меховую шапочку. Какой-то прохожий повернул в мою сторону широкое белое, как блин, лицо с дрожащими губами. Увидев громадного пса, готового пожрать бедного ребенка, он воровато убежал. Меня поведение этого взрослого человека так удивило и возмутило, что я забыла о своем страхе. Легко стряхнув Сапсана со своей спины, я спокойно взяла его за ошейник, и мы мирно пошли с ним гулять.

Одно событие, связанное с Сапсаном, даже описывалось в местной гатчинской газете. Ночью к нам забрался вор. Сапсан загнал его в сарай и там продержал прижатым в угол всю ночь. Потом оказалось, что у вора был в кармане нож и, если бы собака дала ему хоть малейшую возможность, он, конечно, воспользовался бы им. Редкий случай, когда вор обрадовался полиции.

Кончилась жизнь Сапсана трагично. Однажды он пропал. Его долго искали, наконец нашли за городом: сильное благородное тело собаки лежало в мусорной яме. Кто-то заманил его пищей и застрелил в висок. Может быть, это отомстил ему тот самый вор, иначе как объяснить такое жестокое, бессмысленное и преднамеренное убийство?

Отец тяжело переживал смерть своего друга. Когда он сильно горевал, то сжимал зубы до скрежета, и его глаза смотрели куда-то вдаль.

В Петербург отец ездил не регулярно, но иногда застревал там на недели, попадая под влияние литературной и артистической богемы. Мать самоотверженно боролась с плохим окружением отца, оберегала его покой, вырывала из дурных компаний, выгоняла из дома некоторых литературных жучков. Но слишком много могучих противоречивых жизненных сил бродило тогда в отце. Даже небольшое количество алкоголя превращало добрейшего Куприна в человека буйного, озорного, с бешеными вспышками гнева.

Глава VII

«САШКА И ЯШКА»

Александра Ивановича, любившего спорт, ловкость тела, людей, легко рисковавших жизнью, не могли не интересовать летчики. Он написал ряд очерков и рассказов об авиации: «Мой полет», «Ковер-самолет», «Сашка и Яшка», «Люди-птицы», посвященных А. И. Коновалову. В последнем очерке он пишет:

«Авиация никогда не перестанет занимать, восхищать и всегда снова удивлять свободные умы. Вот они высоко в воздухе проплывают над нами с поражающим гулом, волшебные плащи-мерлены, сундуки-самолеты, летающие ковры, воздушные корабли, ручные орлы, драконы, самая смелая сказка человечества, многотысячная его греза, символ свободы духа и победы над тягостью земли».

Книжка «Гатчина»[1] подробно рассказывает о возникновении авиации в нашем городке.

Петербургские организации и учреждения, которые поняли значение и будущее авиации, решили создать аэродром поблизости от столицы. Их выбор пал на Гатчину.

12 марта 1909 года Всероссийский аэроклуб обратился к министру двора с просьбой временно воспользоваться гатчинским военным полем, которое было единственным местом в окрестностях Санкт-Петербурга, годным для опытов с летательными аппаратами. Но у аэроклуба не хватало средств для постройки ангаров. Уже в 1909 году были произведены первые публичные полеты на аэроплане. Собиралась масса зрителей.

Вскоре в Гатчине появилась профессиональная школа Гатаюн, и уже в 1911 году состоялся первый выпуск пилотов. В 1914 году выпускники гатчинской профессиональной школы прославились своими подвигами на фронтах, и многие их имена вошли в историю русской и советской авиации. Нестеров, Данилевский и первые женщины-летчицы были выпускниками гатчинской профессиональной школы.

Мой отец часто бывал на аэродроме, знакомился с летчиками, с жадностью слушал их рассказы.

В то время происходило очень много несчастных случаев из-за примитивных конструкций аэропланов. На нашей Елизаветинской улице, по которой шли процессии на клад-

---

[1] Ю. Н. Яблочкин, А. В. Рузов. Гатчина. Лениздат, 1959.

бище, часто раздавались звуки бетховенского траурного марша, а на кладбище все больше и больше появлялось могил, на которых устанавливались вместо памятников пропеллеры. Посредине пропеллера в круглое отверстие для винта вставлялись фотографии героев. Разбившегося летчика провожали в последний путь его товарищи, и в воздухе на всех свободных летательных аппаратах, когда гроб опускали в могилу, они описывали круги.

Отцу подарили пропеллер, который стоял у него в кабинете. Я помню, как мы, дети, прикладывались к нему ухом, и нам казалось, что мы слышим ветер, как в некоторых морских раковинах слышишь шум прибоя.

Я очень хорошо помню «папулю» Николая Северского, который совмещал авиацию с опереточным искусством. Он был поразительно похож на Петра I, которого через несколько лет сыграл в кино в Швеции. Северский — его псевдоним, настоящая фамилия его была Прокофьев. От первого брака у него было два сына, Саша и Жоржик, а от второго — маленькая дочка Ника, моя сверстница и подруга. Все трое — герои рассказа Куприна «Сашка и Яшка».

Хорошенькая голубоглазая Ника часто гостила у нас в Гатчине. Нашей самой любимой игрой был театр. Очень часто мы устраивали представления, живые картины. Обычно режиссером этих детских спектаклей был мой отец.

Очень хорошо помню одну такую постановку. Ее сюжет был таков: старый волшебник скучает и вызывает к себе чертей. Он требует сотворить ему жену, самую красивую, самую добродетельную и самую послушную в мире. Заканчивалась пьеса стихами: «Не прошли и три недели, он повесился на ели». Наверно это было инсценировкой на известный сюжет песни С. Прокофьева «Кудесник».

Волшебника с седой ватной бородой и в заморском халате играла я. Моя подруга Ника была прелестной, но скучной женой. Черти, соседские мальчишки, вымазанные сажей, скакали в громадных валенках. За неимением ели последнюю строчку переменили и получилось: «Он повесился на двери».

Однажды мы все поехали на гатчинский аэродром. Ника уже приняла воздушное крещение и смотрела на меня немножко свысока. Помню, как мы стояли около ангаров и при нас совершилось несколько полетов и посадок. Вдруг я увидела вокруг великана «папули» умоляюще скачущую

маленькую фигурку Ники. Саша и Жоржик готовились к полету, и я сразу поняла, что Ника хочет лететь с ними. Я стала упрашивать родителей пустить и меня. Отец согласился, но мама ни за что не хотела дать разрешение. Ее долго упрашивали «папуля» и оба брата, и, наконец, сопротивление было сломлено.

Саша сел в открытом маленьком аэроплане впереди, а Жоржик сзади, усадив меня на правое колено, а Нику на левое. Меня мучил в тот момент единственный страх, что мама в последнюю минуту раздумает. Но вот завертелись пропеллеры, обдав нас волной воздуха и пыли, мы покатились по аэродрому.

Аэроплан набирал скорость, и мы начали плавно подниматься. В лицо мне ударила сильная струя воздуха, от которой я стала захлебываться и задыхаться. Жоржик очень заботливо прикрыл меня своей курткой, а Ника в это время визжала от восторга. Наконец аэроплан набрал высоту в тысячу метров и стал описывать круги над городом. Ветер не был уж таким резким, и мы — Ника и я — начали узнавать улицы, дома, парки, собор, наперебой высовываясь, свисая за борта аэроплана. Мы кричали, жестикулировали, ерзали. Жоржик крепко держал нас за шиворот. Потом он сознался, что никогда еще не возил таких беспокойных пассажиров и на земле был рад от нас избавиться.

На другой день, когда я вошла в класс и гордо объявила, что вчера летала на аэроплане, мальчишки хором закричали: «врешь». Всегда горько, когда вам не верят, и свою правду мне пришлось доказывать кулаками.

Во время войны Саша Прокофьев потерял ногу в одном из боевых полетов, но остался летчиком. Потом он потерял и вторую ногу по щиколотку, но оставался прекрасным танцором. Позднее Саша уехал в Америку.

Семья Северских также эмигрировала; сначала в Швецию, где они прожили несколько лет и где «папуля» и хорошенькая Ника снимались в кино. Через несколько лет они приехали в Париж, надеясь устроиться также в кино, но это оказалось очень трудным.

Жоржик пел, аккомпанируя себе на гитаре, в русских кабачках слащавые романсики. Семья жила подачками богатого брата из Америки.

Глава VIII

ВОЙНА

А. И. Куприн в 1914 году искренне поверил в священную войну во имя спасения Родины от «гуннов». Немало было в то время писателей и поэтов, в том числе и либерально настроенных, поющих гимны войне. Многие стали офицерами. Куприна как поручика в запасе призвали на службу. В начале войны он пишет одноактный водевиль «Лейтенант фон Плашке», высмеявший немецкий милитаризм, и сонет «Рок»:

За днями дни и каждый день всё то же:
В грязи... в снегу... под ревом непогод.
Без сна... без смены, вечно настороже,
Забывший времени обычный счет...
Ложась под нож, на роковое ложе,
Бесстрашно смерть встречая в свой черед,
Великий подвиг совершает, Боже,
Смиренный твой, незлобивый народ!
Без хитрости, корысти, самомненья,
О завтрашнем не помышляя дне,
Твои он исполняет повеленья,
Не ведая в губительном огне,
Что миру он несет освобожденье
И смерть войне.

Странно перекликается у зрелого Куприна этот сонет со стихотворением пятнадцатилетнего кадета Саши Куприна «Боец», написанным в карцере в 1885 году.

С светлой душою я шел на сраженье.
Знамя высоко держал.
Чувствовал юной я крови волнение,
Силу в себе ощущал.
Бился я долго за правду святую,
В жертву принес ей себя.
Бился за Родину я дорогую,
Бился, народ, за тебя.
Братья! Я гибну... Возьмите же знамя,
Встретьте без страха врагов.
Слезы народные, братья, за вами,
Горькие слезы и кровь.

В нашем доме был устроен госпиталь. В большую комнату, которая служила нам гостиной и столовой, поставили десять коек, а в соседней, маленькой комнатке была устроена перевязочная.

У солдат были несерьезные ранения. Мне сшили ко-

стюм сестры милосердия, и мама, тоже вспомнив молодость, надела свою форму. Я помогала по мере сил, рассказывала солдатам сказки, играла с ними в шашки.

Старый, но крепкий кирасирский генерал Дрозд-Боняческий был гатчинским комендантом. Он приехал инспектировать наш госпиталь. Отец вспоминал, что комендант неизменно интересовался тем, что читают солдаты, одобрил «Новое время» и «Колокол», не терпел «Речи» и «Биржевика». «Слишком либера-а-а» (говорил он врастяжку, не договаривая последних слогов).

— И надеюсь также, что сочинения Куприна вы им читать не даете. Сам я этого писателя очень уважа-а-а, но согласитесь с тем, что для рядовых солдат чересчур, скажем, прежде-е-е...

С этого момента у нас в семье началась игра в недоговаривание слов. Мы говорили: «Мне ску-у-у», «Давайте поигра-а-а» и так далее.

В 1915 году А. И. Куприна мобилизовали и послали на север Финляндии на военную службу. Там он обучал солдат и временно командовал ротой.

Военная служба не оставляла Александру Ивановичу свободного времени для творчества.

«Друзья! Клянусь, ни одной секунды свободного времени»,— писал он Н. Телешову из Гельсингфорса 14 января 1915 года в ответ на предложение последнего прислать что-нибудь для одного из подготавливаемых «Средой» литературных сборников.

За время военной службы Куприн написал лишь один небольшой рассказ — «Драгунская молитва». Об этом рассказе он сказал позднее: «Не думайте, что я пишу что-нибудь о психологии солдат на войне. Нет, там больше говорится о кавалерийских лошадях. Писать военные рассказы я не считаю возможным, не побывав на позициях... На войне я не бывал, и потому мне совершенно чужда психология сражающихся солдат»[1].

В этот период Куприн явно идеализирует взаимоотношения солдат и офицеров.

...По мнению начальства своего, все функции Куприн выполнял аккуратно, точно и незамедлительно.

«...Его положительно... обожали солдаты за простое доверчивое к ним отношение, за внимание к личным особен-

---

[1] «Биржевые ведомости», 1915, 21 апреля.

ностям каждого подчиненного, за исключительную отзывчивость и заботы, а также за живой и мягкий характер»[1].

Исполнение обязанностей строевого офицера давалось Куприну нелегко: «В строю ходить с солдатами еще могу, но делать «перебежки» — невозможно... Задыхаюсь. Да и нервы сильно стали пошаливать... Хочу что-нибудь сделать и забываю или делаю совершенно другое... Простой бумажки составить не могу. Надо мной и то смеялись, говорили, что после «Сатирикона» самое смешное — мои рапорта, а я писал совершенно серьезно.

...Сам я ничего сейчас не пишу. Принимаюсь за рассказ и скоро обрываю работу. Я занят и по-настоящему увлечен военными уставами»,— рассказывал Александр Иванович Василию Регинину, приехавшему по поручению газеты «Биржевые ведомости» в Гельсингфорс.

Он жалуется на вечные материальные трудности:

«Ничего у меня, кроме долгов, нет. Дом два раза заложен, многие вещи, как говорится, в «починке». Были кое-какие ковры, да камни, да цепочка, все «чинится». Главная причина... моя доверчивость.

Я всегда верил слову человека, даже тем, которые меня обманывали по два-три раза. В контракты не вчитывался, в периодическом крючкотворстве не разбираюсь и отсюда, быть может, мои материальные неудачи...

...Ну да все это меня не удручает. Что бы я был за русский писатель, если бы умел устраивать свои дела или давал бы деньги в рост и всякое такое» [2].

Пробыв семь месяцев в Финляндии на военной службе, отец заболел и был помещен в Николаевский военный госпиталь. Мама, взяв меня с собою, по просьбе отца поехала в Гельсингфорс. Вскоре мы вернулись в Гатчину.

В госпиталь случайно прислали солдата, больного тифом. Тогда вообще тиф начал свирепствовать в армии. Госпиталь немедленно закрыли на карантин, но я успела заразиться и очень долго и серьезно болела. Потом уже мне рассказывали, что я была на волосок от смерти и что родители переживали страшную трагедию. Но я отлично помню молебен, помню исповедь и причастие, помню, как отец Александр, смазывая меня каким-то маслом, тихонько прошептал:

---

[1] «Русская иллюстрация», 1915, 24 мая.
[2] «Биржевые ведомости», 1916, 17 января.

— Ты посмотри на животик, если у тебя там белые пятнышки, то ты пойдешь в рай...

После этого отец Александр кропил все углы. В дверях столпились все домочадцы, громко рыдая, а я с любопытством задрала свою рубашонку и к своему успокоению нашла белое пятнышко на животе.

Потом началось медленное выздоровление.

В декабре 1915 года отец стал рваться из Гатчины. Ему предложили поехать в Киев в местный отдел Всероссийского земства. Хотя всяких военных организаций было тогда множество, только Всероссийское земство и Всероссийский союз городов обладали средствами и приносили некоторую пользу фронту. С ними считались и туда обращались, минуя интендантство военного ведомства. В этой организации были разные отделы — передовые перевязочные отряды, медико-санитарные отряды, эпидемические, лабораторные, аптекарские склады, вещевые склады, этапный отдел, автомобильный, банно-прачечный, кожевенный и др.

Куприну предложили стать уполномоченным Комитета, но он отказался, потому что был плохим бухгалтером, кроме того, ему хотелось активной деятельности, интересных встреч. Отца назначили помощником уполномоченного, это дало ему возможность попасть ближе к фронту. Он увидел много беженцев, много горя.

«Я привык жить без всякой отчетности, без всякого контроля, кроме отеческого попечения бдительной полиции. И на фронт мне не пришлось съездить... Я... решил, что ездить туда из праздного любопытства, с комфортом и полною безопасностью... как-то неловко»[1].

В Киеве Александр Иванович жил в третьеразрядной гостинице «София». В это время во Всероссийском союзе городов было большое количество всякой шушеры, избегающей фронта, служащих в качестве помощников. Они носили кортики вместо шашек. Их называли «земгусары». Они, конечно, сразу же облепили Куприна, пользуясь его мягкостью, неумением отказать. Начались попойки, что сразу же пагубно сказалось на здоровье отца. Он вернулся в Гатчину.

«Болен,— жаловался всем Куприн.— Принужден отказаться от своего плана ехать на фронт военным корреспондентом».

---

[1] «Биржевые ведомости», 1916, 1—3 января.

Восстановив здоровье, Александр Иванович опять загорелся новым проектом. Старый товарищ по кадетскому корпусу А. М. Азанчеев-Азанчевский, очень талантливый инженер, находился на постройке Мурманской железнодорожной линии. Он пригласил Куприна совершить поездку по русской Лапландии и вообще по Северу. Александр Иванович еще не был на Севере, совсем его не знал, и ему, конечно, хотелось поехать, но путешествие это почему-то не состоялось.

Когда отцу не писалось и было скучно, он любил играть в карты, был очень азартным, хотя никогда не играл на большие деньги. Он обучил меня преферансу почти с восьми лет, но вместе мама нам запретила играть, так как наши партии кончались бурными ссорами.

Когда Александру Ивановичу хотелось, чтобы соседи пришли поиграть в преферанс, то он вывешивал на помойке, возвышавшейся, как холм, шест с пиратским флагом.

Глава IX

КАВКАЗ

В 1916 году мне особенно ярко запомнилась наша не совсем удачная поездка на Кавказ.

В середине августа приехал импрессарио Федор Евсеевич Долидзе, энергичный человек с интересной биографией. В юности он работал помощником паровозного машиниста в тифлисском депо. Он не только сам жаждал учиться, но и организовывал для рабочих научные лекции. Так началась его просветительская деятельность. По инициативе Федора Евсеевича в 1908 году было создано Народное музыкальное товарищество и проводилось много спектаклей и концертов для широких масс. С 1911 года Долидзе обосновался в Петербурге как антрепренер. По роду своей работы он был знаком и дружил со многими знаменитостями. Встречался неоднократно и с Александром Ивановичем, который часто говорил ему о своем желании посетить Грузию. Помня об этом, Долидзе приехал в Гатчину, чтобы предложить отцу прочесть на Кавказе цикл лекций. Александр Иванович не любил выступать, долго отказывался, но соблазн посетить пушкинские места взял верх. Решили ехать всей семьей. Собираться пришлось быстро, и в доме

стояла кутерьма. Взяли много вещей, но самым «тяжелым» багажом оказалась моя гувернантка, француженка мадемуазель Барле. Это была женщина лет 35, очень некрасивая, с черными живыми глазами и в ужасно уродливом темно-коричневом парике.

В дороге случился комический инцидент с мадемуазель Барле. Она много слышала о тульских пряниках и решила выйти в Туле, чтобы их купить, но замешкалась. Поезд тронулся, и мы не сразу заметили ее отсутствие: потом стали бегать по всем вагонам и спрашивать: «Не видал ли кто дамы в клетчатом костюме с красным шарфом на голове?» Убедившись, что ее нет в поезде, мои родители выслали ей с ближайшей станции деньги, документы и билет. Она вскоре нагнала нас, невероятно шумная, возбужденная. Оказывается, м-ль Барле металась по тульскому вокзалу в полной панике и что-то лепетала про monsier Kouprine, le celebre ecrivain[1], но ее никто не понимал.

Перед лекциями отец решил отдохнуть неделю в Кисловодске. Там мы встретили Мамонта Дальского, приехавшего на гастроли драматического актера, гремевшего в то время в России. Он мне показался ослепительным, и я запомнила его на всю жизнь: холеный, нарядный, перстни, брелоки, палка с золотым набалдашником, панама, бритое актерское лицо, закругленный голос... Любовь к Пушкину очень сблизила Дальского с отцом. Они решили провести совместно несколько вечеров, посвященных великому поэту. Отдых не удался, ибо пришлось кочевать между Кисловодском, Пятигорском и Ессентуками.

Первый вечер состоялся в Пятигорске 10 сентября в курзале. Отец прочитал лекцию о драмах А. С. Пушкина. Он закончил ее выражением своей глубокой веры в то, что «народ, который имеет великого Пушкина и который со временем весь заговорит на великолепном пушкинском языке, даст еще миру много ценного в области искусства»[2].

После лекции Мамонт Дальский исполнил монологи из «Скупого рыцаря» и «Бориса Годунова».

До сих пор помню силу поразительного перевоплощения Мамонта Дальского. Из холеного, упитанного, самоуверенного он делался то жалким, тощим стариком, то величавым царем.

---

[1] Мсье Куприн, знаменитый писатель.
[2] «Кавказский край», 1916, 20 сентября.

Я присутствовала почти на всех вечерах. У меня с папой была такая игра: потихоньку от всех, закрываясь ладошкой, мы показывали друг другу кончик языка. И, сидя в ложе на авансцене, когда папа косился на нас, я показывала ему язык, радуясь своему преимуществу. Но в нем всегда жил озорной мальчишка, и однажды, кланяясь публике и делая вид, что поглаживает усы, он умудрился ответить мне тем же.

Мамонт Дальский и Куприн пользовались громадным успехом. Первый не разочаровывал скучающих курортников своей наружностью — таким и должен был быть знаменитый актер; про отца же, одевавшегося весьма небрежно, в чем была доля кокетства, местная поэтесса Зоя Мерцалова напечатала стишки в газете «Кавказский край», высмеивающие мещанскую психологию обывателей.

КУПРИН НА ГРУППАХ

(Подслушанный разговор)

Светит солнце ярко,
Блекнет цвет куртин.
По аллее парка
Шествует Куприн.
Вздулось, словно парус,
Серое пальто.
В небе тучек ярус,
Уж сентябрь на то...
Глянула Наташа
И толкнула мать:
— Вот Куприн, мамаша!
Вот он самый, глядь!
Агния Сергеевна
Видит Куприна.
«Ишь ты! — задушевно
Говорит она.—
Чудно пишет, чудно,
Прямо Аполлон,
Только верить трудно,
Будто это он».
— Он! Поверьте, мама,—
Уверяет дочь.
Но «маман» упряма
И съязвить не прочь:
«Ой ли? Что за диво?
Внешность не по мне.
Всяк писатель с гривой,
На носу пенсне.
Нос утрет Парижу
Русский беллетрист!

А Куприн, я вижу,
Вовсе неказист:
Нет манер маркиза,
Не видать волос,
Вроде у киргиза
Где-то в степи рос».
И мамаша строже
Глянула на дочь:
«Выдумала тоже!
Ты мне не морочь...»
Шел в то время с шиком
Парикмахер Жан.
И в восторге диком
Вскрикнула «маман»:
«Что за шевелюра!
Это шик один!
Глянь, Наталья-дура,
Вот тебе Куприн!»

«Кавказский край», 23 сентября 1916 г.

Помню, как моего отца одолевали фотографы. Не умея отказывать людям, он часто попадал впросак. Однажды проезжий куплетист Петр Карамазов попросил у него разрешения сфотографироваться с ним. Через несколько дней появились «кровавые» афиши, на которых был помещен снимок с надписью: «Петр Карамазов — друг А. И. Куприна». Это дало Петру Карамазову полный сбор. Конечно, после первого же выступления, показавшего бездарность Карамазова, ему пришлось покинуть Пятигорск.

В Ново-Кавказской гостинице в Ессентуках, где мы остановились, без конца толпился народ, были и журналисты. Редактор пятигорской газеты «Кавказский край» П. Петросян беседовал с отцом несколько часов и затем напечатал в газете его высказывания.

— Я люблю жизнь и людей,— сказал Куприн о себе.— Каждый человек, кто бы он ни был и каково бы ни было его духовное развитие, для меня интересен; он интересен, как личность, как атом необъятного космоса...

На вопрос о причинах надвигающегося на Россию голода Куприн ответил:

— Вы сами отлично знаете, что гнусная спекуляция создала эту вакханалию. Достаточно было бы забрать в руки эту спекулирующую братию, зажать в железный кулак всю эту тыловую сволочь, и продовольственный вопрос сам собою разрешился бы. Между тем, пользуясь беспомощностью представителей власти, потерявших свои голо-

вы, спекулянты злорадствуют и здорово живут за счет пота и крови...[1]

Как правило, отец всегда навещал наборщиков местных типографий и, зная их скудные заработки, старался им помочь. Он не знал счета деньгам и никогда о них не думал. К счастью, главной семейной кассой всегда заведовала мать. Это продолжалось и в Париже, когда наше материальное положение бывало серьезным и даже трагичным. Маме волей-неволей приходилось брать на себя практическую сторону жизни, хотя это совсем было не по ее характеру.

21 сентября 1916 года мы должны были выехать во Владикавказ, а потом в Тифлис по Военно-Грузинской дороге, что в то время было небезопасно. Знакомые дамы укоризненно качали головами в громадных шляпах, зловеще скрипели корсетами и старались запугать мою маму. Больше всего их возмущало, что берут с собой ребенка. Но мама, всегда дрожавшая за нас, ничего не боялась, когда ее «дети» (отец и я) были с нею. Надо сказать, что из-за своего неистощимого любопытства отец часто подвергал себя всевозможным опасностям.

Несмотря на все рассказы об обвалах, нападениях разбойников, наши планы не переменились — только в Гатчину был отправлен лишний багаж вместе с мадемуазель Барле.

Много лет спустя мы встретили эту милую женщину в Париже. Она вышла замуж, часто приглашала нас обедать и помогала нам в трудные минуты, чем могла.

24 сентября Куприн выступал с лекцией во Владикавказском городском театре. Зал был переполнен. При появлении отца на сцене раздался гром аплодисментов. Аплодировал и сам губернатор с семьей, находившийся в своей ложе.

Но, видимо, отец в тот вечер был не в ударе и начал лекцию невнятно. В зале послышался ропот. Это окончательно вывело отца из себя. Он погасил стоявшие на кафедре свечки и, приблизившись к рампе, сказал: «Можете получить ваши деньги обратно». А на какой-то глупый выкрик прибавил: «И вдобавок пять копеек на баню». Повернулся и ушел.

Полицмейстер повел Долидзе объясняться к губернатору.

— Ваше превосходительство, публика требует деньги обратно. Я привел к вам администратора,— сказал он.

[1] «Кавказский край», 1916, 16 сентября.

Зная суровость и строгость губернатора, Долидзе ждал от него каких-то строгих мер, но, к его удивлению, губернатор оказался в хорошем расположении духа. Весело рассмеявшись, он сказал: «А разве только посмотреть на Куприна не стоит того, что они заплатили?»

Инцидент был исчерпан тем, что бо́льшую часть сбора решили внести в пользу раненых и инвалидов войны.

На другой день чуть свет мы вместе с Федором Евсеевичем Долидзе покинули Владикавказ и направились в Тифлис по Военно-Грузинской дороге.

Ехали мы очень медленно, в открытой коляске. Отец всю дорогу читал стихи Пушкина и Лермонтова, он знал многие наизусть.

Было невыносимо жарко.

Горы становились все выше и заметно приближались. Дарьяльское ущелье. Мы ползли между небом и землею, сверху нависли голые скалы, а глубоко внизу пенился стремительный Терек. Среди этой дикой природы было странно увидеть серые развалины одинокого дома на берегу реки. Мне сказали, что это замок царицы Тамары.

Начало смеркаться, и спустился сильный туман. По мере того как мы взбирались в гору, становилось все холоднее. Еды с собой не взяли — не предусмотрели. Дорога была узкая и скользкая, и казалось, что копыта лошадей скользят по краю дороги и вот-вот сорвутся. Туман сгущался. Вдруг наверху появился горец на коне. Он минутку постоял, презрительно поглядел на нас и ускакал. Сразу вспомнились рассказы о нападениях разбойников... Все молчали, мама судорожно прижимала меня к себе.

Долго и медленно поднимались мы в гору. Становилось темнее. Наконец заметили огоньки на верху Крестового перевала. Там, в низком каменном здании, расположился военный караул. Но, когда мы добрались туда, нас не хотели пустить переночевать и довольно грубо сказали, что это не гостиница. Как Долидзе ни убеждал караульных, говоря, что нам невозможно спускаться ночью в тумане, что это опасно, что среди нас есть ребенок, что мы голодны,— ничего не помогало. Наконец, зевая и почесываясь, вышел начальник караула узнать, в чем дело. Ему сказали, что писатель Куприн просится на ночлег, и тут свершилось чудо.

— Тот самый Куприн, который написал «Поединок»? Что же вы раньше молчали?

И нам оказали самый радушный прием. Каждый солдат старался сделать нам что-либо приятное. У меня появились бородатые няньки. Принесли кто что мог: живую форель, вино, свои лучшие одеяла, подушки... Меня положили спать на столе. Остальные разместились на лавках.

Известность Куприна дошла каким-то образом до этого затерянного уголка, до полуграмотных и даже неграмотных солдат. До сих пор меня поражает и волнует популярность отца среди простых людей.

На другое утро нас провожали, как самых близких друзей.

Позднее отец писал своей сестре Софье Ивановне Можаровой, что «Ксения оказалась прекрасным дорожным товарищем в нашей поездке на Кавказ, поездке утомительной, с перекладками, впроголодь, без ночлегов, днем в страшном пекле, вечером однажды на вершине хребта в тумане».

В Пассанаури нас также ждала неприятность: хотя начальник владикавказского транспорта, узнав, что едет писатель Куприн, сделал распоряжение, чтобы нам дали лучших лошадей, их не оказалось, и нам пришлось и там ночевать.

На другой день, 27 сентября, мы благополучно прибыли в Тифлис и остановились у композитора Генсиорского, тестя Ф. Е. Долидзе.

В Тифлисе гастролировал любимый друг Александра Ивановича — Иван Заикин, а также Поддубный и другие борцы. Отец очень радовался предстоящим встречам.

В первый же вечер по приезде мы отправились в цирк. Как и всегда, узнав Куприна, один из циркачей известил публику о нашем присутствии, и нас приветствовали громкими аплодисментами. Отца сейчас же пригласили в почетное жюри. Должен был выступать Заикин, который буквально раздавил своего противника Броненосцева.

На другой день состоялся грандиозный банкет.

Любовь к цирку проходит через всю жизнь моего отца. Борец Заикин долгие годы был одним из самых близких его друзей. Великан, похожий на добродушного слона, в квартирах он всегда чувствовал себя неловко, боясь что-либо опрокинуть или сломать. Но его жесты отличались чисто цирковой ловкостью. Он весьма осмотрительно садился на хлипкие стульчики на тонких ножках или брал в свои громадные руки хрупкую фарфоровую чашку. Даже

походка его была легкой и осторожной — он как бы боялся раздавить случайно что-либо живое.

В Тифлисе был такой случай: отец, Заикин и Долидзе проходили по какому-то проспекту и увидели огромное скопление народа. Из толпы доносились шум и крики. Это была бурная уличная драка. Заинтересовавшись, отец стал пробираться в гущу толпы, но Заикин, как всегда оберегая Александра Ивановича, буквально вытащил его оттуда и увел. Долидзе с удивлением спросил у Заикина:

— Неужели вы, сильнейший борец и чемпион мира, боитесь какой-то драки?

— Я силен на ковре во время борьбы,— ответил Заикин,— а тут всякий мальчишка может пырнуть ножом, и твоя сила останется ни при чем.

Почти каждый свободный от лекций вечер отец проводил в цирке.

В семье Генсиорского было несколько дочерей, и дом был полон молодого веселья. Отец много времени проводил там. Девушки наперебой старались угодить Куприну — готовили любимые грузинские блюда и всячески баловали его. Сюда же приходили молодые, начинающие писатели. Отец всегда внимательно к ним относился и помогал кому советами, кому материально чем мог.

Писательниц же он недолюбливал и почему-то совсем не верил, что женщины могут писать, называя их творчество «женским рукодельем». Иногда он не выдерживал натиска молодых «гениев», и чтение рукописей доводило его до исступления. Тогда он умолял домашних сказать, что он умер, сломал ногу или лежит в горячке. Софья Евсеевна Долидзе вспоминает, как Куприн мгновенно повязался салфеткой, увидев молодого человека с подозрительным свертком в руке, ворвавшегося во время обеда. «Я болен,— жалобно сказал он,— очень болен...» Но на следующий день он снова радушно и терпеливо принимал всех.

1 октября в зале Тифлисского музыкального училища состоялась лекция на тему: «Этапы развития русской литературы». Куприна горячо приветствовали. После долгой паузы он, наконец, начал:

— Собственно говоря, никакой лекции вы от меня не ждите. Это не моя специальность.

В зале произошло смятение. Послышались возгласы: «Как? А на афише...», «А судьба русской литературы?»

Александр Иванович тяжело вздохнул:

— Вот вам и судьба русской литературы. Ну, ничего... Я вам все же кое-что расскажу... Свои воспоминания о Льве Толстом, о Чехове, о Горьком.

И Куприн начал рассказывать.

После перерыва на эстраду внесли огромную корзину цветов от участников циркового чемпионата. Подношения и подарки борцов всегда как бы соответствовали их «великанским» масштабам. Как-то Поддубный и Илларион, гастролировавшие в Царицыне, послали отцу в Гатчину маленький подарок — три пуда зернистой икры. Весь город ел ее ложками, досталось и большим друзьям отца — гатчинским извозчикам.

Вторая лекция состоялась 2 октября; ее предусмотрительно назвали «беседой». Александр Иванович стал говорить о футуристах, подвергавшихся в то время яростным нападкам критики. Отец выразил свое несогласие с огульным разносом футуризма. Он сказал, что среди них есть настоящие таланты, например В. Маяковский и Каменский. Стихи Маяковского отец слышал в исполнении самого поэта в Петрограде еще в 1915 году и очень их одобрил[1].

Заканчивая лекцию, отец по требованию слушателей сказал несколько слов и о себе:

— На Куприне по многим причинам не могу долго останавливаться. Скажу только, что отсутствие общего образования и систематической работы над собой составляют недостатки этого писателя. Но в своей бурной молодости он видел многое, побывал везде... и потому его произведения представляют справочник российского бродяжничества...

После лекции Александр Иванович прочел с большой выразительностью рассказ «Как я был актером».

Отзывы тифлисских газет о выступлениях отца были весьма разноречивы. Наряду с благожелательными рецензиями были и разносные.

Закончив лекционные выступления, мой отец решил некоторое время пожить в Тифлисе, чтобы основательнее познакомиться с городом. Отец жадно впитывал колорит людей и природы, запахи маленьких духанов и лавочек, торговавших сафьяном.

Помню, как смешно и живо рассказывал он о тифлисских банях. Как видно, с пушкинских времен они совсем

---

[1] Б. Лазаревский. Дневник. ИРЛИ, Ленинград.

не переменились. На отца вдруг наскочил голый худой, проворный старик, стал его мять коленками, топтать, бить, танцевать на нем, ни на минуту не прекращая, несмотря на все мольбы. Старик не понимал по-русски или решил не понимать. Сначала было больно и очень неприятно, но, выйдя из бани, отец почувствовал себя так легко, что много раз потом возвращался к своему мучителю.

В Тифлисе у Куприна были интересные встречи с грузинскими писателями и поэтами.

Павлина Павловна, жена Заикина в то время, вспоминает свое пребывание в Тифлисе в 1916 году[1]:

«После Ташкента мы попали в Тбилиси, где встретились с Александром Ивановичем. Остановились вблизи цирка у пожилого немца-столяра, недалеко от реки Куры. Там было прохладно и хозяева очень были милыми. Жилье затейливое, полуподвал во дворе, в который можно было попасть, поднявшись на 7—8 ступенек, пройти площадку и спуститься на 7—8 ступенек. Ступеньки были широкие и длинные, заменяли нам диваны и стулья, а на площадке стояли наши кровати и скамейка с примусом. Иван Заикин был большим хлебосолом и, несмотря на неудобства, приглашал обедать, а после представления в цирке ужинать и пить чай всех борцов и других знакомых. Иногда на каждой ступеньке сидело по 4—5 человек в ряд, держа на коленях тарелки. Александр Иванович часто приходил и включался в цирковые разговоры.

Было очень весело. Казалось, что мы сидим где-то на пристани и ждем парохода. А Александр Иванович возьмет записную книжку и всё считает, сколько раз я поднимаюсь и спускаюсь по ступенькам».

В Тифлисе мы пробыли две недели.

10 октября нужно было уезжать в Баку, где была уже объявлена очередная лекция.

Семья Долидзе устроила в честь отца торжественный обёд. Было много приглашенных, произносились тосты, исполнялись грузинские песни. Замечательно играл на цитре Генсиорский. Отец экспромтом написал стихи Софье Евсеевне Долидзе:

Ты недоступна и горда.
Тебе любви моей не надо.

[1] Письмо Павлины Павловны Гайле к К. А. Куприной 9 апреля 1962 года.

Зачем же говорят мне: «Да!»
И яркость губ и томность взгляда.
Но ты замедлила ответ.
Еще минута колебанья...
И упоительное «Нет!»
Потонет в пламени лобзанья.

Генсиорский обещал положить на музыку эти стихи.

На другой день мы покинули эту гостеприимную семью.

Федор Евсеевич Долидзе задержался в Тифлисе, и нас сопровождал до Баку его племянник, композитор Виктор Долидзе, будущий автор оперы «Кэто и Котэ».

В Баку мы приехали утром 11 октября, а на следующий день в зале Общественного собрания Александр Иванович прочел лекцию на тему «От Чехова до наших дней». Большое внимание он уделил молодым писателям-реалистам — К. Треневу, Н. Никандрову, горячо одобряя в их творчестве интерес к быту далеких окраин России. Он сказал, что наша страна представляет собой безграничное поле для зорких и пытливых наблюдателей.

13 октября мы отправились поездом в Армавир. Там нас встретил старый знакомый отца, журналист и писатель Михаил Федорович Доронович. Он издавал и редактировал газету «Отклики Кавказа». Направление газеты было радикальное, и она постоянно подвергалась штрафам и судебным преследованиям. М. Ф. Доронович был на русско-японской войне, участвовал в революции 1905 года, жил в эмиграции в Женеве, где встречался с Лениным.

М. Ф. Доронович радушно пригласил нас остановиться у себя дома. Его дети были моими сверстниками.

Последняя лекция состоялась в театре «Марс» 15 октября. Куприн почувствовал, что не может больше осилить это «ремесло». Он повторял, что лектор он — никакой, хуже любого сельского попа. По договору предстояли еще лекции в Таганроге, Харькове, Ростове и Киеве. Пришлось оповестить все эти города об отмене лекций по причине серьезной болезни А. И. Куприна.

В Армавире мы остались еще на несколько дней, так как отец узнал о скором приезде туда на гастроли Анатолия Дурова. Их знакомство началось еще со Вдовьего дома в Москве, где проживали мать отца Любовь Алексеевна Куприна и бабушка Дурова. Оба мальчика, навещавшие своих родных, часто там встречались. Маленький Анатолий пока-

зывал Саше Куприну разные сальто, он тогда уже твердо решил стать цирковым артистом.

Вскоре пришлось уезжать. На этот раз нас сопровождал М. Ф. Доронович.

После яркого кавказского солнца мы застали в Гатчине хмурую гнилую осень. Но наш маленький домашний мирок, зеленый домик и его обитатели встретили нас радушно.

Глава X

ЩЕРБОВ

Павел Егорович Щербов был одним из ближайших друзей отца. Его оригинальная фигура прошла через все мое детство. Точно не знаю, когда отец с ним познакомился, думаю, что приблизительно в 1905 году в Гатчине, где Куприн гостил у писателя и драматурга В. А. Тихонова. Блестящий, едкий карикатурист П. Е. Щербов, откликавшийся на основные события своей эпохи, ныне, к сожалению, забыт.

Павел Егорович Щербов родился 3 июня 1866 года, получил первоначальное образование в частной классической гимназии Видемана. В 1886 году он поступил в Академию художеств. Пробыв там три года, Щербов вышел из академии, не удовлетворенный рутинной постановкой дела, и продолжал учиться и работать самостоятельно. Он организовал у себя на квартире кружок художников под названием «Ревущий стан». Веселая, свободная жизнь молодых художников вскоре возбудила подозрение полицейских властей. За «Ревущим станом» установили особое наблюдение. Там бывали и официально прописанные жильцы квартиры, члены академии и нелегальные гости, часто остававшиеся ночевать. А. А. Чикин[1], друг и собрат Щербова, так вспоминает этот период:

«У себя на квартире он (Щербов) устроил нечто вроде вечерних классов. Куплена была большая, какую можно было достать тогда, керосиновая лампа и подвешена к потолку зала, и вот ежедневно после занятий в академии собирались у этой лампы и один кто-нибудь из нас служил натурщиком, а остальные рисовали с него. Работали усерд-

[1] А. А. Чикин, журналист, его заметки находятся в рукописных воспоминаниях литературоведа В. Ф. Боцяновского в ИРЛИ, Ленинград.

но часов до 12 ночи, а потом устраивались в складчину знаменитые вареники или пельмени... Полная непринужденность, бесшабашное буйное веселье, смех, шутки, пение, и даже танцы царили в «Ревущем стане».

Часто Павел Егорович рисовал карикатуры на приятелей и всяких посетителей, а также на предстоящие события домашнего или общего масштаба. Наверное, так и определилась его дорога: четкий рисунок, способность увидеть сущность каждого человека, его смешные или просто гадкие стороны, показать события в очень оригинальном, щербовском преломлении. Позднее говорили, что часть «веселых» рисунков Щербова является подлинными трагедиями и что его смех для многих был убийственным.

Вскоре Павлу Егоровичу стало тесно в «Ревущем стане». Но его желание уехать за границу, чтобы усовершенствоваться, встретило большие затруднения со стороны полиции.

Наконец в 1890 году вместе с Чикиным Щербов совершает большое путешествие: Дальний Восток, Африка, Персия, Яффа, Порт-Саид, Аден, Занзибар, Килиманджаро. Путешествие, полное всевозможных приключений.

В 1894 году Павел Егорович женится гражданским браком и в свадебное путешествие отправляется в Японию через Сибирь. Во Владивостоке пристав требует венчания в церкви. Об этом эпизоде остроумно рассказывает одна из карикатур Щербова. Путешествие по Японии оставило глубокий след в творчестве Павла Егоровича.

Впоследствии его рисунок своей точностью и приемами напоминал японские гравюры. Щербов раскрашивал рисунки акварелью, потом смывал и снова наносил краски... и так несколько раз, пока не добивался желаемого колорита. Первая работа Щербова в ~~газете~~ «Шут» изображала бал в Академии художеств. Тогда он подписывался «old judge» (старый судья). В прессе отметили его творчество как серьезную сатиру — меткую и едкую. Одним из первых, если не первым, еще в 1900 году заметил Щербова Александр Бенуа. Он писал:

«Действительно, его карикатура — наиболее талантливое явление в смехотворной журналистике за последние годы».

О Щербове говорили, что он сумел из мелочей жизни создать целую сатирическую поэму. Дорошевич называл Щербова «божком смеха».

Работы Щербова с 1895 года появились на выставках акварелистов «Мира искусства», а также в сатирических журналах. В. Ф. Боцяновский, известный литературный критик (друг Щербова, Горького, Куприна и многих других), в своих воспоминаниях пишет, что эти работы обратили на себя внимание удивительно утонченной, стилизованной остротой рисунка, благородством тона красок, глубиной содержания. Все рисунки Щербова лишь этюды, лишь отдельные камешки, из которых складывается одна огромная и страшная картина, портрет человеческой пошлости. Дышит негодованием, внутренним, скрытым и потому сугубым негодованием его страничка осеннего сезона («Шут», 1897 г.)

На лихаче с дутыми шинами едет дама в красном с огромными страусовыми перьями, воплощенная пошлость! Обдает всех грязью. Но все вытираются и не протестуют... привыкли.

Большая картина Щербова «Базар XIX века» наделала много шума и кровных обид. Картина изображала ярмарку художников, где высмеяны были очень жестоко и метко современники Павла Егоровича: В. Стасов, С. Дягилев, Ф. Малявин, И. Репин и т. д. Особенный вред нанесла эта картина С. Дягилеву. изображенному доящим корову. Под коровой подразумевалась меценатка, субсидирующая журнал С. Дягилева «Мир искусства». В январе 1908 года на выставке XXVII акварелей в Петербурге отец купил картину Щербова «В Ваньке пляшут суставы», которая также появилась в журнале «Серый волк». Картина изображала Куприна.

По свидетельству журналистов, в 1909 году в Житомире квартира моих родителей была увешана картинами Щербова. Куприн высоко ценил карикатуры П. Е. Щербова. В «Московской газете» в 1910 году Александр Иванович писал: «Вот художник, не сказавший еще своего последнего слова. После своего известного «Базар XIX века», на котором изображены главным образом художники, он приступил к картине, на которой будут изображены в карикатурах... писатели.

Как долго и внимательно он изучает объекты своих рисунков.

Но стоит ему изучить их, как он делает чудеса в изображении их».

Щербовы построили в Гатчине каменный дом. Дом

такой же оригинальный, как и сами его хозяева. В детстве дом этот мне казался средневековым замком. Его окружала большая стена, булыжники для которой собирали сами Щербовы. Крыша и стена были покрыты красной черепицей. Внутри всегда ощущались какой-то очень своеобразный запах и особенная гулкость. Большой холл с огромным камином был как бы сердцем дома. Вокруг камина — оружие, медные и кованого железа принадлежности. Посередине холла лежала шкура белого медведя. На верхний этаж в мастерскую Павла Егоровича вела широкая лестница. К холлу прилегало несколько маленьких комнат, меблированных на восточный лад: низкие тахты, яркие половики, столики с медными подносами, с разными трубками и кальянами.

Павел Егорович всегда носил просторную синюю блузу, большой берет, надвинутый на глаза. Смуглый, с длинной редкой ассирийской бородой, в домашнем быту Павел Егорович был очень строгим, властным и иногда жестоким. Его жена Настасья Давыдовна, которую я всегда называла тетей Настей, одевалась в какие-то турецкие хламиды, а на голове у нее всегда был намотан небольшой тюрбан, без которого я, кажется, ее никогда не видала. Щербовы и их дом всегда напоминали что-то восточное, пришедшее из далеких стран.

Я думаю, решение переехать в Гатчину и там обосноваться было результатом дружбы наших семей, хотя Куприн и Щербов часто ссорились — оба были вспыльчивыми. Отец мой был более отходчив, и, когда ссора слишком затягивалась, он посылал меня с запиской, как голубя мира. Вот сохранившаяся в архиве ЦГАЛИ моя записка без каких-либо знаков препинания:

«Дорогой Павел Егорович

24 мои именины и если не придете будет обидно С самого утра помиритесь с папой я очень хочу мама и папа хотят вас я больше всех».

Для меня всегда было праздником идти к Щербовым. Я очень любила Настасью Давыдовну — тетю Настю. И Павел Егорович был всегда очень добр ко мне.

Частыми гостями Щербова были Горький, Шаляпин и многие другие.

У нас в доме висело много картин Павла Егоровича, которые, к сожалению, пропали. Спустя девять лет после нашего отъезда за границу, в 1928 году, в Гатчину приез-

жал Боцяновский. Вместе с Щербовым они пошли на нашу бывшую дачу. Но, к сожалению, найти картины и рукописи не удалось.

Одно время в Питере появился плакатный портрет Щербова, сделанный художником Троянским для табачной фабрики Шапшал, под названием «Дядя Михей». Один из этих плакатов висел у нас в гостиной.

Странными были отношения Павла Егоровича с сыновьями. Старшего — Вадима, веселого и самоуверенного,— он боготворил, к младшему — Егору — относился со строгостью и почти с жестокостью. Егор был невероятно кротким существом. У него были большие черные, почти женские, глаза, которые часто наполнялись слезами. Он не ревновал к брату потому, что также относился к нему со страстным обожанием. Однако его не могли не обижать сухость и несправедливость отца.

Я не помню, мобилизовали ли Вадима или он пошел добровольцем на войну, но после этого Павел Егорович стал еще мрачнее и угрюмее.

От Вадима долгое время не было никаких известий. Его родители совершенно сходили с ума. И вдруг мой отец получил письмо от С. М. Пашковского, товарища Вадима, что он погиб. Товарищ просил подготовить родителей Вадима и как-то смягчить удар. Мой отец был очень потрясен этим письмом. 2 сентября 1918 года он пишет:

«Многоуважаемый Сергей Митрофанович!

Ваше письмо, кроме того, что оно принесло большое горе нашей семье, знавшей Вадима с самого раннего детства, оно поставило нас в весьма тяжелое, почти безвыходное положение, которое происходит именно от нашей давнишней и крепкой привязанности и дружбы к семье Щербовых.

Состояние их всех троих теперь поистине ужасно.

Павел Егорович постарел и ослабел. Он почти не спит, часто плачет, его изнуряет тревога за Вадима, часто говорит, что не переживет известия о Вадиминой смерти. Но иногда у него проскальзывает мысль, что все-таки лучше хоть на что-нибудь надеяться.

Руки у него в нарывах от худого питания, возвратились давнишние припадки болотной лихорадки. Как я ему скажу, что Вадима нет.

Анастасия Давыдовна в еще худшем состоянии. Плачет меньше, но нервна до крайности. Чтобы не упасть духом, вся ушла в хозяйство. Тает на глазах».

Дальше отец пишет, что Егорушка плачет втихомолку, по ночам под одеялом, и еще — что он никогда в жизни не видел семьи, где бы на одного человека было устремлено столько страстного обожания, сколько у Щербовых на Вадима.

Мои родители очень долго мучались, но так и не смогли нанести своим друзьям удар.

В одной из своих повестей отец описывает эти события и свои сомнения:

«...Я решил промолчать. И в самом деле, что было лучше: убить милого, обаятельного старика жестокой правдой или оставить его в решительном чаянии и неведении. И я молчал почти два года.

Это было нелегко. С. [Щербов] иногда глядел на меня такими проницательными, спрашивающими глазами, будто догадывался, что я о чем-то важном осведомлен, но не хочу, не могу сказать». Павел Егорович решил, что Вадим попал к белым. Поэтому, когда кроткий Егорушка вступил добровольцем в Красную Армию, Щербову не давала покоя мысль, что оба брата могут оказаться врагами. Егорушка вскоре погиб от сыпного тифа. Моим родителям стало еще труднее. Мама несколько раз начинала с тетей Настей разговор на эту тему, но уверенность матери, что ее сын жив, каждый раз останавливала страшные слова. Настасья Давыдовна дошла до того, что стала бегать по гадалкам и возвращалась с радостно горящими глазами, принимая всерьез предсказания пифий, что ее сын скоро вернется. И даже Павел Егорович невольно заражался этой уверенностью.

Покидая Гатчину, мои родители так и не решились отнять у своих друзей последнюю надежду. Письмо товарища Вадима осталось лежать в кабинете отца в американском шкафчике.

Часто в эмиграции мои родители говорили об этом, не зная, хорошо ли они поступили.

Мне неизвестно точно, когда узнали Щербовы о смерти Вадима. Очень может быть, что после нашего отъезда из Гатчины Настасья Давыдовна нашла письма в шкафу Александра Ивановича. Говорят, что, узнав об этом, Павел Егорович молчал три дня, потом вдруг дико закричал.

В 1919 году большой друг Щербовых и наша ближайшая соседка Александра Александровна Белогруд, жена знаменитого архитектора, видя поистине бедственное положение Павла Егоровича, не желавшего из-за своего гордого

характера обращаться к кому-либо, поехала к А. М. Горькому. Вернулась она в Гатчину очень недовольная, так как Алексей Максимович ей ответил резко: «Кто не работает, тот не ест!». Но, что так характерно для А. М. Горького, он не оставил без внимания просьбу А. А. Белогруд и немедленно написал в Гатчинский исполком. В своем письме он говорит, что Щербов крупный художник-карикатурист, «изумительно талантлив и принадлежит к числу людей, которых мы должны и любить и беречь...» Гатчинский исполком 14 апреля 1919 года, помимо предоставления прав на пожизненно бесплатное пользование домом, постановил еще следующее:

«...исполнительный комитет предлагает всем лицам и правительственным учреждениям, находящимся в пределах Гатчины, при обращении к ним гражданина Щербова оказывать ему всяческое содействие, а также удостоверяет, что гражданин Щербов освобождается от всяких обысков и реквизиций и вообще каких-либо обложений и обысков, как элемент буржуазный и контрреволюционный, так как означенный гражданин Щербов является единственным человеком во всей России, как художник-карикатурист, который производит срочные работы по заданиям Комиссариата Народного Просвещения».

А в 1927 году, при содействии В. Ф. Боцяновского, было возбуждено ходатайство о переводе Павла Егоровича в высшую группу работников искусств.

Жизнь одинокой пары протекала тихо и мирно, они никогда не покидали Гатчину.

Глава XI

1917 ГОД

Конечно, я была слишком мала, чтобы осознать громадные события, совершавшиеся в России. Я помню только возбужденные, радостные лица отца, матери и наших общих друзей в Гатчине, помню красные банты, украшавшие нашу одежду, помню слово «свобода».

Первое открытое выступление гатчинских рабочих произошло в дни Февральской революции.

Восставшие с красными знаменами и революционными лозунгами заполнили центральные улицы. Они разгромили

здание городской полиции, освободили арестованных.

Одновременно с Советом гатчинской коммуны возник так называемый Временный комитет граждан города Гатчины.

После Февральской революции появилось несметное количество разных политических группировок. Куприн ринулся в эту политическую гущу, во многом не разбираясь, но всегда становясь на сторону народа. Народ и большевики были для него в то время два раздельных понятия.

Материальное состояние нашей семьи в 1917 году было неважное, если судить по сохранившимся распискам ломбарда. В них числятся: «Брошка, серьги, три кольца, брелок с брильянтами и камнями и цепочка с тремя брелоками, золотая, срок перезакладки 2 июня 1919 г.» Этих вещей в эмиграции с нами не было, наверное так и остались в ломбарде.

Петр Пильский, бульварный критик и беллетрист, предложил Куприну сотрудничать в качестве соредактора в новой газете «Свободная Россия» (независимый орган народно-социалистической мысли), в которой он был главным редактором.

Спустя много лет после совместной работы Петр Пильский писал:

«Десятки и десятки людей сейчас могут вспомнить о целом ряде случаев, когда, жертвуя собой и выгодами своего положения, Куприн безрасчетно и гордо становился на защиту не только правды, но и слабости перед силой».

Александр Иванович выступал с самыми разнообразными статьями — то в защиту зверей цирка, которые голодали, то за исторические памятники. Впоследствии эта невинная газетная полемика сказалась на отношениях Куприна и Демьяна Бедного в гораздо более серьезных делах. Куприн также очень беспокоился за гатчинские дворцовые сокровища.

Летом 1917 года Временное правительство дало разрешение членам царской семьи вывезти из Гатчины множество произведений искусства. Совет не допустил разбазаривания ценностей, ставших народным достоянием. Он всячески содействовал работе руководимого А. И. Куприным «Союза любителей свободного искусства», который принял ряд мер по охране дворца. Гатчинский Совет бдительно следил за сохранностью этого ценнейшего памятника национальной культуры и поручил Куприну выступить в

печати по вопросу об охране перешедших к народу ценностей.

Вскоре Куприн начинает защищать интеллигенцию, которую он всегда осмеивал. Он считает, что она незаслуженно гонима.

«Вот выдумали партию И.И.И.И.— Иван Иванович Испуганный Интеллигент — и сколько над ней зубоскалили! А ведь если хорошенько подумаешь, то этот интеллигент всячески достоин сочувствия и уважения.

Вспомните-ка вы о лютых и мрачных временах пирамидального самодержавия. Кто теплил (правда, украдкой) в своей душе милый огонек веры в грядущую свободу?»

Вот еще одна статья от 17 мая 1917 г.

«Ведь протекли же первые, красные не от крови, а от общей радости — дни великой революции в стройном порядке, в спокойствии, единодушии и самообладании, восхитивших весь цивилизованный мир.

Нет, не осуждена на бесславное разрушение страна, которая вынесла на своих плечах более того, что отмерено судьбою всем другим народам; вынесла это непосильное бремя и все-таки под налетом рабства сохранила живучесть, упорство и доброту души.

...В Сибирь ссылало правительство и гнали помещики все страстное и живое из народа, не мирящееся с колодками закона и с безумным произволом власти,— и вот вам теперешние сибиряки, сыновья и внуки ссыльных-поселенцев — этот суровый, кряжистый, сильный, смелый, свободный, свободолюбивый народ, владеющий сказочно богатым краем.

А разве, спрессованная бессмысленным грузом самодержавия, не протестовала русская интеллигенция? Не та интеллигенция, какою ее себе представлял скверной памяти бывший околоточный надзиратель, который отечески распекал нашумевшего обывателя: «А еще интеллигентный человек, в крахмале и при цепочке и брюки навыпуск!» — истинные печальники и великомученики страны, ее совесть, мозг и нервы. Вспомните декабристов, петрашевцев, народовольцев, переберите в уме кровавый синодик наших современников, борцов, сознательно погибших почти на наших глазах, за святое и сладкое слово — свобода. Посмотрим весь цвет и свет России, целые ряды ее молодых поколений, ее лучшие умы и чистейшие души прошли сквозь тяжкое горнило каторги, ссылки, жандармских застенков, одино-

чек — прошли и вышли оттуда, сохранив твердую веру в человечество и горячую любовь к человеку.

Вспомните и нашу многострадальную литературу, этот термометр угнетенного общественного самосознания. Она задыхалась, принужденная к молчанию, ненадолго совсем замолкала, временами жалко мелела, но никогда и никто не мог поставить ее на колени и приказать говорить холопским языком...

Дело в том, что нам тысячу лет подряд снился тяжелый кошмарный сон, от которого мы наконец проснулись с тревожным биением сердца, еще не веря, что проснулись, не веря тому, что светлый день под окнами...»

Вскоре «Свободная Россия» оканчивает свое существование. Куприн переходит в газету «Вольность», а затем его статьи появляются во многих мимолетных газетах.

В сентябре—октябре 1917 года усиливается кризис буржуазного Временного правительства, неудержимо растет большевистское влияние среди широчайших масс.

* * *

Я не помню точно, в котором году появилась организация скаутов в Гатчине, не то в 1915-м, не то в 1916-м. Конечно, эта организация привлекла многих гатчинских детей, и меня в том числе. Помню, что нам нужно было в день сделать три добрых дела, и никто из нас не хотел делать их дома. И поэтому мы приставали ко всем гатчинским обывателям с предложением помочь нести пакетик, повозить коляску с ребенком или убрать двор. Когда три добрых дела были сделаны, на галстуке появлялся узел, а в душе удовлетворение.

Очень скоро я стала «лейтенантом», под моей командой было десять девочек и десять мальчиков. Мы маршировали по-военному, учились поворачиваться, отдавать честь. Часто устраивались пикники с палатками, кострами и играми в разведку.

Один случай мне запомнился на всю жизнь. Нас всех вызвали в большой зал. Около ста ребят стояли в каре со знаменами, регалиями и не знали, что будет происходить. За столом, покрытым зеленым сукном, сидели старшие, лет пятнадцати—семнадцати. Наконец, вызвали пятнадцатилетнего мальчишку, обвинили его в том, что он воровал цветы на кладбище. Он сознался. И в полном молчании с

него сняли погоны, ленточки и исключили из скаутов. Наверное, это было сделано по принципу полевого суда над шпионами или дезертирами.

Все мы стояли в полном молчании, совершенно потрясенные, переживая и ставя себя на место этого парня.

Когда в Гатчине формировались первые пионеры, скаутам предложили перейти в их отряд. Но наши старшие товарищи были очень реакционно настроены своими родителями и отказались. Мы, младшие, очень долго обсуждали это, вели споры. Многие из нас стали потом пионерами и комсомольцами.

Несколько скаутов, старших по возрасту, готовили тогда диверсию. Они должны были взорвать поезд. Их, к счастью, поймали до того, как они что-нибудь совершили, и приговорили к расстрелу. Обезумевшие родители бросились к моему отцу, прося ходатайствовать. Отец поехал к Горькому (в который раз!), и при его содействии приговор был отменен, так как старшему не было, кажется, и шестнадцати лет.

О скаутах больше не могло быть и речи.

Первая комсомольская ячейка в городе возникла в конце сентября 1918 года и вначале носила название «Союз молодых коммунистов».

Я, конечно, точно не помню последовательности событий тех лет, поэтому обращаюсь к официальным документам.

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде победило. Но Керенский собирал войска. Штаб-квартирой похода на красный Петроград он избрал Гатчину.

На рассвете 27 октября на станцию Гатчина-товарная Балтийской железной дороги прибыло три эшелона казаков из корпуса генерала Краснова. Военно-революционный комитет срочно запросил Смольный прислать вооруженный отряд и комиссара.

Петроградский ВРК сразу же сформировал и отправил в Гатчину сводный отряд из моряков и двух рот Семеновского и Измайловского полков. Станция Балтийской дороги, где эшелон должен был разгрузиться, была оцеплена красновскими казаками. Красновцы разоружили отряд; после этого, захватив станцию Варшавской дороги, они вступили в город. Революционные части гарнизона отошли в Царское Село.

Вслед за казаками в Гатчину приехал Керенский. Он занял со своим штабом дворец и, разослав во все стороны

телеграммы с сообщениями о захвате Гатчины, требовал присылки войск. Прошел день, но требуемых войск не было, только две с половиной сотни казаков пополнили отряд Краснова. Не нашел Керенский поддержки и в самой Гатчине.

Не дождавшись подкреплений, Керенский отдал приказ о наступлении на Петроград. Ночью 28 октября пятитысячный отряд Краснова, выслав заслон к Красному Селу, двинулся на Царское Село. С большим трудом красновцам удалось овладеть дворцовым пригородом. Но развить наступление не хватало сил. Отряды советских войск, отбив атаки красновцев, 30 октября перешли в контрнаступление. Разбитые казачьи полки Краснова бежали из Царского Села. Фронт опять подошел к Гатчине.

С первого дня хозяйничанья в городе отрядов Керенского — Краснова было объявлено осадное положение. Юнкера разгоняли все собрания и сходки. За агитацию против Керенского было приказано немедленно вешать.

Из Царского Села в Гатчину был отправлен вместе с делегатами народный комиссар по морским делам П. Е. Дыбенко, который пошел в казармы и обратился с речью к рядовым казакам. Он призвал солдат прекратить гражданскую войну и арестовать Керенского. Два часа шли переговоры, наконец, решили арестовать Керенского, но тот уже бежал.

Вскоре в город вступили батальоны красного Финляндского полка и отряд моряков, возвратились члены гатчинского Военно-революционного комитета.

В ноябре штабу гатчинских войск стало известно, что из Луги в Гатчину двинулось несколько эшелонов ударников, вызванных Керенским с фронта. В городе были приняты спешные меры по организации стойкой обороны. С керенщиной было покончено.

Только начинающуюся мирную жизнь прервало нашествие германских империалистов. Нарушив соглашение о перемирии, немецкие войска 18 февраля перешли в наступление. Гатчина стала прифронтовым городом, одним из узловых пунктов обороны Петрограда. Через гатчинский железнодорожный узел непрерывно следовали в район боев эшелоны с отрядами петроградских матросов и рабочих. После подписания 3 марта Брестского мирного договора с Германией военные действия прекратились.

Жизнь в Гатчине медленно налаживалась, приходилось

преодолевать огромные трудности. Совет гатчинской трудовой коммуны, вошедший в состав коммун Северной области, с первых же шагов столкнулся с тяжелыми последствиями многолетней войны и разрухи — голодом, холодом, безработицей, эпидемией заразных болезней. Помимо жителей в городе находилось множество военных частей, беженцев и рабочих, мобилизованных на строительство оборонительных сооружений. С хлебом было очень плохо, от Петрограда ждать помощи было нельзя, он сам голодал. Не менее страшным врагом, чем голод, был холод. Население города пережило тяжелую зиму в неотапливаемых домах.

Чтобы как-то прокормиться, Куприн, Щербов и еще коекакие соседи организовали некую огородную артель: вскапывали огороды на месте цветников и сажали главным образом картошку. Помню, что на железном занавесе давно закрытой кондитерской был нарисован рог изобилия, из которого сыпались всевозможные пирожные, и мы, дети, подолгу останавливались, стараясь припомнить вкус трубочек со взбитыми сливками или слоек. В первых новых школах учителям очень трудно было восстановить порядок, так как мы восприняли слово «свобода» в полном смысле — можем не учиться, можем не слушаться, вместо уроков устраивали игры в войну, в революцию.

Отец продолжал сотрудничать в разных газетах. Он ничего не понимал в сложных политических переплетениях.

Но он никогда не позволял себе вместе с некоторыми газетчиками выкликать уныло и злорадно: да, Россия при последнем издыхании, Россия гибнет, России нет.

Глава XII

1918 ГОД

Несмотря на серьезные события, в 1918 году мы, дети, затеяли постановку пьески в стихах. Вначале я очень ревниво относилась к своим обязанностям режиссера и не хотела допускать к ним отца. Он обижался, так как умел быть с детьми настоящим ребенком.

В этой пьесе была и пастушка, и прекрасный рыцарь, и хор, и всякие героические перипетии.

У родителей одной из моих подруг был старый запущенный особняк с громадным пустым залом, в котором мы и

собирались показать папам и мамам наш спектакль. Выбрав себе главную роль, я почувствовала все-таки необходимость настоящего режиссера, и мне пришлось обратиться к отцу.

Когда уже спектакль был подготовлен, наша труппа, придя на одну из последних репетиций, узнала, что зал реквизирован под концерт для раненых красноармейцев. Мы долго бродили с отчаянием по залу, наталкиваясь на военных распорядителей, пока, наконец, не обратили на себя внимание. Красноармеец с участием спросил нас, в чем дело? Почему такие траурные лица и слезы? Мы объяснили ему, что у нас срывается спектакль и что нам помогал Александр Иванович Куприн. Заинтересовавшийся военный предложил нам показать ему спектакль. Наверное, это было очень смешно, потому что смотрящие громко смеялись и предложили нам выступить для раненых.

Тут уже все пошло, как в настоящем театре. Появилась сцена, подмостки. Нас спросили, какая нам нужна декорация. Мы сказали, что лес. Нам срубили несколько елок, даже для пущей достоверности срезали кочки травы. Из-за этих кочек мой выход очаровательной пастушки чуть не провалился — я споткнулась и упала. Но в общем спектакль имел большой успех, и нам предложили постоянно участвовать в концертах.

Второй спектакль был тоже в стихах. Там действовала спящая царевна, которую должен был разбудить один из трех женихов — француз, немец или русский. Француз пел сладкие песенки, он не разбудил принцессу. Немец читал стихи, стучал кулаками по кровати — это тоже не дало никаких результатов. Видя это, русский царевич совсем растерялся и попросил своего слугу Ивана заменить его. Иван, не будь дураком, напевая также какую-то песенку, соломинкой пощекотал у принцессы в носу. И, чихнув, принцесса проснулась. В восторге король подводит царевича к принцессе и представляет ей будущего супруга, но принцесса, напомнив, что король обещал ее руку тому, кто ее разбудит, бросается в объятия слуги Ивана. Пьеса имела настоящий успех.

Отец выступал в Петрограде в качестве лектора первой школы журналистов. «Это было наглядное демонстрирование того, как художник слова творит на заданную тему прекрасный бытовой очерк не пером, а словами»,— пишет «Петроградский голос» 18 апреля 1918 года — газета политическая, общественная и литературная.

Отец также участвовал в любительской постановке «Дяди Вани» в Гатчине в роли доктора Астрова.

В середине лета 1918 года Советское правительство вынуждено было ответить на разгул и провокационные выступления буржуазной прессы. Положение было серьезное, со всех сторон окружали враги.

В это время, в июне 1918 года, отец, совершенно не учитывая обстановки, выступил в газете «Молва» со статьей под названием «Михаил Александрович» в защиту великого князя Михаила. Лично отец никогда с ним не был знаком, но многое о нем слышал. Брасова, морганатическая жена Михаила, жила в Гатчине. Этот брак вызвал скандал в свое время во дворце и лишил Михаила права на престол. Романтическая любовь и рассказы о простоте и непритязательности великого князя вызвали известную симпатию Куприна.

В своей статье он пишет:

«Почти все Романовы были мстительны, эгоисты, властолюбивы, неблагородны, двуличны, жестоки, трусливы, вероломны и поразительно скупы. В М. А. нет ни одной из этих наследственных черт».

От себя редакция «Молвы» прибавила к статье: «Помещая эту статью А. И. Куприна, редакция оставляет ее на ответственности высокоталантливого автора».

Иногда гатчинские обыватели собирались у нас поиграть в преферанс. Так было и в тот вечер, когда раздался звонок и пришли арестовать моего отца. Обыск продолжался долго, я уже спала, когда в детскую заглянули чужие лица, а за ними бледная, но восхитительно спокойная мама. Партнеров в преферанс отпустили с миром. Отец с юмором вспоминал, что «по торопливости ни один из них не попрощался с хозяевами» и что «большевики оказались людьми гораздо более светскими».

Утром, когда я проснулась, в доме не было ни мамы ни папы. Я осталась на попечении Катерины, нашей бывшей кухарки, и герцога Альбы, черного пуделя. В течение трех дней мама иногда появлялась, успокаивала меня и снова летела в Питер.

Газета «Наш век» 2 июля 1918 года писала:

«По постановлению следственной комиссии при революционном трибунале в ночь на первое июля в Гатчине у себя на даче был арестован А. И. Куприн. Приводим текст постановления следственной комиссии об его аресте:

Следственная комиссия, рассмотрев фельетон А. И. Куприна, помещенный в № 15 газеты «Молва» от 22 июня 1918 г., и принимая во внимание:

1) что бывший великий князь Михаил Александрович с самого начала Российской революции выдвигался монархическими партиями, как кандидат на престол взамен свергнутого Николая II и т. д.,

2) что означенный фельетон, являющийся публичным восхвалением личности М. А., носит характер явной тенденции и т. д., и подготовляет почву для восстановления монархии,

3) что при таких обстоятельствах фельетон А. И. Куприна является прямым вызовом революционной демократии и актом контрреволюции.

Следственная комиссия постановила привлечь А. И. Куприна к уголовной ответственности за помещение в газете «Молва» фельетона контрреволюционного направления. Мерой пресечения для него избрать заключение под стражу.

Распоряжение об аресте А. И. Куприна было передано Гатчинскому Совету. Около 12 часов ночи несколько членов этого Совета явились на дачу А. И. Куприна, произвели здесь тщательный обыск, продолжавшийся свыше 3 часов, и затем арестовали писателя.

По окончании обыска, уже на рассвете, А. И. Куприн был доставлен в гатчинский совдеп, в помещении которого он провел остаток ночи. Утром к нему пришла жена, которая ему принесла чай и пищу. Затем А. И. Куприна усадили в мотор и увезли в Петроград в помещение революционного трибунала. Здесь арестованный оставался весь день 1 июля. Днем его тут снова посетила жена. Комендант Революционного трибунала передал жене писателя, которой личного свидания с арестованным писателем не разрешили, чтобы она доставила мужу подушку и одеяло. По словам жены А. И. Куприна, во время обыска и затем в гатчинском совдепе обращение с ее мужем было самое корректное.

Собрались перевезти в Выборгскую одиночную тюрьму».

За этими сухими строками я вижу мою маленькую маму, следующую с тревогой в сердце за отцом по всем этапам и готовую на все. Она стояла в толпе часами, чтобы мельком ободрить отца улыбкой, когда его перевозили.

Революционный трибунал, где находился Александр

Иванович, был в бывшем дворце великого князя Николая Николаевича. Комендант, в прошлом матрос, на вид довольно суровый, неожиданно стал преданнейшим поклонником Куприна, радостно угождал ему во всех мелочах, чудесно кормил и поил красным вином. Была разрешена встреча с мамой. Она бросилась к отцу со словами: «Ты жив?» Оказывается, когда она звонила, чтобы узнать о судьбе Куприна, комендант пошутил и ответил своей любимой фразой: «Расстрелян к чертовой матери». Мама накинулась на него с упреками, но он радужно улыбался: «Я трошки пошутил, товарищ Куприна».

Позднее, дома, отец много раз задумывался над «сумбурной личностью» своего коменданта и долго не мог понять его, пока не решил, что этот пестрый комендант просто-напросто крикливая разновидность породы добрых дураков. 4 июля в газете «Вольность» появилась статья «Освобождение Куприна».

«Лично писатель не был знаком с князем Михаилом Александровичем — единственная связь, существовавшая между ним и б. князем, заключалась в том, что детям А. И. Куприна и детям М. А. преподавала французский язык француженка Барле.

В восстановление монархии в России А. И. Куприн абсолютно не верит и лично является противником всякой власти. Власть одного человека над другим — это духовное нищенство.

Редактор «Вольности» Амфитеатров».

Итак, арест длился недолго, всего три дня. Отец содержался в прекрасных условиях, комендант и стражники были с ним крайне учтивы, но арест нанес Куприну моральную травму.

Первая статья отца после ареста, опубликованная газетой «Молва» 8 июля 1918 года,— «У могилы» — была на смерть Володарского.

«Володарский, ведя войну с оппозиционной печатью, выступал ее публичным обвинителем, не ища личных выгод и не имея в виду личных целей. Он весь был во власти горевшей в нем идеи. Он знал, что противник его искуснее в бою и вооружен лучше. Но он твердо верил в то, что на его стороне — огромная и святая правда.

Большевизм, в обнаженной основе своей, представляет бескорыстное, чистое, великое и неизбежное для человечества учение».

Но далее в этой же статье Куприн писал, что буржуазия, которой объявлена беспощадная месть, якобы ни при чем.

Положение многих писателей было тяжелым. Горький знал, что они голодают. Чтобы им помочь, направляя их в то идеологическое русло, о котором он мечтал, Максим Горький старался объединять писателей.

В «Вопросах советской литературы» 1958 года научный сотрудник Пушкинского дома П. П. Ширмаков подробно пишет об истории литературно-художественных объединений первых лет Советской власти.

Одна из первых попыток профессионально-творческого объединения была предпринята в Петрограде в 1918—1919 годах СДХЛ[1]. В нем участвовали М. Горький, А. Куприн, А. Блок, В. Шишков, А. Чапыгин, В. Муйжель. Союз долго не просуществовал из-за тенденций некоторых влиятельных писателей, направленных против сближения с Советской властью.

При Союзе возникло руководимое М. Горьким издательство «Всемирная литература». Мысль была такая: «издать образцовые произведения XX века и конца XIX века». Горький говорил: «Духовный голод велик, огромен не только у той массы, что читала раньше и не получает уже несколько лет регулярного притока духовной пищи, но и развился у новой читательской массы, гораздо большей, чем прежняя».

М. Горький предложил приступить к изданию двух серий произведений современных писателей. В первую серию входил «Поединок» Куприна. Сам А. И. Куприн был членом первого состава редакционной коллегии.

Предпринималась также попытка издания литературно-критического журнала под названием «Литературный современник». Редакторами по альманахам и отдельным изданиям были выбраны М. Горький, А. И. Куприн и К. И. Чуковский. Редакторами «Литературного современника» — В. И. Немирович-Данченко и А. Ф. Кони.

При обсуждении идейного направления издательства 5 апреля 1919 г. редакционная коллегия СДХЛ во многом была согласна с М. Горьким. Мнение о «необходимости идти навстречу запросам нового читателя, которому следует указывать на положительные стороны жизни», нашло

---

[1] Союз деятелей художественной литературы.

поддержку. В частности, А. И. Куприн предлагал в интересах «нового массового читателя» считать необходимым, чтобы журнал больше осведомлял его в «вопросах изящной литературы», давая разбор произведений «хотя бы и давно вышедших, но еще имеющихся на книжном рынке».

Одновременно А. И. Куприн считал нужным дополнить журнал отделом, в котором «давались бы сведения о новых технических избретениях и изобретателях, так как этим вопросом массовый читатель в настоящее время особенно интересуется».

Деятельность союза распространялась также на бесплатные выступления писателей на вечерах с докладами и чтением своих произведений.

Однако литературно-просветительная работа союза и его издательская деятельность вскоре прекращаются. 25 апреля 1919 года в помещении издательства «Всемирная литература» состоялось под председательством М. Горького объединенное заседание совета и редколлегии союза, на котором редакционная коллегия в полном составе подала заявление о выходе из союза. 12 мая на чрезвычайном собрании СДХЛ складывает с себя полномочия.

От Центрального комитета объединенных литературных организаций была назначена особая комиссия для ревизии финансовых дел и деятельности союза. Одновременно Комиссариат народного просвещения прекращает финансирование союза.

Так закончилась первая, неудачная попытка создать творчески-профессиональную писательскую организацию в Петрограде.

Начинает зарождаться новая, советская литература. Разноречивая, бурная, еще не совсем сознававшая свое новое назначение. Отец с радостью окунулся в связанную с этим деятельность. Часто ездит в Питер, видится со многими людьми. Он поделился с Горьким и целой группой литераторов, художников и журналистов насчет своей затеи о народной газете для крестьян под названием «Земля». Почему Куприн задумал именно эту газету, он, который о деревне почти не писал, не знаю. Но думаю, что стихотворение, написанное им в 25 лет в Киеве, выражает его чувства к деревне даже в зрелом возрасте.

Не гулял я с косой, не бродил за сохой,
Не работал в лесу топором —

Я по книге знаком
С деревенской нуждой, с деревенской страдой,
С деревенским тяжелым трудом...
Жить я жил в городах, но в заветных мечтах
Я всегда в деревенской избе
И рисую себе,
Как с нуждой на плечах в непрестанных трудах
Человек там с невзгодой в борьбе...
Я деревне чужой, отчего же с тоской
Я всегда вспоминаю о ней?
Я о жизни своей
Забываю порой, поглощенный волной
Деревенских забот и скорбей.

Проект газеты под условным названием «Земля» был выработан совместно с целым рядом намеченных сотрудников и, несомненно, при участии М. Горького.

У многих литературоведов по прочтении плана «Земли» создалось впечатление, что участие Горького не ограничивалось советами и чисто технической помощью. И. Корецкая в своем обзоре «Горький и Куприн» пишет: «Рассмотрение «Плана и программы газеты «Земля» дает основания предполагать если не соавторство Горького, то его редактуру. Плану «Земли» свойственны черты, отличавшие все издательские начинания Горького»[1].

Отец настолько загорелся этой идеей, что собирался перебраться в Москву. В декабре он пишет Николаю Михайловичу Гермашову письмо с просьбой позондировать почву у знакомых большевиков и посылает проект газеты «Земля». Потом было решено по разным техническим причинам издавать газету в Петрограде. Деньги, собранные на газету, находились у Германа-Ипполитова.

В это же время М. Горький пишет В. И. Ленину:

«Дорогой Вл. Ильич. Очень прошу принять и выслушать А. И. Куприна по лит. делу»[2].

По-видимому, ответ был утвердительный, так как отец быстро собрался в Москву вместе с мамой и со мной. Остановились мы у художника-акварелиста Гермашова, принимавшего также какое-то участие в будущей газете. Я помню, что квартира была у него огромная, но совсем неотапливаемая. Сам он был похож на красивого цыгана, многословного и хвастливого. Жена у него тоже была очень красивая, но холодная женщина.

---

[1] И. Корецкая. Горьковские чтения. М., «Наука», 1960.
[2] М. Горький. Собр. соч., т. 29, стр. 749.

«В проходе башни Кутафьи[1],— вспоминает Куприн гораздо позднее,— мы предъявили наши бумаги солдатскому караулу. Здесь нам сказали, что товарищ Ленин живет в комендантском крыле, и указали вход в канцелярию. Надо сказать, нигде нас не обыскивали. Ждали мы недолго, минуты три. Та же клеенчатая дверь слегка приоткрылась, и из нее наполовину высунулся рослый серьезный человек.

— Идите,— сказал он.— В эту дверь, налево.

Просторный кабинет. Три черных кожаных кресла и огромный письменный стол, на котором соблюден чрезвычайный порядок. Из-за стола поднимается Ленин и делает навстречу несколько шагов. Он широкоплеч и сухощав. На нем скромный темно-синий костюм и очень опрятный, но не щегольский белый отложной мягкий воротничок, темный узкий, длинный галстук. И весь он сразу производит впечатление телесной чистоты, свежести.

Зрачки у Ленина, точно проколы, сделанные тоненькой иголкой, и из них точно выскакивают синие искры. Он указывает на кресло, просит садиться, спрашивает, в чем дело. Разговор наш очень краток. Я говорю, что мне известно, как ему дорого время, и поэтому не буду утруждать его чтением проспекта будущей газеты: он сам пробежит его на досуге и скажет свое мнение. Но он все-таки наскоро перебрасывает листки рукописи, низко склоняясь к ним головой. Спрашивает, какой я фракции. Никакой, начинаю дело по личному почину. «Так,— говорит он и отодвигает листки.— Я увижусь и переговорю с товарищами». Все это занимает минуты три-четыре».

Вернулся отец ободренный, полный надежды и немного испуганный, по его словам, силой, исходящей от великого вождя.

План беспартийной газеты «Земля» был, может быть, утопичен для того сурового времени. Но Куприн в политике был мечтателем и, как все талантливые мечтатели, имел дар предвидения. Поэтому в его плане, на мой взгляд, есть немало мыслей и полезных пожеланий.

Я привожу несколько выдержек.

«Сейчас деревне до зарезу нужны: землемер, агроном, садовник, инженер, лесничий, сыровар, маслодел, конно-

---

[1] 26 декабря 1918 г. В. И. Ленин принял А. И. Куприна и журналиста О. Леонидова.

заводчик, учитель, врач, акушерка, санитар и т. д. Недоверие к этим людям интеллигентных профессий исчезнет только тогда, когда мужик воочию увидит, что делают дело с любовью, знанием и ощутимой пользой. Каждый инженер должен работать, как техник, техник, как простой рабочий. Медик сначала должен отбыть в деревне фельдшерский и кураторский стаж, чтобы вновь возвратиться в деревню знающим врачом. Настоящий агроном умеет пахать, боронить, косить и при случае починить телегу...

...Мы не видим причины, почему бы студентам, даже и изучающим гуманитарные науки, и старшим ученикам средней школы не употреблять свой летний досуг на выполнение тех общественных работ для деревни, которые можно производить только летом, то есть в самую горячую страдную пору, когда все крестьянские руки заняты. Ниже мы указываем на целый ряд подобных работ, оставляя, однако, открытым вопрос о помощи в самих полевых работах. Кстати, здесь напомним, что лучший отдых от труда не праздность, а перемена одного труда на другой...

...Переход к многопольному хозяйству. Посев кормовых трав и кормовых корнеплодов. Широкое применение искусственных удобрений. Меры к борьбе с засухой. Опытные показательные поля под руководством агрономов-практиков. Высокая семенная культура. Элеваторы. Расширение водных путей сообщения. Каналы. Общественные сельскохозяйственные машины. Случные пункты. Конские заводы. Коневодство степное. Образцовые кузницы. И охранение лошади от дурного обращения.

Выносливый и удойный молочный скот. Образцовые фермы. Племенные общественные быки. Мелкий скот...

...Россия до сих пор — страна грунтовых и проселочных дорог, недоступных в течение трех четвертей года для гужевого проезда, а на короткое время езды являющихся гибелью для лошадей и экипажей. Если в ужасные аракчеевские и николаевские времена рабский, темный и голодный народ мог проводить прекрасные, обсаженные деревьями шоссе, то можно ли сомневаться в том, что свободный, сознательный и сытый — он покроет всю страну сетью шоссейных дорог. Засаждение обочин деревьями — веселое и приятное дело для школьников: их личный труд — залог того, что эти деревья будут щадиться...

...Газета стремится к поднятию умственного и культурного уровня народных масс на почве их благосостояния.

Одной из первых задач газеты будет художественная литература. Она же нам кажется и наиболее трудной, потому что наш орган будет народный, а не «народничающий», и потому еще, что мы знаем, как остро различает народ фальсификацию и ненужное от ценного и правдивого, а, главным образом, потому, что впереди нас почти нет опыта такой литературы. Почти все написанное до сих пор о народе или для народа было бесполезно и бездарно.

Газета организует во время зимних вакаций поездки артистов по деревням для концертов и спектаклей в народных домах. Опыт концертов в госпиталях и на фронте показал, как благодарна, отзывчива и внимательна народная аудитория к такого рода начинаниям...

...В первую голову — забота о лесах. Охранять это истинное народное сокровище, эти естественные резервуары здоровья, эти источники хлебопашества и судоходства надо, не щадя сил и средств.

Берегите лес! Это мы в нашей газете будем так же часто повторять, как в общежитии говорят «здравствуйте», «прощайте» и «благодарю». Уважение к дереву должно быть любовно внедрено в душу деревенского и городского ребенка еще в школе. Нам ничего не известно о результатах т. н. школьных праздников древонасаждения, но в основе их заложена глубокая мысль. Хищническая порубка леса должна преследоваться, как одно из наитягчайших преступлений. Лесоустройство и надзор за лесом должны быть усилены. Для этого необходимо значительно увеличить корпус образованных лесничих и их помощников и образовать курсы сведущих лесников и объездчиков.

Приводим еще два экономических вопроса, которым мы будем уделять серьезное внимание... Это — упорядочение рыболовства и охоты. Закон должен не только строго, но даже жестоко наказывать все запрещенные, варварские, опустошительные и несвоевременные способы охоты и лова».

Прошла неделя в ожидании. Помню очень ярко наше посещение студии Художественного театра. Шла «Двенадцатая ночь» Шекспира. Сцена была разделена на две части занавесом, открывалась то правая, то левая сторона. Очень запомнился артист Николай Колин, игравший Мальволио. Сидели в шубах. Не было ни одного свободного места. Зритель новый, серьезный, тихий.

Остальное время проходило в разговорах и спорах с многочисленными старыми и новыми знакомыми — москвичами у Гермашовых за обеденным столом под низко опущенной керосиновой люстрой.

Наконец отец был вызван в Моссовет.

Каменев, председатель Моссовета, был настроен враждебно к Куприну и сразу же взял иронический тон. В кабинете находился Демьян Бедный. Позднее, в 1919 году, в газете «Известия» в статье «История одной беспартийной газеты» Демьян Бедный описывает этот разговор так:

«Я случайно присутствовал при беседе. Куприн хлопотал о разрешении ему и группе каких-то писателей издавать чуть ли не на советскую субсидию беспартийную газету:

— Насчет политики ни-ни... Совершенно беспартийную. Нам бы только прокормиться...

И Куприн лукаво щурил свои монгольские глаза. Но тов. Каменев тоже щурил глаза.

Ни с субсидией, ни с газетой не выгорело.

Но субсидии и не надо было: когда ВЧК в свою очередь сощурила свое всевидящее око на некую «группу» писателей, то... обнаружила и секвестровала у этой группы довольно аховую сумму денег, каким-то способом собранную на «беспартийную газету».

У Куприна и у «группы» опять не было ни «беспартийной газеты», ни денег.

Каменев раскритиковал план газеты «Земля» и предложил Куприну подвал в журнале «Красный пахарь». Критика показалась Александру Ивановичу издевательской. Он не привык к такому тону и был слишком влюблен в свой проект. Он сдержал накипавшее бешенство и ответил, что должен информировать свою группу. Впоследствии он послал письменно Каменеву отказ. День своего визита в Моссовет отец назвал «самым тяжелым днем своей жизни» (надпись на книге, подаренной И. Гермашову).

Деньги у Германа были в самом деле арестованы. Горький принял горячее участие, чтобы они (1 029 000 руб.) были возвращены.

Второму Городскому району

Товарищи, сим удостоверяю, что:

1. Товарищ В. И. Герман испытанный революционер, честный работник, известный по Нижнему Новгороду и мне

и Якову Свердлову и вообще нижненовгородским революционерам.

2. Что весною этого года в Москве в моем присутствии А. И. Куприн и я говорили об издании газеты «Земля», необходимой деревне, и что проект издания был утвержден, а также одобрен В. И. Лениным.

3. Что по условиям техническим издание газеты действительно решено перевести в Питер.

По этим основаниям я просил бы Вас не задерживать выдачу арестованных у Германа денег, ибо эта задержка поведет к разрухе затеянного хорошего дела.

М. Горький[1]

2/VIII-19 г.

Я думаю, что Горький пишет о своем присутствии при разговоре с Владимиром Ильичем для сущего веса, так как о втором визите нигде нет следов. В собрании сочинений В. И. Ленина не мог быть упущен совместный визит Горького и Куприна, хотя в «Летописи» Горького в томе 3 (25 января 1919 г.) сказано, что Горький присутствует с писателем А. И Куприным по поводу издательства «Земля».

М. Андреева, жена М. Горького, также старалась употребить все связи, чтобы помочь в создавшейся ситуации.

Уважаемый товарищ Петерс!

Очень прошу Вас обратить внимание на письмо от А. М. Горького и на бумагу относительно выдачи денег, принадлежащих разрешенной газете «Земля», о которой мне случайно пришлось лично говорить с Лениным... который отнюдь не против ее выхода.

Если у Вас хватит времени, позвоните мне по телефону.

А. М. Горький едет сегодня в Москву, если Вам надо спешно послать что-либо в Москву, пришлите до 5 часов на Кронверкский, 23, кв. 50. Он завтра же будет в Кремле.

Жму руку.

М. Андреева[2]

6. VIII. 19 г.

---

[1] М. Горький. «Летопись», т. 3, стр. 139.

[2] Ленинград, ИРЛИ. Фонд Балухатого.

Александр Иванович не знал, что до него проект «Беспартийной газеты для крестьян» был предложен И. Осинским и отвергнут потому, что во главе газеты для крестьян нужен человек партийный.

В 1918 году возникла газета «Беднота» с редактором В. Карпинским, старым большевиком.

Проект газеты «Земля» был окончательно похоронен.

Глава XIII

1919 ГОД

В Пушкинском Доме в Ленинграде существуют рукопись и машинопись перевода А. И. Куприна «Дон-Карлоса» Шиллера, датированные 1919 годом. Этот труд был посвящен Шаляпину.

Я помню, с каким вдохновением отец начал работать над переводом. Подстрочник ему подготовил мой учитель немецкого языка Ноенкирхен, чудесный старик, влюбленный в язык Гете и Шиллера. Он был прикован к постели тяжелой болезнью, и я после его увлекательных уроков брала листки перевода и с сознанием важности выполняемой миссии передавала их отцу. По словам Куприна, «это была его последняя усидчивая, кропотливая и ответственная работа в России».

Отец, который редко читал свои произведения вслух, любил читать «Дон-Карлоса» и советовался с окружающими. Я помню, что мне обещали роль инфанты, состоящую из трех реплик.

В прессе появилась информация, что «Дон-Карлоса» Шиллера переводит в стихах А. Куприн для Шаляпина в роли Филиппа. Спектакль, вероятно, состоится в будущем сезоне, так как Федор Иванович хочет основательно изучить роль.

Эта заметка и посвящение позволяют думать, что отец начал этот перевод по инициативе Шаляпина, а также и по одобрению Горького, мечтавшего о народном театре.

Алексей Максимович, по собственным словам Куприна, одобрил перевод, но сделал несколько дельных замечаний. Отец забрал рукопись снова в Гатчину для поправок.

В феврале 1919 года «Дон-Карлос» был поставлен в Ленинграде в Большом драматическом театре, но не в переводе Куприна. Очевидно, отец не смог вовремя подготовить перевод.

Он вложил столько энергии и сил в этот необычный для него труд, что питал к нему особую нежность. Ему очень хотелось, чтобы «Дон-Карлос» был хотя бы напечатан.

Куприн пишет Миролюбову, известному издателю прогрессивных дореволюционных журналов:

«Думаете ли вы по-прежнему выпустить Альманах, если да, то я немедленно пошлю III акт «Дона-Карлоса», в нем ровнехонько часть, и он самый яркий в драме, кроме того, дать один акт ценнее, чем куски. Не правда ли?

Ваш Куприн».

В начале мая 1919 года Гатчина была объявлена на осадном положении. В ночь на 13 мая белогвардейские части генерала Родзянко, прорвав фронт, начали наступление вдоль железной дороги Нарва — Гатчина. Советское командование бросило в район прорыва несколько полков и отрядов 7-й армии, в том числе дивизионную школу из Гатчины, но они не смогли сдержать натиск крупных частей белой армии. До Гатчины оставалось около 20 километров.

О своем нравственном и физическом состоянии в то время Куприн пишет:

«К середине 19-го года мы все, обыватели, незаметно впадали в тихое равнодушие, в усталую сонливость. Умирали не от голода, а от постоянного недоедания. Смотришь, бывало, в трамвае примостился в уголку утлый преждевременный старичок и тихо заснул с покорной улыбкой на иссохших губах. Станция. Время выходить. Подходит к нему кондукторша, а он мертв. Так мы и засыпали на полпути у стен домов, на скамеечках в скверах.

Как я проклинал тогда этот корнеплод, этот чертов клубень — картофель. Бывало, нароешь его целое ведро и отнесешь для просушки на чердак. А потом сидишь на крыльце, ловишь разинутым ртом воздух, как рыба на берегу, глаза косят, и все идет кругом от скверного головокружения, а под подбородком надувается огромная гуля: нервы никуда не годятся...

Днем гатчинские улицы бывали совершенно пусты».

Но, несмотря на тяжелый быт и свою обиду, мой отец ни минуты не думал об отъезде за границу. Он подтверждает это позднее:

«...Доходили до нас слухи о возможности бежать из России различными путями. Были и счастливые примеры, и соблазны. Хватило бы и денег. Но сам не понимаю что: обостренная ли любовь и жалость к родине, наша ли общая ненависть к массовой толкотне и страх перед нею или усталость, или темная вера в фатум — сделали нас послушными течению случайностей; мы решили не делать попыток к бегству.

Кроме того, мы, голодные, босые, голые, сердечно жалели эмигрантов. «Безумцы, — думали мы, — на кой прах нужны вы в теперешнее время за границей, не имея ни малейшей духовной опоры в своей родине? Куда вас, дурачков, занесли страх и мнительность?»

И никогда им не завидовали. Представляли их себе вроде гордых нищих, запоздало плачущих по ночам о далеком, милом, невозвратном отчем доме и грызущих пальцы».

Октябрь 1919 года принес новое испытание защитникам Петрограда, большие невзгоды населению Гатчины. Белая армия генерала Юденича 11 октября перешла в наступление на Нарвском направлении и рвалась к Петрограду.

Поползли всевозможные тревожные слухи.

Вот что писал сам Куприн о своем последнем дне в Советской России.

«Встал я, по обыкновению, часов около семи, на рассвете, обещавшем погожий солнечный день, и, пока домашние спали, потихоньку налаживал самовар.

Этому мирному искусству — не в похвалу будь мне сказано — я обучился всего год назад, однако скоро постиг, что в нем есть своя тихая, уютная прелесть.

И вот только что разгорелась у меня в самоваре лучина, и я уже готовился наставить коленчатую трубу, как над домом ахнул плотный пушечный выстрел, от которого задребезжали стекла в окнах и загрохотала по полу уроненная мною труба. Это было посерьезнее недавней, отдаленной канонады.

Я снова наладил трубу, но едва лишь занялись и покраснели угли, как грянул второй выстрел. Так и продолжалась пальба весь день до вечера, с промежутками минут от пяти до пятнадцати.

Конечно, после первого же выстрела весь дом проснулся. Но не было страха, ни тревоги, ни суеты. Стоял чудесный, ясный день, такой теплый, что если бы не томный запах

осыпающейся листвы, то можно было бы вообразить, что сейчас во дворе конец мая.

Я не знал, куда девать времени, так нестерпимо медленно тянувшегося. Я придумал сам для себя, что очень теперь необходимо вырыть из грядок оставшуюся морковь. Это было весело. Корни разрослись и крепко сидели в сухой земле. Уцепишься пальцами за головку и тянешь: нет сил. А как бахнет близкий пушечный выстрел и звякнут стекла, то поневоле крякнешь и мигом вытащишь из гряды крупную, толстую красную морковину. Точно под музыку.

Не сиделось десятилетней дочери. Она, зараженная невольно общим сжатым волнением и возбужденная красивыми звуками пушек, с упоением помогала мне, бегая с игрушечным ведром из огорода на чердак и обратно. Время от времени она попадала в руки матери, и та, поймав ее за платье, тащила в дом, где уже успели забаррикадировать окна тюфяками, коврами и подушками. Но девочка, при первой возможности, улизывала опять ко мне. И так они играли до самого вечера.

Куда била Красная Армия — я не мог сообразить: я не слышал ни полета снарядов, ни их разрывов. Только на другой день мне сказали, что она обстреливала не Варшавскую, а Балтийскую дорогу. Вкось от меня.

Белые молчали, потому что не хотели обнаружить себя. Их разведка выяснила, что путь на Гатчину заслонен слабо. И надо еще сказать, что Северо-Западная армия предпочитала опасные ночные операции дневным. Она выжидала сумерек.

И вот незаметно погустел воздух, потемнело небо. На западе протянулась узенькая семговая полоска зари.

Глаз перестал различать цвет моркови от цвета земли.

Усталые пушки замолкли. Наступила грустная, тревожная тишина.

Мы сидели в столовой при свете стеаринового огарка — спать было еще рано — и рассматривали от нечего делать рисунки в словаре Брокгауза и Ефрона.

Дочка, первая, увидала в черном окне зарево пожара. Мы раздвинули занавески и угадали без ошибки, что горит здешний совдеп, большое старое, прекрасное здание с колоннами, над которым много лет раньше развевался штандарт и где жили из года в год потомственно командиры синих кирасир.

Дом горел очень ярко. Огненно-золотыми тающими хлопьями летали вокруг горящие бумажки.

Мы поняли, что красные покинули Гатчину.

Девочка расплакалась: не выдержали нервы, взбудораженные необычайным днем и никогда не виданым жутким зрелищем ночного пожара. Она все уверяла нас, что сгорит весь дом, и вся Гатчина, и мы с нею.

Насилу ее уложили спать, и долго еще она во сне горько всхлипывала, точно жаловалась невидимому для нас, кому-то очень взрослому».

Я все это отлично помню. Когда канонада стихла и вдруг появилось зарево, почему-то меня обуяло чувство невероятного страха, именно из-за тишины. Казалось, что самое страшное было сгореть в этой тишине.

Вскоре в Гатчину приехал генерал Юденич. За ним прибыли министры созданного в обозе белых «Северо-Западного правительства», а также уже назначенный генерал-губернатор Петрограда — генерал Глазенап. В Гатчине создавался «кулак» для удара по Петрограду.

Началась трагическая глава жизни моего отца и всей нашей семьи.

А. И. Куприна вызвала белая разведка, чтобы дать показание насчет И. П. Кабина, комиссара по охране Гатчинского дворца. После показаний отца Кабина отпустили. Там же отцу рассказали о многочисленных анонимных письмах по его адресу.

Выйдя на улицу, отец натолкнулся на еще одну человеческую подлость.

«Шло четверо местных учителей, — пишет Куприн. — Увидя меня, они остановились. Лица их сияли.

Они крепко пожимали мою руку. Один хотел даже облобызаться, но я вовремя закашлялся, закрыв лицо рукою...

— Какой великий день! — говорили они, — какой светлый праздник!

Один из них воскликнул: «Христос воскрес!» А другой даже пропел фальшиво первую строчку пасхального тропаря. Меня покоробило в них что-то надуманное, точно они «представляли».

А учитель Очкин слегка отвел меня в сторону и заговорил вполголоса, многозначительно:

— Вот теперь я вам скажу очень важную вещь. Ведь вы и не подозревали, а между тем в списке, составлен-

ном большевиками, ваше имя было одно из первых в числе кандидатов в заложники и для показательного расстрела.

Я выпучил глаза:

— И вы давно об этом знали?

— Да как сказать?.. Месяца два.

Я возмутился.

— Как? Два месяца? И вы мне не сказали ни слова?

Он замялся и заежился.

— Но ведь согласитесь: не мог же я? Мне эту бумагу показали под строжайшим секретом.

Я взял его за обшлаг пальто.

— Так на кой же черт вы мне это сообщаете только теперь? Для чего?

— Ах, я думал, что вам это будет приятно...

...Таким густым, обильным потоком полилось жирное какао в учительские животы, такие живописные яичницы-глазуньи заворчали на их учительских сковородках, такой разнообразный набор пищевых пакетов наполнил полки учительских буфетов, комодов, шкафов и кладовок, что добрые канадцы[1] только бы ахнули. Да, надо сказать, что учительницы, которым доверили детские столовые, оказались не лучше».

Но Куприн поверил безоговорочно, поверил, не проверив, этому учителю. Об этом я могу свидетельствовать, так как не раз слышала от отца впоследствии, что возврат на родину будет стоить ему жизни.

На другой день Куприн был официально мобилизован как офицер запаса.

По мере возможности он старался помочь жителям Гатчины. Например, как-то, зайдя к своим приятелям, евреям по национальности, он застал всю семью в смятении и скорби: они были смертельно напуганы возможностью погромов.

Александр Иванович в тот же вечер по этому поводу обратился к какому-то полковнику: тот немедленно посадил отца составлять воззвание к гатчинским жителям, в конце которого упоминалось о суровой каре, которая постигнет насильников и подстрекателей. К ночи воззвание было подписано графом Паленом и начальником штаба, а на другой день расклеено по заборам.

---

[1] Я думаю, что Куприн упоминает канадцев, посылавших продовольствие Юго-Западной армии.

Я нарочно останавливаюсь на этих эпизодах, описанных самим Куприным. Они имели огромное влияние на дальнейшее и толкнули его на 19-дневное сотрудничество в «Приневском крае», прифронтовой белогвардейской газетке, созданной по приказанию генерала Юденича.

Отец уехал в районы Ямбурга и Нарвы, для того чтобы набрать материал для «Приневского края». Прифронтовая зона его интересовала. С собой, на телеге, он взял печатный станок, о котором он вспоминает:

«Этого верблюда мы таскали с собою потом в Ямбург, в Нарву и в Ревель. Разбирали и собирали. Главный его недостаток был в медлительности работы. Вертеть колесо, да еще дважды — занятие нелегкое».

В это время ценой неимоверных усилий и жертв белые были остановлены недалеко от Пулковских высот и Николаевской железной дороги. Получив подкрепление, 21 октября 7-я Красная Армия перешла в контрнаступление. Двинулась и 15-я армия, занимавшая фронт севернее линии Псков — Новгород. Она нацелила свой удар глубоко в тыл белых войск, угрожая им полным окружением в районе Гатчины. У белогвардейцев поднялась паника. Первым уехал в Нарву Юденич, бросив свою армию на произвол судьбы.

Когда началось наступление Красной Армии, мама испугалась, что мы будем отрезаны от отца, и решила поехать на его поиски.

Собрали маленький чемоданчик с самым необходимым, притом взяли самые старые вещи, чтобы не портить новых. Немногочисленные мамины драгоценности уже с 1917 года были заложены. Оставалось только папино кольцо с моими молочными зубами, вмонтированными в александриты. Его вместе с моими любимыми книжками и казачьей нагайкой я закинула на высокую изразцовую печку. Два текинских ковра, альбомы с фотографиями и кое-какие письма мама отдала на хранение Настасье Давыдовне Щербовой.

Ковры и фотографии сохранились, письма же пропали бесследно.

Нам удалось сесть на один из последних товарных поездов с тяжелоранеными, отходивший из Гатчины по направлению к Ямбургу. Было очень холодно, раненые примерзали к полу. Беспрерывно слышалась канонада. При нас умерло несколько солдат.

Наконец мы подъехали к Ямбургу. Поезд остановился приблизительно в двух километрах от города. Никакого вокзала не было, только большой деревянный сарай вместо таможни. Внутри были длинные скамейки вдоль стен, дверей еще не вставляли, зияли лишь проемы.

Беженцев с детьми в город не пускали. В отчаянии взрослые решили оставить нас в сарае и постараться в городе найти какое-нибудь начальство, которое разрешило бы пройти и отменило бы этот жестокий приговор.

Маленькая группа детей, сразу повзрослевших, терпеливо ждала родителей, переговариваясь между собой.

Было холодно и страшно. Вокруг огромные сугробы снега, а дальше белая пустота.

Наконец к вечеру взрослые вернулись в полном унынии: никого не нашли в городе. Там был полный сумбур. Никто не знал, где что находится, к кому нужно обратиться, кто отвечает за порядок. В таких условиях разрешения на выход в город испросить было не у кого. К этому времени на железнодорожную линию подошел какой-то поезд и остался стоять, брошенный всеми. Чтобы как-нибудь согреться, несколько семей с детьми перешли в вагоны этого поезда.

Маме удалось где-то достать немного черного хлеба и сала.

Все были очень растеряны, не зная, что делать дальше. Когда настала ночь, решили попробовать выбираться в город. Для этого нужно было проползти под вагонами. Стражи уже не было. Я помню, как мы ползли с бьющимися сердцами, но никто из детей не заплакал.

Наконец мы вышли на заснеженную дорогу. Вошли в пустынный город. Помню, в каком-то доме нас приняли. Шесть детей положили на кровать поперек, родители же улеглись на полу. Было хоть тепло.

У мамы была только одна мысль: найти отца.

Канонада то приближалась, то отдалялась, шли откуда-то куда-то какие-то войска, никто ничего не знал.

В это время отец находился около Ямбурга на пустой даче.

И дальше у меня полный провал памяти. Я знаю только, что через день или два мы нашли отца, очутились в Нарве, а из Нарвы приехали в Ревель (теперешний Таллин).

В Таллине мы жили в какой-то довольно грязной гостинице, наполненной военными. В белой армии царили полный разброд и растерянность. Бесконечные пьянки, неве-

роятное хвастовство, весьма неприглядное поведение.

Ревельские склады, интендантские магазины, портовые амбары ломились от американского хлеба, сала, свинины, белья и одежды: все эти запасы служили предметом бешеной тыловой спекуляции и растрат.

Несмотря на то, как вспоминал отец, что железнодорожный мост через Нарву, разрушенный частями Красной Армии, был восстановлен в середине наступления, — продовольствие просачивалось тоненькой струйкой, по капелькам. Не только жителям пригородов невозможно было дать обещанного хлеба, — кадровый состав армии недоедал. На требование провианта из тыла отвечали: продовольствие предназначено для жителей Петербурга после его очищения от большевиков, и мы не смеем его трогать; изыскивайте местные средства. Удивительная рекомендация: снимать одежду с голого.

Пробыли мы в Ревеле приблизительно дней 20—25, пока не удалось получить визу в Финляндию.

Глава XIV

ХЕЛЬСИНКИ

В Хельсинки, как обычно, мы остановились в гостинице «Фения» — самой лучшей, и, только поднимаясь по ее мраморным лестницам, увидев лакеев и кокетливых, в накрахмаленных передниках горничных, мы поняли, насколько мы были оборваны и неприглядны. И вообще наши средства нам не позволяли уже жить в такой гостинице.

Некоторое время, очень недолго, мы снимали комнаты у каких-то финнов. Сын хозяев с утра до вечера играл «Молитву девы» на скрипке, и это выводило отца совершенно из себя, он не мог работать. Потом этот молодой человек очутился в сумасшедшем доме. Мы сняли комнаты в пансионате. Там было много русских. Сначала мы жили в одной комнате втроем. Отец печатался в газете «Новая русская жизнь» — эмигрантском органе, выходившем в Хельсинки, а также в газете «Огни» в Праге. Многое из того, что Куприн тогда написал, он впоследствии сам называл клеветой, но проскальзывали и такие слова:

«Мне, например, чрезвычайно нравится их (большевиков) нынешнее отношение к Атланте вообще, а к Англии в особенности.

Никогда еще Россия не находилась в таком катастрофическом положении, как в наши дни.

Но послушайте, каким языком говорят большевики со старой Европой. Так никогда не осмеливались с ней говорить ни русские венценосцы, ни дипломаты, ни вожди — даже в самые цветущие времена Государства Российского, даже в те моменты, когда священный долг перед родиной и право сильного ясно требовали не просьб и соглашений, а приказаний и суровых действий».

Очутившись за пределами родины, совсем не желая этого, среди людей, чуждых ему, Куприн переживает тяжелое моральное состояние. Переписка с Репиным лучше всего расскажет, чем жил отец в первые месяцы изгнания.

Нежная, полная взаимного преклонения дружба между Куприным и Репиным началась приблизительно в начале XX века. Прочитав «Поединок», Илья Ефимович написал В. Стасову в 1905 году: «Замечательное произведение. Я давно уже ничего с таким интересом не читал. С громадным талантом, смыслом и знанием среды — кровью сердца — написана вещь».

Александр Иванович всегда считал Репина «художником величиною с Казбек». Часто сравнивал его в живописи с великим Толстым.

Мой отец начиная с 1905 года часто посещал «Пенаты» — усадьбу Репина в Куоккала (теперь Репино). По верованию древних римлян, пенаты — боги домашнего очага, семейного благополучия.

В 1920 году Александр Иванович, очутившись в Финляндии, часто пишет Репину, мечтает поехать в «Пенаты», где Илья Ефимович уже готовит полотно и кисти для портрета, который, к сожалению, так и не был написан.

В письма к Репину Куприн вложил всю свою любовь и тоску по родине.

Репин для Куприна был как бы олицетворением громадной силы и необъятного таланта русского народа. Поистине кровью сердца написаны эти письма[1]...

---

[1] Письма А. И. Куприна к И. Е. Репину хранятся в Архиве Академии художеств СССР (Ленинград). Письма И. Е. Репина к А. И. Куприну находятся в ЦГАЛИ, кроме № 2, хранящегося в Архиве Академии художеств (черновик). В тех случаях, когда письма не были датированы, в скобках указываются предположительные даты. Для того, чтобы сохранить цельность публикации, в выдержках приводятся письма, напечатанные в «Ленинградском альманахе», № 14, 1958 (публикация И. А. Бродского).

А. И. Куприн — И. Е. Репину

14 января 1920 г.
(Хельсинки)

Многоуважаемый, обожаемый, дорогой
Илья Ефимович!

Два письменных обстоятельства вдруг напомнили мне с необыкновенной живостью о Вас. Первое — я сейчас читаю «Дневник писателя» Достоевского (1873 г.) и там нашел большую статью о «Бурлаках». Второе — в тот же день ко мне зашел С. Животовский[1] и сказал, что Вы в письме к нему упомянули, кстати, и обо мне двумя-тремя словами теплого колорита. Вы представляете только, как меня это сообщение обрадовало здесь, в глубоком тылу, среди равнодушных, скучных, себялюбивых, жадных и трусливых бездельников и абсолютных невежд.

Меня застала волна наступления С/еверо/ З/ападной/ Армии в Гатчино, вместе с нею я откатился и до Ревеля. Теперь живу в Helsinki и так скучаю по России, что и сказать не умею. Хотел бы всем сердцем опять жить на своем огороде, есть картошку с подсолнечным маслом, а то и так, или капустную хряпу с солью, но без хлеба... Никогда еще, бывая подолгу за границей, я не чувствовал такого голода по родине. Каждый кусок финского smorgos'а становится у меня поперек горла, хотя на самих финнов жаловаться я не смею: ко мне они были предупредительны. Но я не отрываюсь мыслью о людях, находящихся там. [...]

Искренно и всегда Вам преданный
Ваш А. Куприн

И. Е. Репин — А. И. Куприну

19 (6) января 1920 г.
Куоккала

Только сейчас получил Ваше дорогое письмо от 1-го — 14 января.

Вот не ожидал!!! Милый великодушный Александр Иванович... да это не сон ли?!. Могла ли когда думать Гатчина, что Куприн будет скучать о ней и вспоминать картошку с подсолнечным маслом и хряпу!..

О, времена! О, проклятое рабство. А и со мной финны обращаются очень дружески... Это было так давно, что я тут голодал: вобла да вобла и пасха, а вместо кулича все вобла; а хлеба никакого... Но я тут одиночествую: дочери Веры

[1] Животовский Сергей Васильевич — знакомый Куприна и Репина.

уже более года не видел, она в Питере. Дом здесь отапливается только частями — нет дров... А у Веры (Карповка, 19) в комнатах 3 гр. мороза — замерзает и пр., что уже Вам известно лучше.

И. Е. Репин — А. И. Куприну

3 марта 20 г.

Обожаемый Александр Иванович,

...Вы думаете принести жертву — приехать сюда. У меня разыгралась фантазия: дня на три?! Да, предупредите! Сюрприз этот стоит использовать внимательно. И я с холстом и красками, сейчас же начну с Вас — ну, что выйдет... Ах как хотелось бы. Я так давно не видал Вас... Тогда, еще очень молодой Куприн, мне казался похожим на молодого Вакха. Но скромный, очень скромный, приезжал на вело и в нашей тесненькой столовой забирался в самый угол. А какая силища, какая мускулатура! Такие формы бицепсов и дельт не спрятать: все сквозит под рубашкой. И мне чувствовался всегда такой вес в этом Дионизисе! Мы тут сидим: Горький, Андреев, Скиталец и еще многие, но когда я невольно тянулся к Куприну, то мне казалось, он своей тяжестью подымает нас всех на доске. Ах, да если бы Вы сюда приехали! Но торопиться не следует. Здесь еще все занесено глубоким снегом; в доме обогреваются только три комнаты и я трепещу: Вы заскуча-а-аете?.. от моей древности. А через месяц уже будет сносно. И тогда покажу Вам целый иконостас для выбора — берите, что понравится.

Вспоминаю анекдот — Вы знаете — я слышал это от Лернера[1]. Будто бы однажды Пушкин на коленях выпрашивал у Брюллова понравившийся ему рисунок. Я даже нарисовал, вроде карикатурки, эту сценку и подарил ее Лернеру.

Приезжайте, приезжайте, милый, дорогой, светлый... А как Вас любил Лев Толстой. Когда мы гостили у них зимою однажды, он все читал Ваши творения, с какой-то радостью до слез...

Ваш Илья, ибо есть еще Юрий[2], который видел Вас (счастливец) в Гельсинках, в каком-то ресторане, с Вашими дочерьми.

Репин

---

[1] Лернер Николай Осипович (1877—1934) — известный пушкинист.

[2] Сын Репина, Юрий Репин (1877—1955), художник. Сын, видимо, принял маму за мою сестру.

В одном из следующих писем Куприн писал Репину:

(1920, Хельсинки)

Кажется, Филипп II Испанский, посетив мастерскую Сурбарана, следил за его работой и осмелился сделать ему замечание технического характера. Художник возразил, не оборачиваясь:

— Полагаю, ваше величество, что если бы вы присутствовали при сотворении господом богом мира, вы не отказали бы и ему в своих советах.

Так сейчас буду и я перед вами.

Почему, Илья Ефимович, вам никогда не приходила в голову мысль написать «Дядю Ерошку» (из «Казаков»), этого охотника, пьяницу, джигита, пана, анархиста, язычника, «от которого так уютно и неприятно пахло чихирем, табаком и дичью...»

Ваш весь А. Куприн

И. Е. Репин — А. И. Куприну

3 марта 1920 года, «Пенаты».

Ах, дорогой, милый Александр Иванович — неужели я вас не дождусь уже?! А комната ваша готова, и я все мечтал, что вы будете заказывать блюда — что вы любите... И холст готов, и дом уже почти весь теплый... Разумеется, есть вещи поважнее и я смиренно поджимаю хвост...

Благодарю, благодарю за письмо. Только вы меня не балуйте, не развращайте. Я, особенно теперь, так прозрел об искусстве, так понял суть его и так часто вспоминаю тургеневское — «Человек делает не то, что он хочет, а то, что он может». И совесть грызет, как никогда еще, за слишком щедрую оценку моих данных. Да, мне в этом везло, ну зато и достанется на том свете... Простите ради бога... Это я захныкал, когда получил известие от Леви[1], что вашему разрешению на проезд уже истек срок — разноздрили!..

А насчет дяди Ерошки — эх, богатая мысль — какой вы художник! Но я даже уже теоретически дошел, что иллюстрировать — значит идти на верную неудачу. Каждый chef-d'oevre не потерпит повторения и наказывает презрением за тщетные потуги (а сколько у меня их было!), равняться с ними — никогда не сравняться!

А вы напрасно отвертываетесь от ваших стихов. Льви-

[1] Леви Василий Филиппович — художник, ближайший помощник И. Е. Репина в его выставочных делах.

ная доля и на них видна и «кровь, что мы зовем поэзией», бьется... Но еще раз простите — это не моя компетенция. А все еще подожду... авось.

Ваш Ил. Репин

А я погружен в «Яму». Автор беспощадно вскрывает анатомическим ножом. Человечность, равенство со всеми пороками встают во всей своей пластике. Страшная назидательная картина.

А. И. Куприн — И. Е. Репину

29 февраля 1920 года
Хельсинки

Дорогой, прелестный, великий Илья Ефимович!

Две недели подряд я хлопотал о визе в Куоккалу. Хотелось, до колик, поехать повидаться с вами, хотя бы на денек. Но разрешение так запоздало, что ко времени его получения я уже был лишен возможности поехать. Это мне, конечно, в наказание за то, что я раньше чем действовать, не спросил вашего согласия. Ибо кто-то очень метко сказал: «Лучшие сюрпризы те, о которых заранее предупреждают».

...И еще одна просьба, вымолвить которую я бы ни за что не отважился, до того она нагла. Мне хотелось бы иметь у себя, всегда при себе и с собой, хоть какой-нибудь клочок, на котором что-нибудь сделано вашей рукой. Уверяю, что впервые в моей жизни я попрошайничаю таким образом и делаю это, во-первых, из моей сорокалетней (я мальчишкой-кадетом впервые увидел ваши картины в Третьяковке) неизменной любви к вашему гению, а во-вторых, бог весть как еще разойдутся и когда сойдутся наши дороги,— думаю уехать в Америку. А моя просьба скромная, все равно чем это будет сделано — пером или карандашом (уголь я не сумею зафиксировать), и все равно что — дерево, петух, скамейка, рука, лицо, финн, рыба, треугольник. Это не для коллекции, а для складня. Откажете, я не обижусь. Боюсь только, что на вас произведу неприятное впечатление просьбой. Этого ужасно боюсь.

Ваш душевно А. Куприн

После нескольких месяцев нашего беспросветного прозябания в Гельсингфорсе Александру Ивановичу пришлось решать нашу дальнейшую судьбу. Вот последнее письмо Куприна Репину из Гельсингфорса.

«...Не моя воля, что сама судьба наполняет ветром паруса нашего корабля и гонит его в Европу.

Газета скоро кончится. Финский паспорт у меня лишь до 1 июня, а после этого срока будут позволять жить лишь гомеопатическими дозами, и придется мне через день бегать по канцеляриям, стукаться лбом, умоляя о продлении. Да и финны, столь широко покровительствуемые вами... Я их уважаю по-прежнему. Но это люди с другой планеты, селениты, морлоки, жители о-ва доктора Моро. Тоска здесь...

Впрочем, тоска будет всюду, и я понял ее причину вовсе недавно. Знаете ли, чего мне не хватает? Это двух-трех минут разговора с половым Любимовского уезда, с зарайским извозчиком, с тульским банщиком, с владимирским плотником, с мещерским каменщиком. Я изнемогаю без русского языка! Эмигранты, социалисты, господа и интеллигенция — разве они по-русски говорят? Меня, бывало, одно ловкое уклюжее словцо приводило на целый день в легкое, теплое настроение.

Как-то жалко, жалко мне, что уеду далеко от вас. Я и в третий раз пробовал было пощупать путь в Куоккала — не выходит. Да и газету надо проводить до ее почетного конца. Буду писать вам из... Вот и сам не знаю откуда.

Есть три дороги: Берлин, Париж и Прага. На столбе под именем городов что-то написано. Но я, русский малограмотный витязь, плохо разбираю, кручу головой и чешу в затылке. А, главное, мысль одна: домой бы...»

Началась активная переписка с разными странами. Александра Ивановича Куприна звали принять участие в недавно возникших русско-эмигрантских газетах.

Париж во все времена имел притягательную силу. Со всех сторон сюда стекалась русская эмиграция.

Широкое гостеприимство «жертвам революции» со стороны французского правительства было политическим шагом.

Мои родители стали хлопотать о въезде во Францию. Но когда, наконец, все формальности были выполнены, произошла задержка из-за денег, которых ждали из издательств. В Гельсингфорсе вышел сборник «Звезда Соломона», а в Праге перевели на чешский язык сборник детских рассказов. Пришлось продлить визу еще на месяц.

Ни одной минуты отец не думал, что он отдаляется от родины на долгие семнадцать лет, что эти мрачные годы с непроходящей тоской по всему родному сломят его богатырское здоровье и что в жизнерадостной Франции померкнет его страстная любовь к жизни.

26 июня 1920 года мы наконец погрузились в порту Або на небольшой черный товаро-пассажирский пароход «Астрия», перевозивший также и кокс, — жалкое суденышко, все время накренявшееся набок.

Погода была отвратительная. Грязное небо, желтые рваные волны...

Мама и я, да почти все пассажиры, страдали от морской болезни. Отец — «старый морской волк» — пропадал целыми днями среди экипажа, изредка навещая нас, «умирающих». Когда мне становилось легче, я убегала к нему, и мы фотографировали, стараясь запечатлеть наше путешествие. Подкрадываясь и прячась, долго охотились за капитаном, этим недосягаемым лицом, «хозяином своего корабля после бога».

До Копенгагена шли три дня и стояли там несколько часов. Сойдя на берег, мы накинулись на бананы, продававшиеся в порту пудовыми гроздьями. Мне запомнилось несметное количество велосипедистов всех возрастов. Казалось, что все население, от малых детей до бабушек и даже священников, катится на колесах.

Потом снова плохая погода, ветер и качка до порта Гуль в Англии.

В Лондоне нас встретили Гермашовы, знакомые по 1918 году в Москве, у которых мы снова остановились. Сам Гермашов был хвастун и враль. Он много пообещал моим родителям. У мадам Гермашовой была только одна страсть в жизни: уникальное ожерелье из двух рядов розовых крупных жемчужин, купленное у морганатической жены великого князя Михаила — Брасовой за 200 тысяч рублей. Мадам только тем и занималась, что перенизывала ожерелье целыми днями.

От Лондона, где мы пробыли два дня, впечатления у меня остались довольно смутные.

Глава XV.

ПАРИЖ

В Париж мы приехали 4 июля 1920 года. Нас встретили знакомые — не помню, кто именно, — и проводили в очень посредственную гостиницу «Hotel de Russie»[1], находившуюся недалеко от Больших бульваров. Я до сих пор помню отвратительный запах клея и пыли, и окна, выходящие в мрачный колодец внутреннего двора.

В первый же вечер мы всей семьей решили прогуляться по знаменитым бульварам. Было очень жарко. Нас ошеломило необычайное количество людей, праздно гуляющих, сидящих за расставленными столиками прямо на тротуарах, яркие световые рекламы, витрины...

Мы решили поужинать в первом приглянувшемся нам ресторанчике. Подавал сам хозяин, усатый, налитый кровью, типичный француз, немножко под хмельком.

К сожалению, языка я не знала, от французских гувернанток у меня в памяти осталась лишь песенка о Мальбруке, уходящем на войну. Отец взял объяснения на себя, тщетно подбирая изысканные формулы вежливости, совсем пропавшие из обихода после войны. Хозяин долго не понимал, чего мы хотим, потом вдруг взбесился, сорвал скатерть со стола и показал нам на дверь. В первый, но не в последний раз я услышала слова: «Грязные иностранцы, убирайтесь к себе домой!»

Среди французов есть люди, которые, если можно так выразиться, принципиально «против», вообще против всего — против иностранцев, против правительства и, во всяком случае, против мнения своего собеседника. А у многих обывателей, мелких буржуа и лавочников, были с русскими свои счеты из-за займов царской России в 1914 году, на которых они погорели.

Мы с позором вышли из ресторанчика, очень огорченные, и, потеряв аппетит, пошли, «куда глаза глядят». Увидав маленький, ярко освещенный, симпатичный театр «Des Capucines» (Настурции), решили в него зайти. Вся программа состояла из злободневных песенок, где высмеивается все — от политики до интимной жизни мимолетных знаменитостей. Мы сидели, скучали, ничего не понимая.

[1] Российскую гостиницу.

В антракте мы вышли в фойе; там стояла группа русских. Увидев мои косички, они стали громко возмущаться тем, что на такую двусмысленную программу привели ребенка. Конечно, мои родители невероятно смутились, и мы быстро ушли.

Десять лет спустя я играла в этом театре, переходившем много раз из рук в руки и специализировавшемся в то время на детективных пьесах.

Уже на другой день к нам в гостиницу явились знакомые и незнакомые люди. Они приходили без конца, что-то рассказывали, спорили, жаловались, требовали и говорили, говорили, говорили...

В эмиграции тогда существовала масса политических партий. Эти партии еще раскололись на фракции и группы: правые кадеты во главе со Струве, левые — с Милюковым. В среде эсеров и социал-демократов существовало по три и даже больше фракций. Бесновался Керенский. Монархисты никак не могли решить — кого посадить на трон. Все вели между собой жестокую борьбу во имя будущего общественного строя в России, так как они считали, что падение Советской власти неминуемо!

А. И. Куприн подпадал под разные влияния, но не примыкал ни к одной партии, оставаясь в душе демократом и глубоко растерянным человеком.

Через неделю после нашего приезда Париж начал готовиться к празднику взятия Бастилии — 14 июля. На всех перекрестках и площадях сооружались помосты для оркестров и танцевальные площадки. Роскошные тенистые каштаны украшались гирляндами из трехцветных лампочек. Кафе и рестораны удесятеряли число столиков, расставленных на улицах.

Париж танцевал два дня и две ночи. Людям хотелось поскорее забыть ужасы недавней войны. В ту пору народные празднества еще были необычайно веселыми. Существовал «Его величество карнавал» с многоцветной толпой ряженых. И в день святой Катерины, праздника мидинеток, девушки, которым исполнилось 25 лет, одевают смастеренные собственными руками замысловатые чепчики в знак того, что им пора замуж, и выходят гулять по улицам шумной толпой. Только в этот день они имеют право задевать прохожих, приглашать на танец и даже делать предложение руки и сердца молодым людям.

Много очаровательных традиций, таких типичных для

французов, потом пропало совсем или перестало носить общенародный характер. 14 июля хотя и продолжает быть любимым праздником простых людей, но с каждым годом спадает прежнее неудержимое веселье.

С большим интересом, боясь потерять друг друга, мы пробирались и толкались среди танцующих. Папу, под веселый хохот, называя «La barbichete» («бородка», вышедшая тогда во Франции из моды), пригласила танцевать черноглазая задорная девица. В нас сразу угадали иностранцев.

В 1912 году, путешествуя по югу Франции, отцу довелось присутствовать на празднике 14 июля в Марселе. Об этом он пишет в «Лазурных берегах».

«Середина июля. Город Марсель празднует годовщину разрушения Бастилии... Надо сказать, что этот праздник — настоящий праздник».

И еще:

«...Но мне тяжело и скучно. Чужой праздник! И я чувствую себя неприглашенным гостем на чужом пиру. Увы! Судьба моей прекрасной родины находится в руках рыцарей из-под темной звезды, и у нас нет ни одного случая вспомнить наше прошлое, ни числа, ни месяца, ни года...»

Если даже в то время, когда у него была «...крепкая, нерушимая душевная основа — «а все-таки там дом — захочу и поеду» (очерк «Родина»), ему было тяжело и скучно, то как горько и одиноко должен был он себя чувствовать среди ликующей чужой, насмешливой толпы, лишившись этой душевной основы.

Вскоре родители решили меня отдать в какое-нибудь учебное заведение. Я была чудовищно безграмотна, а им надо было спокойно осмотреться и наладить жизнь на новом месте.

Кто-то посоветовал интернат, полумонастырь «Les Dames de la Providence» («Дамы Провидения»), где не очень обращали внимание на уровень образования. Это было женское католическое учебное заведение с собственной церковью, с монастырскими правилами. Оно размещалось в большой усадьбе почти в центре города, обнесенной глухой каменной стеной. Преподавали праведные старые девы, а за внутренним порядком следили монашки. Священник давал уроки катехизиса и служил четыре мессы в день. Уроки морали, хороших манер, шитья, вышиванья и пения псалмов преобладали над другими науками. За трапезой девочкам запре-

щено было говорить между собой, и монашка на кафедре монотонно читала священные тексты.

Я еще застала дикие нравы католического учреждения. Ванну можно было принимать раз в месяц в специальной рубашке, под которой нужно было суметь вымыться. Одеваться и раздеваться тоже надо было обязательно под длинной ночной рубашкой. Все это для того, чтобы не оскорбить взоры всевышнего кусочком голого тела. Девочки других вероисповеданий в принципе освобождались от церковных обязанностей. Но мы скоро заметили, что присутствие или отсутствие на мессах влияет непосредственно на отношения учительниц к нам и, следовательно, на отметки.

Во Франции существуют разнородные учебные заведения: коммунальные школы для «бедных» — бесплатные, с низшим образованием, дорогие великосветские пансионаты и католические учреждения, где учатся средние слои общества.

Когда мама привела меня к директрисе этого учреждения, мадам Мари-Терез — маленькой старушке с двумя парами железных очков на крошечном носике, оказалось, что как раз было время летних каникул, и она с двумя монашками и несколькими оставшимися девочками собиралась ехать отдыхать на родину знаменитой Орлеанской девы, в деревушку Домреми. Директриса предложила взять меня с собой, и мама скрепя сердце согласилась.

В первый раз расставалась я с родителями. Все трое тяжело переживали эту разлуку. Мама и папа обещали часто приезжать.

Местность оказалась очень красивая, хотя плоская; длинные шоссейные дороги, обрамленные тополями, вели из деревушки в деревушку, масса церквей и чудесные леса, где, по легенде, Жанна слышала голоса, призывающие ее спасти родину от англичан. Вполне сохранился маленький, странной треугольной формы каменный домик героини и вся утварь. Весь край жил туристами, продажей открыток, картинок, статуэток.

Первое время мне было очень трудно: чужой язык и нравы, умиленная глупость монашек.

Я бунтовала. Вот что я писала в 1920 году своим родителям:

«Милая Мамочка и милый Папочка,

Домреми — очень красивое место, и я от души желаю,

чтобы вы купили домик и завели хозяйство, мы с папой будем искать улиток.

Я не хочу учиться читать и писать по-французски. Напиши, пожалуйста, «Им». И привези, пожалуйста, русские книги, побольше. Но мне все-таки хочется домой и не будет жалко «Их».

Я видела еще дачу рядом с нашим пансионом с большим фруктовым садом, конец которого выходит в поле.

Целую вас крепко-крепко, вас обоих.

Киса Куприна».

Мама умоляет:

«Милый Котенок, если бы ты знала, как меня огорчает, что ты так непочтительна к своим учительницам. У французов извиняются за каждый пустяк... Учиться необходимо, осенью никуда неумеющую писать и бегло читать не примут даже в 1-й класс».

Отец же старается воздействовать на меня, как товарищ.

4 августа 1920 г.

«Милая Кс.

Я думаю, мама напрасно беспокоится, потому что знаю, какой ты умеешь быть послушной, веселой и милой, когда захочешь. А если придется повиноваться, вспомни, как твой храбрый отец выпячивался перед начальством, когда был на военной службе в Гельсингфорсе (давно), а потом в Гатчине (недавно).

Твой Александр».

Потом в совместном письме они обещают приехать.

«Маленький мой котеночек,

кажется, мы с папой недели на две приедем в Домреми подышать свежим воздухом, но еще твердо не решили.

Нежно мы с папой тебя вспоминаем, он скучает очень.

Целую тебя, мой воробушек

Твоя только Мама

Ничьи, ничьи, ничьи, ничьи, ничьи,

только твои

А. и Е. Куприны.

Слушай своих добрых наставниц.

Строгий Папа.

И, главное,— будь здорова.

Саша».

В это время в Париж продолжали съезжаться эмигранты.

У некоторых были предусмотрительно помещены капиталы за границей. Аристократия, короли индустрии, нефти, жемчуга, пробки зажили широко, сняли особняки, закатывали сногсшибательные приемы, кутили.

Приехали и писатели, художники, артисты, мелкие журналисты и бывшие государственные мужи. Мелкое мещанство приделало к своим фамилиям аристократическое «де», и даже те, у кого в России была скромная жизнь, захлебываясь, рассказывали о своих потерянных богатствах и поместьях, сами начиная в них верить. Они продавали драгоценности, вывезенные в подолах и подкладках, швырялись деньгами. Никто серьезно не устраивал свою жизнь, надеясь на скорое возвращение.

Материальное положение родителей было не очень блестящим, это видно из писем отца ко мне.

«...Мы с матерью пока бедствуем. Не сердись, что не можем делать тебе царских подарков. Потом опять обрастем шерстью и пухом, тогда...

Пиши о себе, о подругах, о сестрах, начальстве, прогулках и приключениях.

Я хочу, чтобы у тебя вырабатывался письменный язык.

Целую. Привет.

Твой Папа».

Я ответила отцу, после чего он прислал мне такое письмо:

«Милая Лидия Чарская!

Нет, нет... Ты лучше ее пишешь...

Дорогая Ксения Куприна!

И тоже нет. Ведь, во-первых, уже есть писатель с такой фамилией, а во-вторых, ты, конечно, выйдешь замуж, думаю, за француза, и будешь под своими романами из жизни принцесс и привидений подписывать мужнюю фамилию.

Итак: Chère et Incomparable Madame de Nombril (Дорогая и несравненная мадам де Пупок)

Заявляю Вам о моих глубоких чувствах отеческой любви. Все, что Вы просите, будет, вероятно, сделано, хотя бы мне пришлось лишиться той части туалета, которая... Сло-

вом, я хотел купить себе шелковый блестящий Chapeau clac (цилиндр), а к нему пенсне, перчатки, крем, трость со слоновой головой из слоновой кости (ivoire) и кстати выкраситься в ярко-желтый, канареечно-гнедой цвет. Придется отложить эти планы.

Надеюсь, ты слушаешься во всем своих добрых наставниц и показываешь другим детям пример прилежания, опрятности, вежливости, хороших манер и доброго нрава? Иначе я о тебе и не думаю, n'est ce pas? (Не так ли?).

Прошу передать M'elle Marie-Thérése мои уверения в глубоком уважении.

А тебя, мой идол, с разбега и с размаха целую в твою милую мордашку наугад, куда попадется: в нос, рот, глаз, ухо, щеку, подбородок — все равно.

Один добрый старый Папа».

Я очень хотела, чтобы мои родители приехали вместе. Я пишу отцу:

Август—сентябрь 1920 г.

«Милый Пуп-Саш, во-первых, сообщи мне Ваш адрес, во-вторых, приезжай ко мне с Мамочкой. Она одна не сможет без языка с пересадками. Помни, ты посмотришь дачку — здесь очень много старинных домиков и очень красивые церкви, масса зелени. Приезжай, не пускай Маму одну. Кланяйся знакомым.

Целую крепко, твоя дочь Киса».

Наконец мама и папа приехали в Домреми на десять-пятнадцать дней и поселились в гостинице у Базилики на полном пансионе.

Очень похудевший отец уже не напоминал татарского хана и к пятидесяти годам выглядел типичным русским интеллигентом. В его густых, коротко остриженных, причесанных на боковой пробор волосах было мало седины, и все необычайно крепкие, хотя и потемневшие от курения зубы были без единого изъяна, чем он очень гордился. Татарскими остались лишь глаза, острые, чуть прищуренные, с нависшими веками, зеленевшие в гневе.

Только теперь я понимаю, какой еще молодой в то время была моя маленькая мама. Она никогда не заботилась и не думала о самой себе и почти разучилась улыбаться.

Родители как-то резко выделялись среди французской публики и казались людьми с другой планеты.

Любознательность отца плохо сочеталась с плохим знанием языка и вызывала ироническое пожимание плечами. Его литературное имя, открывавшее на родине все сердца, здесь никому ничего не говорило. Он, так легко и свободно сходившийся с теми же французами в 1912 году в Ницце, как-то душевно съежился, и его обаятельная непосредственность с людьми всех сословий превратилась в преувеличенную вежливость. Каждый француз смотрел свысока на эмигрантов, крепко стоя на своей земле, а те чувствовали себя виноватыми в том, что им некуда было уйти от насильственного гостеприимства. Это чувство с годами все увеличивалось.

В домике Жанны Д'Арк отец, перелистывая книгу посетителей, наткнулся на надпись по-русски: «Милая Жанна, как бы я хотела быть такой, как ты. Киса Куприна».

Я была ужасно сконфужена, что родители узнали о моей тайной мечте, тем более что мы с папой имели обыкновение дразнить друг друга по всякому поводу, и, конечно, во время всего пребывания в Домреми и позже отец с почтительным изумлением называл меня Жанной Д'Арк...

Старушке Мари-Терез отец наговорил массу изысканных комплиментов и совсем покорил ее. Она стала отпускать меня удить с ним рыбу. К нам примкнул десятилетний Марсиаль, очень сдружившийся с отцом, который обучал его рыболовным премудростям.

Пребывание в гостинице, всевозможные подарки, конфеты и покупка снастей для рыбной ловли совсем подорвали скудные средства моих родителей, и им пришлось уехать раньше времени, так как они беспокоились, что не хватит денег на обратную дорогу.

Из Парижа они писали:

«Милый мопсик,
живем очень скромно, часто тебя вспоминаем.

Новенького ничего нет. Сидим и наводим зверскую экономию, постимся после поездки.

Папа и я крепко, крепко целуем тебя.

Твоя Мума».

«Милая Коскениеми,
Мать велела написать тебе «ласковенькое письмо». Хорошо:

Тю-ли-ли, тю-лю-лю
Тю-лю-лю.

А чтобы тебе не было скучно, прилагаю деньги, которые мы скопили в Домреми, лишая себя пищи, питья, папирос и свежего воздуха. Смотри, трать их осторожно. Не покупай на них ни скаковых лошадей, ни автомобилей и не играй в карты. Лучше положи их в банк и живи скромно на проценты.

У нас были Азанчевские[1] и мыкали нас по всему Парижу пешком. Сегодня мы с мамой без задних ног.

Твои благосклонные родители

А. Куприн».

(В конверт было вложено 5 франков).

Каникулы кончились. Я вернулась в Париж.

Глава XVI

БУНИН

Между Буниным и Куприным отношения всегда, с самой молодости, были странными, неуравновешенными. Временами они питали друг к другу большую нежность. Иногда, читая какую-нибудь вещь Бунина, Куприн говорил, что он завидует его редкому, блестящему знанию русского языка, умению найти точную фразу.

Бунина, по его же признанию, иногда восхищало что-нибудь из вещей Александра Ивановича, а иногда ему казалось, что Куприн работает слишком стихийно. Человечески они были тоже очень разными.

В 1910 году на вопрос одного из журналистов Куприн сказал: «Верный старым заветам, академически спокойный Бунин в стороне от новых исканий... Он наблюдает русский язык из первоисточника и, кроме того, у него собственный богатый лексикон».

Два коротеньких письма доказывают, что Бунин, узнав наш адрес в Гельсингфорсе, очень обрадовался.

1920 г.

«Папочка, дорогой. Хоть ты нас всех обругал в «Огнях», а мы все-таки тебя поздравляем, целуем, обнимаем.

---

[1] Инженер Азанчевский был товарищем Куприна по кадетскому корпусу. Он долго работал в Калифорнии и только в 1916 году вернулся в Россию на постройку Мурманской железной дороги, а потом снова уехал в Америку.

Покидаем Висбаден 11 сентября. Числа 13-го думаем быть в Париже.

Привет супруге и дерзкой дочке.

Селям алейкум, твой Иоганн».

Следующее письмо тоже из Висбадена.

«Милый ненаглядный Куприн.

Мы здесь замучились от холода и черной работы. И несмотря на то, что квартира у нас будет 15—20 ноября, едем в Париж, в номера пока. Так что, ваше благородие, до скорого, надеемся, свидания.

Ваши Бунины».

Когда я вернулась из Домреми, мои родители при содействии Бунина поселились в меблированной квартире в одном доме и на одном с ним этаже. Квартиры были четырехкомнатные, стандартные и очень похожие одна на другую, на улице Жака Оффенбаха в квартале Пасси, почему-то облюбованном русскими эмигрантами. Говорили: «Живем на Пассях». Там же жил художник Нилус, большой друг Бунина и Куприна еще по Одессе.

Меня отдали в интернат того же монастыря, с настоятельницей которого я ездила в Домреми. Домой я приходила только на субботу и воскресенье.

В своей совершенно новой жизни в эмиграции Бунин и Куприн вели себя по-разному. Бунин на европейский манер заказал себе визитные карточки с дворянским «де» — «м-сье де Бунин», щегольски оделся по последней моде и сбрил бородку русского интеллигента. Отец насмехался над ним, а Бунин воспринимал это болезненно.

В доме Бунина царил строгий распорядок. Он часто болел, иногда мнимо, но все подчинялось его настроениям. Каждый день Вера Николаевна — «Монна Лиза», как называл ее отец за вечную таинственную улыбку, объявляла бюллетень здоровья Ванечки: «Сегодня Ванечка плохо спал». «Сегодня Ванечка плохо настроен». «Ванечка» очень носился со своими болезнями, придавая всем недомоганиям большую значительность. Бунин завел много знакомств среди иностранцев, наносил визиты, поставил себя в эмиграции в какое-то особое положение. За свое сотрудничество в газетах он получал самые большие гонорары.

Отношения между семьями нашими понемногу портились. Близкое соседство только усугубляло все разногласия, которые бывали между Иваном Алексеевичем и Александром Ивановичем. Бунин не любил безалаберного образа жизни Куприных, у которых всегда были открыты двери для всех.

Когда мы переехали под Париж, отношения наши стали еще более холодными. Постепенно столько накопилось неприязни, что имя Бунина стало нарицательным в нашей семье. Может, потому у меня осталось немного предвзятое отношение к нему, как к не очень доброму человеку и эгоисту.

Французская пресса часто сравнивала имена Бунина и Куприна. Это было для Ивана Алексеевича всегда травмой. Он считал, что талант его на недосягаемой высоте.

В октябре 1923 года в «Литературном ревю» появилась статья Е. Жоржа-Бризу.

«Есть необыкновенные, прекрасные страницы в мелких рассказах Куприна, страницы, вписавшие его имя в историю такой интенсивностью, что заставляет также и нас переживать. Из этого произведения исходит такая сила действенной симпатии, совершенно незнакомая западным литераторам.

Мы также находим эти качества у Ивана Бунина.

Я скажу, что эти произведения не только большая школа человеческой симпатии, понимания, солидарности и добра, но еще — и это правда, в особенности в произведениях Достоевского — страшное обвинение против современного общества. Самое грозное обвинение, когда-либо брошенное ему в лицо».

В 1923 году Куприну из Берлина пишет М. Алданов (он тогда сотрудничал в газете «Дни» с литературным воскресным приложением):

«Есть у меня еще следующее дело в связи с Нобелевской премией. Вы помните, в «Слове» было предложено выставить совместные кандидатуры — Вашу, Бунина и Мережковского. К сожалению, по причинам неизвестным, все эти три кандидатуры выставлены раздельно, что сильно вредит успеху каждой из них.

При этих условиях есть много оснований думать, что премию получит Максим Горький. Здесь его кандидатура считается чрезвычайно серьезной. Все мы полагаем, что кандидатуре Горького следовало бы противопоставить одну

совместную тройную кандидатуру, тогда шансы вырастут наглядно.

Я пишу одновременно и Бунину и Гиппиус. Что вы об этом думаете? Неужели никак нельзя Вам троим согласиться и объединиться?

Ваш М. Ландау-Алданов».

Но Мережковский не хотел объединяться с Буниным и Куприным. Бунин же — с Мережковским и Куприным. Я точно не знаю, какие были последствия разговоров и соглашений, но во всяком случае в том году премию не получил ни один русский писатель.

Впоследствии вопрос о кандидатуре русских эмигрантских писателей на Нобелевскую премию ставился еще несколько раз, обсуждалось также имя Ивана Шмелева.

Я помню, шел разговор о том, чтобы совместные кандидатуры не выставлять: один мог помешать другому. Высказывалось пожелание, чтобы тот, кто получит премию, поделился бы ею с остальными. Как известно, Бунин получил Нобелевскую премию только в 1933 году. Он прислал моему отцу 5 тысяч франков. Наше материальное положение тогда было довольно трудным, и Куприну пришлось принять деньги.

Бунин раздал среди писателей-эмигрантов десятую часть премии. Н. А. Тэффи, с присущим ей злым юмором, пустила по городу остроту, что можно теперь организовать еще одну эмигрантскую фракцию: «Объединение людей, обиженных Буниным».

Много лет Бунин и Куприн не встречались. Иван Алексеевич большую часть времени проводил на юге Франции.

Гораздо позже сам Бунин пишет, что, встретив как-то Куприна после долгих лет разлуки, он до слез поразился переменой, происшедшей в отце, и, чтобы не волновать себя, предпочел больше никогда с ним не встречаться.

Глава XVII

ПРИГОРОД

С самого приезда в Париж отец мечтал купить домик подальше от шумного города. Тишина и природа были ему необходимы. Но златые горы, которые ему сулила эмигрант-

ская печать, оказались всего лишь жалким заработком. Решили снять дачу в пригороде до той поры, когда переведут на французский язык основные произведения Куприна. Отцу очень хотелось восстановить гатчинский образ жизни — покопаться в земле.

Дачу сняли в Севр-Виль Д'авре. Как и Гатчина, она была недалеко от железнодорожного полотна и в получасе езды от города. Но на этом сходство с Гатчиной кончалось.

Каменный двухэтажный домик с узким покатым садом. Весной он выглядел привлекательно, южная сторона дома была обвита чайными ползучими розами, в саду цвели сирень и пышные рододендроны.

Внутри дача была меблирована в мещанском французском вкусе, со множеством статуэток, галантных литографий, золоченых амуров и стеклянных колпаков, под которыми хранились свадебный венец хозяев дома и восковые букеты.

Чужая обстановка, чужая земля и чужие растения на ней стали вызывать у отца горькую тоску по далекой России.

Ничего ему не было мило. Даже запахи земли и цветов. Он говорил, что сирень пахнет керосином. Очень скоро он перестал копаться в клумбах и грядках.

Нахлынули бесконечные гости. Шумные споры с пеной у рта настолько надоели отцу, что он вывесил в столовой плакат: «О политике в моем доме прошу не говорить».

Вся эта разношерстная, часто голодная эмигрантская братия совсем разорила нас. Маме приходилось брать в кредит провизию у лавочников. Потом мясники и булочники приходили к нам требовать немедленной уплаты, орали и бессовестно обсчитывали. Спустя несколько месяцев, зимою, дошло до того, что отсутствие денег и кредитов заставило нас ходить в лес Сен-Клу собирать дикие каштаны и питаться ими. Хорошо еще, что отец научил маму и меня относиться с юмором к превратностям фортуны.

Если неожиданно приходили деньги — то ли за перевод, то ли за издание книги или напечатанный в каком-нибудь журнале забытый рассказ,— это в нашей семье называлось: капнуло с неба!

И снова кормились приезжавшие к нам «на огонек» по старому русскому обычаю гости. Припоминаю один забавный случай. Мои родители уехали в Париж по делам, а у

меня всегда была страсть к переодеваниям. Оставшись одна, я, двенадцатилетняя девчонка, напялила на себя декольтированное узкое мамино платье, громадную красную шляпу и сильно загримировалась.

К ужасу моему, вдруг раздался звонок. Не открыть калитку было нельзя: люди приезжали из города на электричке. На сей раз приехал танцор Владимиров из русского балета. Он никогда меня не видел: представился, поцеловал руку, и пришлось волей-неволей разыгрывать из себя взрослую, якобы близкую знакомую Куприных. Видимо, я неплохо вела свою роль — молодому человеку не пришло на ум, что он разговаривает с девчонкой. Мы гуляли по саду, я угощала его чаем, мы разговаривали на возвышенные темы. Вдруг я увидела подошедших к калитке родителей. Я извинилась, умчалась в дом, сорвала с себя платье, усиленно стала смывать грим и заплетать косички. А Владимиров, видимо заинтересовавшись мною, спросил у отца:

— Кто эта молоденькая дама, принявшая меня?

Мать, что-то смекнувшая, немедленно поднялась в мою комнату. Увидев сброшенное впопыхах платье и шляпу, заставила меня спуститься вниз уже в косичках и короткой юбочке. Никогда я не забуду глупого выражения лица Владимирова.

...Однажды к нам приехали русские кинодеятели. Эти эмигранты заполонили тогда французское кино. Во главе прибывших был режиссер Туржанский, с ним его жена, киноактриса Кованько, с огромными пустыми глазами, явно запуганная авторитетным супругом. Приехал к нам и Иван Мозжухин, пленивший миллионы зрительниц своим неподвижным светлым взором. С ним была его партнерша и жена Н. Лысенко с болезненным острым личиком.

Кинодеятели хотели заказать отцу сценарий.

Знаменитый немецкий режиссер Фриц Лант поставил тогда нашумевшую вскоре картину «Три света» с участием Конрада Вейдта. То была трилогия о торжестве смерти над любовью. Помню, в фильме между эпизодами появлялась часовня со множеством горевших свечей — маленькими, большими, тонкими и толстыми — символами человеческих жизней. Одни едва загорались, другие догорали. Когда некто в черном торжественно гасил одну из свечей,— герои эпизодов умирали.

Мыслью режиссера Туржанского было противопоста-

вить этому фильму другой — о торжестве любви над смертью.

Мой отец взялся за сценарий довольно охотно. Ему давно нравилась библейская легенда о Рахили, неугасающая и всепрощающая любовь до смерти. Эту первую часть сценария Куприн писал вдохновенно. Но на дальнейших эпизодах отец застрял. Будучи реалистом, он не умел выдумывать фабулу, не пережив глубоко судьбы своих героев. Продолжение этого сценария сохранилось лишь в рукописи, весьма небрежной и неразборчивой. То были скорее наброски, сделанные для самого себя. Вот что удалось разобрать в этих беглых записях, рассказывавших о второй жизни Рахили.

...В Грузии разбойники нападают на аул и похищают двух молодых девушек — Дину и Тамару. Это — перевоплощенные Рахиль и ее сестра Лия. В Алеппе их продают на невольничьем рынке разным хозяевам. Дина попадает в гарем султана Иакова. Он влюбляется в Дину. Но она не может ответить на его любовь, она раба, купленная им. Султан решается отпустить Дину на родину. Получив свободу, она поняла, что любит его, и остается. Тем временем Тамаре удалось сбежать, переодевшись матросом. Она попадает в Алепп, где встречает Дину. Тайное свидание ночью. Одна из отвергнутых жен султана доносит ему, что Дина встречается с юношей. По приказанию султана Тамару и Дину забирают под стражу. Дину зашивают в мешок и бросают в море. Когда юнгу приводят к султану, обман раскрывается. Но слишком поздно.

...Эпизод третий из жизни Рахили. Действие происходит в Париже. Знаменитый в Америке композитор написал «Плач Рахили». В Париже эту арию будет петь известная певица. Композитор, прибывший на премьеру, никогда ее не видел. В театре они узнают друг друга. Никогда больше не расстаются, умирают в один день, и на их могилы молодые девушки и юноши приносят цветы...

Здесь можно проследить, насколько фантазия изменяла моему отцу. В последнем эпизоде сценария знаменитый поэт читал письмо незнакомки, написавшей, что она всю жизнь любила его, но сознается лишь перед смертью. Поэт бросается в больницу, спасает ее. Возникает мирная семейная жизнь. В финале — смех ребенка и лай фокстерьера.

Как видно, Куприну надоела натужная лирика. Сценарий не имел успеха. И тут моя мама решила, что и она смо-

жет написать сценарий. Отца это насмешило. Мы ходили с ним на цыпочках по дому и, прикладывая палец к губам, шепотом говорили: «Тсс, мама пишет!» Мы так ее извели, что однажды она расплакалась и воскликнула:

— Какие у меня гадкие, злые дети! — Вслед за этим сожгла свою рукопись в камине.

* * *

К нам зачастил ставший в Париже киноактером Федор Колин, бывший актер МХАТа.

Он подружился с моим отцом. И нередко оба они с тоской беседовали о покинутой родине. Колин ни слова не знал по-французски, но почему-то считал моего отца, немного владеющего языком, отличным переводчиком. Они вместе ездили к кинорежиссеру Абелю Гансу для переговоров. Ганс считался специалистом по постановке фильмов с огромными массовками. Капиталисты, вкладывавшие деньги в его фильмы, боялись режиссерского размаха: он никогда не укладывался в смету, причинял огромные убытки.

Вплоть до появления говорящего кино Колин пользовался успехом во Франции, считался одним из лучших и тонких комических актеров. Он так и не научился французскому языку, поэтому звуковое кино резко изменило его судьбу. Вскоре Федор Колин уехал из Франции.

Приезжал к Куприну и советский актер Инкижинов, прославившийся в фильме «Потомок Чингиз-хана», поставленным В. Пудовкиным. Инкижинов предложил моему отцу инсценировать для кино «Штабс-капитана Рыбникова». Для этого актера с монгольским типом лица нужны были соответствующие роли.

Но экранизация рассказа «Штабс-капитан Рыбников» не удалась.

Глава XVIII

ЛИДА

Люлюша, как ее называли в детстве,— Лида, дочь Куприна от первого брака, когда-то часто приезжала в Гатчину. Я думаю, что отец любил ее с большой затаенной болью.

Он очень хотел, чтобы она осталась у нас в Гатчине, но Мария Карловна об этом и слышать не хотела.

Шестилетняя разница между Лидой и мною казалась тогда огромной. Она была очень хорошенькой девочкой — правильные черты лица, маленький, чуть с горбинкой носик, яркие зеленые глаза с черными бровями и ресницами, длинные черные волосы.

В доме своей матери Лида пользовалась полной свободой. Ее постоянным товарищем был сын Иорданского Коля. Мария Карловна была очень занята своим журналом, редакция которого находилась в ее квартире, и мало обращала внимания на воспитание своей дочери и пасынка.

Последний раз я видела Лиду в 1918 году. Ей было шестнадцать лет. Помню, она приехала в Гатчину в очень странном виде: отрезанная челка была завита мелким бесом, лицо ярко накрашено. На ней была неимоверно узкая юбка и какая-то очень большая дамская шляпа.

Отец возмутился. Лида ответила, что вышла замуж за некоего Леонтьева и вольна теперь делать все, что хочет.

Вскоре этот скоропалительный брак оказался неудачным, и уже через год Лида получила развод.

В то время мы покинули Гатчину.

В эмиграции отца всегда тревожила судьба Лидии. Он послал несколько писем в Петроград и наконец получил от нее письмо 14 сентября 1922 года.

«Спасибо тебе большое, дорогой папа, за твою заботу...

Много я слышала о том, что русским эмигрантам приходится плохо, особенно в Париже и Константинополе, но твой рассказ превзошел мои самые худшие опасения и ожидания, и я была положительно подавлена твоим письмом. Получила твои письма третьего дня и до сих пор не могу опомниться.

Службу не могу найти уж больше полгода. Но нуждаюсь не особенно. Учусь я сейчас в балетной школе, говорят, подаю надежды. Выучила почти все характерные танцы, как напр. матросский, восточный, русский, испанский и т. д. Может быть, через несколько месяцев мне удастся начать выступать где-нибудь в театре легкого жанра или летних садах. Но не знаю, удастся ли мне это — хотя увеселительных мест в Москве развелось за последнее время масса, но артисты даже государственных театров «халтурят» в них и конкуренция очень велика. На днях думаю пойти с предложением своих услуг к твоему старому знако-

мому Кошевскому, который имеет здесь в Москве кабаре, которое называется «Не рыдай».

Если бы ты выразил желание приехать обратно,— я думаю и даже имею всякие основания утверждать, что большевики бы восстановили тебе твой дом и оплачивали бы хорошо твой труд. Об этом говорили несколько месяцев тому назад с Иорданским в Кремле... А так как ты еще вдобавок знаком с Луначарским, то тебе стоит только написать ему.

Если будешь писать маме, пожалуйста, ей ничего не сообщай о том, что я тебе писала сейчас об Иорданском, она может ко мне привязаться за то, что я тебе сболтнула лишнее. Может быть, это не в их планах, чтобы ты знал, что твоего возвращения жаждут. Что касается мамы, то она с Иорданским последние два-три года живет на редкость счастливо, гордится его патетической карьерой, вовремя с ним соглашается, бывает постоянно в Кремле, ругает белых, хвалит коммунистов. Живут они оба очень хорошо, ни в чем не нуждаются. Мама довольна своей судьбой, и твои предположения, что ей живется плохо с Иорданским в его «преображенном виде», очень далеки от истины. Они оба стали такими примерными супругами на старости лет, что остается только удивляться,— никогда не ссорятся, воркуют как голубки...

Не помню, писала ли я тебе о судьбе твоего дома в Гатчине, о твоей обстановке и рукописях. На всякий случай вкратце повторю. Недели через три или через месяц после твоего отъезда из Гатчины, когда все немного успокоились, я была там. В твоем доме жили солдаты, в твоем кабинете помещался военком этих солдат, человек довольно интеллигентный, с которым я долго беседовала. Твои черновики и рукописи он намерен был сдать Народному комиссариату просвещения и обращался с ними бережно. Ничего из вещей мне взять на хранение не разрешили.

Ты спрашивал, кто я — Куприна или Леонтьева? Я и Леонтьева и Куприна. Для удобства я сделала себе двойную фамилию, и где нужно — я Куприна, а где нужно говорить фамилию Леонтьевой — я Леонтьева. Те люди, которые меня хорошо знают, знакомы давно, зовут меня Куприной. Те люди, с которыми я знакомлюсь мимолетно,— зовут меня Леонтьева...

А пока всего доброго, мой дорогой папочка, поцелуй от меня Ксенечке и тете Лизе. Ответь пожалуйста поскорее,

буду ждать с нетерпением. Твоя тебя любящая дочь».

Через некоторое время пришло письмо от М. К. Иорданской. Ее муж был назначен послом в Италию.

«Дорогой Сашенька, посылаю тебе письмо с очень хорошей оказией — с человеком, на которого можно вполне положиться. Я бы давно уже по приезде сюда написала тебе, но не слишком доверяю итальянской почте и не хотела, чтобы письмо мое до тебя не дошло. От Ник. Сем. Клестова[1] ты уже знаешь о том, что Лидочка вышла замуж. Муж ее кажется мне очень порядочным человеком и любит ее очень. Когда появится младенец, то Лидины капризы и всевозможные причуды несомненно исчезнут, т. к. инстинкт детоводства в ней чрезвычайно силен и она наверно будет очень заботливой и любящей матерью. Я пересылаю тебе ее два письма ко мне сюда, по ним ты составишь себе представление о ее жизни.

Теперь, дорогой Сашенька, вот что: каковы мысли твои и чувства о возвращении в Россию? Я уверена в том, что не подведу тебя и ни перед кем не скомпрометирую. Я прямо и откровенно спрашиваю тебя, что ты по этому поводу думаешь, потому что вряд ли эмигрантское существование может тебя удовлетворять. Эта жизнь пауков в банке с ссорами, сплетнями и интригами не для тебя, и длится уже слишком долго. Ты не пишешь давно. «Однорукий комендант» — прелестная художественная миниатюра прекрасной работы, но весь неподражаемо тонкий юмор этой вещи вряд ли был по достоинству оценен заграничной печатью. Грубые лубочные эффекты, на которые не скупится теперь Ванечка Бунин, наверное имеют большой успех среди белых читателей. Еще бы: «Смерть, в доспехах и зубчатой короне... с разбегу всадила под сердце Распятого железный трезубец»... Действительно разбежался Ванечка, но немного все-таки до Флобера не добежал...

Все это я пишу тебе, милый Саша, потому что мне хотелось бы, чтобы ты подумал над своим положением и решился наконец на другое. Я не имею решительно никаких полномочий ни от кого относительно каких бы то ни было переговоров с тобой о твоем возвращении в Россию. Пишу я тебе сама, по своему непосредственному чувству и желанию и без чьего бы то ни было ведома. Но если то, что я пишу тебе, находит в тебе отзвук, то я могу частным обра-

[1] Н. С. Клестов-Ангарский — известный публицист, марксист, литературный критик, издатель.

вом навести справки, возможно ли твое возвращение. Я вполне верю тебе в том, что ты не станешь распространяться ни с кем о моем письме, так же как и я со своей стороны конечно никого не посвящу в нашу переписку. Напиши мне пожалуйста подробно, как ты живешь и что делаешь, как здоровье Лизы и Ксении.

Целую тебя и Лизу крепко. Маша».

Куприн ответил следующее:

Февраль 1923 г. Париж

«Ты совершенно права, мой ангел Машенька: существовать в эмиграции, да еще русской, да еще второго призыва — это то же, что жить поневоле в тесной комнате, где разбили дюжину тухлых яиц. В прежние времена, ты сама знаешь, я сторонился интеллигенции, предпочитая велосипед, огород, охоту, рыбную ловлю, уютную беседу в маленьком кружке близких знакомых и собственные мысли наедине... Теперь же пришлось вкусить сверх меры от всех мерзостей, сплетен, грызни, притворства, подсиживания, подозрительности, мелкой мести, а главное, непродышной глупости и скуки. А литературная закулисная кухня... Боже, что это за мерзость!

А все же не поеду. Звала меня очень Лидуша, пел Масленников, ты вот советуешь, тебе я всего охотнее верю. Последний был милый передатчик твоего письма. «Работать для России можно только там. Долг каждого искреннего патриота — вернуться туда». В этой фразе много верного, но все-таки это — фраза. Там теперь нужны фельдшеры, учителя, землемеры, техники и пр. и пр.

Что я умею и знаю? Правда, если бы мне дали пост заведующего лесами Советской Республики, я мог бы оказаться на месте. Но ведь не дадут?»

20 ноября 1923 г.

«Дорогой Сашенька, большую радость доставило мне твое письмо. Я уже перестала ждать от тебя известий, но оказалось что Алекс. Макс.[1] до последнего времени не имел случая видеться с тобой и письмо мое ты получил с большим запозданием. Посылаю тебе опять Лидины письма. Последние две недели она мне не писала: обиделась за кофточки... Но вчера пришло письмо от Коли[2], он пишет, что на днях был у Лиды — сейчас у нее расцвет семейного

[1] Горький.

[2] Николай, сын Иорданского.

счастья, она все время капризничает, а муж за ней заботливо ухаживает. Она сшила для будущего младенца пять различного размера чепчиков и кажется считает на этом приготовления приданого законченными. Тетя Оля подарила ей «серебро» — две чайные ложки, одну с ее инициалами, другую с инициалами ее мужа. Вот и все ее свадебные подарки. По правде говоря, я и не думала, что «судьба ее вынесет», слишком мне казалось, что она опустилась. Но ведь и то сказать, что оставалась она последние годы, когда мы жили по заграницам, совсем одна как бездомная собачонка, голодала и холодала. Единственно кто все время морально и материально, по мере своей скудной возможности, поддерживал ее, так это Коля. Если я не была в свое время для него плохой мачехой, то судьба за это вознаградила меня его отношением к Лиде. А теперь без меня Клавд. Никол. (Колина мать, она врач) присматривает за Лидиным здоровьем и конечно позаботится о ней во время родов. Вот видишь, Сашенька, как с годами неожиданно поворачиваются отношения... Дай бог, чтобы ребеночек родился живой и здоровый, тогда может быть уже определенно можно будет сказать, что ее судьба вынесла.

Твои соображения относительно невозвращения в Россию мне не кажутся убедительными... Сидел бы ты просто снова у себя в Гатчине, а издатели по-старому приезжали бы и просили хоть что-нибудь дать для нового сборника или еженедельника. Литературный заработок оплачивается сейчас в России лучше других — автор же с твоим громадным именем и дарованием будет конечно зарабатывать столько, сколько захочет...»

28 августа 1923 года Лида пишет своей матери в Италию.

«Дорогая мамочка, на днях Сергей Григорьевич по тел. известил меня о получении от тебя посылок. Я получила свою посылку и письмо, а Коле занесла его посылку и деньги.

Никак не ожидала получить от тебя посылку так скоро и была очень тронута такой заботливостью с твоей стороны. Большое спасибо тебе за все, что ты мне прислала. Ты, видимо, хорошо знаешь теперь мой вкус — лучшую посылку нельзя было и придумать.

Погода в Москве стояла и стоит все время отвратительная, так что я завидовала тебе, читая описания 36° жары. На твоем месте я купалась бы по несколько раз в день и

была бы счастлива. Живем мы с Борей по-прежнему, скука смертельная. Скоро я наверно сойду с ума. У нас часто бывает Коля и режется с Борей в шахматы.

...Сижу все время дома. Изредка заглядывает к нам кто-нибудь из знакомых. Младенцу моему уже около 5-ти месяцев, и он начинает время от времени проявлять признаки беспокойства. Торжественное событие произойдет по всей вероятности в январе или феврале.

Мы с Борей окончательно устроились на Малой Царицынской. В комнате у нас довольно уютно. Боря достал большой письменный стол, а я сшила на окна занавески с кружевами, а сверху повесила подобие портьер — у нас в дивизионе никто не имеет так хорошо обставленной комнаты, как у меня и Бори. Твой ящик мы превратили в чайный столик и на нем стоит самовар. Я много работаю. Сама стираю мелкие вещи, мою пол, много шью и даже полюбила шить, надо к шитью только привыкнуть...»

Последнее письмо Лиды к своей матери очень мрачное. С мужем она постоянно ссорилась, была часто к нему несправедлива. Он болел, имел служебные неприятности... Никакой, кроме военной, специальности у него не было. Из занимаемой квартиры их должны были выселить, но куда выезжать, неизвестно, так как жилищный вопрос обострился. Последние месяцы беременности Лида переносила трудно.

В конце января 1924 года она родила сына Алексея и вскоре разошлась с мужем. А 23 ноября 1924 года Лиды не стало. Она оставила десятимесячного сына.

Алеша воспитывался у своего отца.

Когда мои родители вернулись в 1937 году на родину, отец Алеши привел к Куприну в гостиницу «Метрополь» его тринадцатилетнего внука.

Моя мама очень привязалась к Алеше. После смерти отца она официально передала ему половину авторских прав.

В 1942 году Алеша был призван на военную службу, он попросился на фронт. Воевал Алеша в минометном полку под Ленинградом. Мама отправляла ему посылки, что в то время было почти невозможно. Когда он был ранен, она послала Алеше шубу Александра Ивановича.

Перед самым концом войны он заболел острым суставным ревматизмом, поразившим сердце. Умер он в 1946 году, двадцати двух лет от роду.

Глава XIX

ФРАНЦУЗСКАЯ ПРЕССА

В 1922 году вышел на французском языке «Поединок» под названием «Le duel». Он был уже переведен на французский язык в 1905 году под названием «La petite garnison russe»» («Маленький русский гарнизон»), но тогда не имел большого резонанса. Затем вышли в том же 1922 году «Гранатовый браслет» и «Суламифь», за ними в 1923 году последовала «Яма», которой дали довольно странное название для рекламы и привлечения покупателей — «La fausse daux filles» («Яма с девками»). «Яма» имела большой успех, последовало несколько новых тиражей. Затем в 1923 году вышел «Белый пудель» в карманном издании, так называемом «Le livre de poche», появились «Штабс-капитан Рыбников», «Морская болезнь», «Листригоны» (1924 г.) и «Олеся» (1925 г.).

«Листригоны» были изданы издательством «Морнэ» ограниченным тиражом с гравюрами русского художника Лебедева.

Кроме «Суламифи» и «Олеси», которые были переведены неким Семеновым довольно слабо, все остальные переводы блестяще сделал Анри Манго.

Переводчиком Анри Манго стал совершенно случайно. В молодости он приехал в Россию как представитель французской парфюмерной фабрики. Женился на русской девушке, обрусел и остался. Язык русский он изучил в совершенстве. Но, когда началась первая мировая война, Анри Манго почувствовал себя французом и вернулся на родину.

После войны он занялся переводами, и в нем открылся настоящий талант, призвание.

Анри Манго был очень дотошным переводчиком. Иногда он неделями искал, справлялся, выяснял, встречался то с военными, то с рыбаками, то с бродягами, чтобы найти именно те слова, которые хотел выразить Толстой, Достоевский или Куприн. Он часто обращался к Александру Ивановичу с просьбой разъяснить то или иное выражение. Например: «При чтении «Преступления и наказания» попал я на следующую фразу, которая требует объяснения. Свидригайлов рассказывает Раскольникову историю своей женитьбы. Он говорит: «Дело в том, что она была значитель-

но старше меня, и кроме того постоянно носила во рту какую-то гвоздичку». Как надо понять это выражение? В прямом смысле? Гвоздичка — girofle?»

Или Манго обращается к маме:

«Еще одна просьба. У вас наверное есть знакомые живописцы. Не можете ли вы узнать через них точное значение выражения «Снимать покровы» в прилагаемой стр. Толстого, кажется, couche de peinture. Но тут что-то не то. Помогите ради бога».

Манго вскоре стал нашим большим другом. Его милую жену Анну со свежими розовыми щеками отец называл «Анютины глазки». Она была отличной поварихой и, смеясь, рассказывала, что свадебным подарком жениха были 24 поварские книги. Впоследствии Манго перевел Достоевского и потом Толстого. Умер он, чуть-чуть не закончив перевода «Войны и мира».

Французские рецензии на произведения Куприна были многочисленными и разнообразными, тогда многие сравнивали моего отца с Мопассаном.

Большинство критиков проявляет полное непонимание русской литературы и лишь отдает дань моде. Чтобы иметь какое-то представление об этих критических выступлениях, думаю, небезынтересно привести некоторые рецензии.

«Совсем недавно, только недавно, французский читатель почувствовал интерес к произведениям, рождающимся за лингвистическими границами нашей маленькой земли.

Русское открытие совершилось в свой час.

Много раз повторяют, что Россия — это «сущность» вне анализа. (Но подумали ли вы о взаимности этого факта?) Еще долго будут говорить и писать о Толстом, Достоевском, Чехове: для западных чрезмерников здесь находится широкое поле для выдумки.

Но все-таки получилось, что такой писатель, как Куприн, завоевал сразу расположение французского читателя. Он такой же русский, как названные выше; его чувствительность также отделяет его от нас, ставит его рядом с ними и его несомненная ценность дает ему право быть в первых рядах русской литературы. Большой писатель и все-таки не похожий на них. Чисто человеческой разницей. Он менее описательный, чем Достоевский, менее подвержен идеализму, чем Толстой, но явно более интеллектуален, чем

Чехов. Иначе сказать, он обобщает преобладающие черты всех трех в единый человеческий образец, тем самым исправляя их излишества и недостатки. У него преимущество быть человеком.

«Поединок», появившийся в 1904 году, был событием. Под видом романа из собственной жизни мы находим психологический этюд, достойный Стендаля.

Александр Куприн больше всего любит бытовые новеллы и сказки. Мопассан? Нет. Он более человечен, более чувствителен, менее стремится к известной психологической или эстетической позе. Без шор. Человек перед жизнью. Голой жизнью со всей бесконечностью оттенков. Тем самым он поэт и большое сердце.

Г. Ж. Арнольд».

«Спасибо издательству «Морнэ», так хорошо оформившему «Листригонов» Куприна. Замечательные гравюры Лебедева сопровождают тексты, сливаются с ними и воспроизводят душу и декорацию повествования.

«Листригоны» — это морское население Крыма. Серия картин невероятной выпуклости и чувственности оживляет их. Слышно, как поет море, видишь, как качаются пьяные рыбаки, вдыхаешь алкоголь, рыбу и соленый ветер открытого моря. Том дополняют три рассказа. Два очень хороши. Третий очарователен. Рядом с маленьким рысаком бьешь копытом, ржешь, шумишь, понюхиваешь овес, вдыхаешь ароматы сена и навоза. Короткая карьера Изумруда — прелестная история.

Я не думал, что можно до такой степени познать лошадиную душу.

Андре Лихтенберже»[1].

«Победа», 26 октября 1924 г.

По этому поводу мне вспоминается рассказ Ф. Д. Батюшкова о Куприне (стихийный талант). «Однажды в деревне, в Новгородской губернии, возвращались мы из какой-то поездки к соседям верхами. Подъезжая к усадьбе, я заметил потраву: чья-то лошадь забралась в овес. Я спешился, чтобы прогнать лошадь, но Александр Иванович подхватил ее за челку и привел в дом. Сел на нее верхом, заставил подняться по ступеням балкона и, как капризный ребенок, настоял, чтобы ее оставили ночевать в доме. При-

[1] Автор слащавых романов.

вязав лошадь около своей кровати, он сказал: «Я хочу знать, когда и как лошадь спит,— хочу с ней побыть». На другой день повторилась такая же история, но приведена была другая лошадь. Александр Иванович за ней ухаживал, кормил, поил и решился прекратить свои опыты лишь тогда, когда его спальня пропиталась запахом конюшни».

Принципиально французы признают только французское и признать у Куприна французские качества кажется им самой большой похвалой. Вот яркие примеры.

«Куприн один из самых больших современных русских писателей. Он один из тех, которых изгнание привело во Францию. Персонажи очень русские по их суевериям и грубости и по точному описанию, сделанному Куприным, но без обычных украшений русского романа из России: душевная тоска, сентиментальный алогизм, пристрастие к самоубийству и т. д.

Есть своеобразность и таинственность в истории этой молодой «ведьмы», живущей в лесу, но нет причудливости.

Да, Куприн жил во Франции!

Журдан Куп-Папье»
«Журнал», 15 июля 1925 г.

Господин Куп-Папье (псевдоним) не подумал, что «Олеся» была написана за долгие годы до эмиграции и пребывание во Франции никак не могло повлиять на отца.

«Достоверные они или нет, но мы любим этих потомков листригонов из Одессы. Мы их любим уже потому, что их любит Куприн. Несмотря на то, что автор живет вместе с ними, в этой прекрасной книге не чувствуется болезненного индивидуализма, в котором, вероятно, заключается главная сущность славянского обаяния, напрягающего донельзя наши нервы. Нет пессимизма, так притягивающего и раздражающего нас в некоторых страницах Толстого и почти во всех страницах Достоевского, Чехова и Андреева.

Тонус морского воздуха, подкрепляющий шквал, безмятежность спокойных вод передаются этому маленькому произведению, которое, по правде сказать, не повесть, а ряд сцен на фоне моря, и придают ему счастливую атмосферу, которая нам кажется не русской — настолько русские книги приучили нас к зрелищу страданий.

Я разумею книги последнего полстолетия. Моментами, читая «Листригоны», я думал о «Мертвых душах». Есть что-то французское, я даже скажу, галльское в таланте А. Куприна.

Огуст Дюпуи».
«Демократия», 14 мая 1925 г.

Эдмонд Жалу[1] утверждал, что Куприн по сравнению с другими русскими писателями менее чужд французскому читателю и легче воспринимается. Говорили также, что некоторые страницы «Поединка» напоминают Стендаля и что в «Суламифи» чувствуется влияние Флобера.

Все рецензии и отклики отец старательно вырезал и вклеивал в альбомы, иногда возмущался, иногда посмеивался. Несмотря на выход в свет многих произведений А. И. Куприна, это не принесло материального благополучия, а только временную передышку от всегда стоящей за спиной нужды. Контролировать французских издателей было почти невозможно, а тем более судиться. Из-за отсутствия международной конвенции многие переводчики в других странах, как, например, в Австрии, Италии, Испании и т. д., не считали нужным обращаться за разрешением к автору. Гонорары, выплачиваемые французскими издателями, считались как бы данью уважения и честности по отношению к несчастным эмигрантским писателям, которых любезно приютила Франция. Конечно, если бы Куприн был на чужбине более плодовит, то написанные им произведения были бы «copyright»[2]. Но Куприн мало писал, и еще меньше такие романы и повести, которые могли бы иметь коммерческий успех у иностранной публики. Мода на русских быстро прошла, и непонятная русская душа продолжала звучать только в русских романсах, в многочисленных ночных кабаках.

Вот почему было отправлено такое горькое письмо моего отца Заикину в 1929 году.

«В декабре этого года будет 35 лет, как пишу, пишу, пишу, накатал 20 томов, с политикой еще больше. Знаком каждому грамотному человеку в мире, а остался голый и нищий, как старая бездомная собака».

Иностранец всегда остается во Франции иностранцем, а если его пребывание вынужденно продлевается, то он просто становится нежелательным.

---

[1] Известный французский критик и писатель.

[2] Английское слово, означающее, что книга — под защитой авторских прав, и ее никто не может без разрешения печатать или переводить.

В Париже бедность, нищета или безденежье — понятия разные. Между бродягой, у которого нет нескольких грошей, чтобы пойти в ночлежку, и который спит на скамейке в скверах или под мостами, и людьми, привыкшими к некоторому комфорту, испытывающими безденежье, есть громадная разница. Французский бродяга предпочитает купить литр вина и спать «à la belle etoile» (при свете прекрасной звезды), то есть на свежем воздухе.

Есть бедность, скрытая за закрытыми ставнями, при самой свирепой экономии на всем, чтобы только никто не заметил, никто не заподозрил тяжелого положения. Это больше относится к французам.

Я знала одного разорившегося графа, у которого лакей в белых перчатках подавал по полсардинки на закуску. Граф повторял, что он ужасно беден, но отпустить лакея ему не приходило в голову.

В Советском Союзе, где никто не голодает и не испытывает стыда за простоту обстановки или одежды, трудно понять психологию буржуазного общества, в котором плохо одетая девушка не может найти место секретарши или продавщицы в магазине, а улыбка обязательна при любых обстоятельствах. Сознаться в трудном положении равняется потере друзей, друзей, разумеется, в кавычках.

В 1955 году я как-то встретила в Париже одну богатую праздную даму. Она спросила меня — как жизнь? Я ответила, что работаю переводчицей... Дама воскликнула:

— О! Дорогая, бедная! Как низко вы пали!

Русские обычно жили в эмиграции очень скудно и, если экономили, то только чтобы раз в месяц, или в шесть месяцев, или даже раз в год погулять, как следует угостить, по-русски, с размахом.

Что значила наша бедность в эмиграции? Это неопределенный заработок, неумение предвидеть безденежную полосу и распределить случайно полученные деньги от переводов. Из-за этого вдруг не хватало средств, чтобы заплатить за квартиру, газ, электричество. Открытый кредит в лавочках был настоящей катастрофой, слишком легко набиралось лишнее — и оттого многочисленные долги и неприятности, заколдованный круг, из которого почти никто из эмигрантов не умел вылезти.

Это не было нищетой в полном смысле этого слова, в подвале, со свечой и куском черствого хлеба. Но не оставляли вечная тревога за завтрашний день и надежда на

чудо, надежда, что вдруг примут у отца сценарий в кино, вдруг я получу блестящий ангажемент или выиграем в лотерею.

Беспорядочная жизнь русских вызывала у французов полное презрение и пожимание плечами. Конечно, в России, когда отец так жаловался на бедность и часто закладывались, как он называл, «бебехи», мы жили все-таки шире и беспечнее.

В Париже, чтобы иметь хоть какой-нибудь постоянный заработок, отцу приходилось соглашаться на редакционную деятельность в газетах и журналах, чуждых ему по своим политическим позициям.

Страх за завтрашний день в чужой стране часто заставлял людей браться за претившую им работу и принимать подачки от меценатов.

Глава XX

ЭМИГРАНТСКАЯ ПРЕССА

В начале 20-х годов в Париже жили сотни тысяч эмигрантов. Куприн всегда плохо разбирался в политике, был в ней наивным дилетантом. Интеллигенция, к которой Куприн был раньше настроен достаточно критично, теперь казалась ему несправедливо обиженной большевиками. Это объединило его с литературной эмиграцией, открыто враждебной к Советской власти. Эмиграции нужен был такой союзник.

Редакционная деятельность совсем не была в характере Александра Ивановича. Каждодневное корпение над чужими рукописями, необходимость отказывать бездарным писакам с молящими глазами, быть посредником между разгневанными писателями и бесчестными хозяевами — все это отец терпел ради твердого заработка, уговаривая себя, что он в гуще событий.

Но это продолжалось недолго. Вскоре Куприн отошел от политики, осуждая и осмеивая эмигрантскую полемику в печати. Он писал, что она полна «...мерзости, сплетен, грызни, притворства, подсиживания, подозрительности, мелкой мести».

Смешно описывает известный французский журналист

Стефан Лозан первоначальную деятельность эмигрантской «Русской газеты»[1].

«Это был маленький винный погребок. Вообще все маленькое на улице Роже Колар. Маленькая цинковая стойка была освещена скудным светом. За стойкой подавались маленькие стаканчики. Только два стола были в этом маленьком помещении. Один — для случайных посетителей, другой был предоставлен для редакции «Русской газеты». За этим столом сидел человек с растрепанными волосами и с глубокими мягкими глазами. Мне его представили:

— Александр Куприн.

Я не мог скрыть своего удивления.

— Как! Александр Куприн — автор «Поединка»! Писатель, может быть, самый тонкий в современной России. Человек, романы которого были переведены на все языки!

— Да,— сказал мне Филиппов (редактор газеты): он не смог удержать естественного жеста гордости.— У нас первая эмигрантская редакция в мире, и на наших заголовках красуются имена самых больших писателей нашей страны... Бунин — академик и автор «Жериковские розы», наш Лоти, Лукаш, любимец читателей, профессор Бернадский — бывший министр финансов России, Шульгин, Александр Черный, Сергей Горный, Первухин и Стратонов. Все они представляют литературную, интеллигентную, юридическую Россию... Да, все те, которые представляли мозг России, сегодня в изгнании, и этот листок бумаги, который вы держите в своих руках, это последняя связь, которая нас всех соединяет. Все, все считают за честь сотрудничать в нашей газете...

— Они, конечно, пишут только ради чести?—перебил я.

— Они пишут ради чести,— говорит Филиппов,— и, все-таки, наша ежедневная группа оплачивается. Главный редактор получает 800 франков в месяц. Последний из рабочих получает 600 франков.

— 600 франков — это не очень много.

— 600 франков,— молвит Филиппов,— это очень хорошо, это дает возможность жить...

Деликатный стук в дверь. Восемь часов. Это час, когда полосы должны быть посланы в типографию.

На ведущей в гору улице Роже Колар крепкий мужчина ждал, уже запряженный в плохонькую тачку. «Это бывший гвардейский офицер»,— шепнул мне кто-то на ухо.

[1] Перевод К. А. Куприной.

Сильным рывком бывший гвардейский офицер потянул тачку и пропал с нею в ночи, унося четыре тяжелые страницы из свинца, над которыми все эти люди работали 12 часов и вложили, я не знаю, какую смесь и пота и души».

Первые номера другой эмигрантской газеты, «Общее дело», редактируемой Бурцевым[1], вышли на французском и русском языках. Но после нескольких номеров, не оправдавших надежд, газета стала выходить только на русском языке.

Бурцев был фанатиком, он верил, что помогает «спасать Россию», яростно нападал на большевиков.

Отец начал сотрудничать в газете «Общее дело». Первые статьи появились уже в конце июля.

Несмотря на то что его окружали яростно настроенные против Советской власти политиканы, а в газете печатались провокационные слухи, в фельетонах Куприна проскальзывают такие фразы:

«Русский мужик далеко не косен, видно уже из того, что во многих деревнях, где есть неподалеку движущая водяная сила, местные Кулибины... проводят в избы электрическое освещение. Этого никогда раньше НЕ МОГЛИ БЫ ДОБИТЬСЯ НИ ПОМЕЩИК, НИ «АГРОНОМ», НИ САМ Г. ИСПРАВНИК»[2].

Рассказывали, что Бурцев умер в Париже, в годы немецкой оккупации. Старик продолжал неутомимо ходить по опустевшему, запуганному городу, волновался, спорил с пеной у рта и доказывал, что Россия победит, не может не победить...

В «Общем деле» появились две статьи о политической грызне среди эмигрантов. В одной говорится, что все политические партии, существующие в эмиграции, раскололись на фракции и группы, ведущие между собой борьбу.

С февраля 1921 года до июля А. И. Куприн сотрудничал в иллюстрированном беспартийном еженедельнике «Отечество». Редактором его был Набиркин. По письму Куприну Евгения Николаевича Чирикова[3], находившегося в Софии, можно судить, как относились большинство писателей к Набиркину и как трудно приходилось отцу с его

---

[1] В. Л. Бурцев, правый эсер, известный разоблачением Азефа.

[2] А. И. Куприн. Внутри России.— Газ. «Общее дело» (Париж), 1920, 24 июля.

[3] Е. Н. Чириков — прозаик и драматург.

мягким характером и политической растерянностью быть между хозяевами журнала и братьями-писателями. Вот это письмо.

«Дорогой Александр Иванович! Только вчера написал Вам сердитое письмо, а сегодня получил от Вас. Не сердитесь за раздражение, которое слышите в первом письме: уж больно трудно живется нашему брату-писателю. Нам, пребывающим в Болгарии,— особенно. Нас двое — я и А. М. Федо́ров. Здесь невозможен литературный заработок, лекции, вечера или нечто подобное. Привыкли к даровому литературному труду... Специальный партийно-кружковой и даже персональный интерес — нам там делать нечего. Лекции привыкли слушать тоже даром... Занять денег негде, не у кого. Издательства, кроме одного прогорающего Роса-Болгарского, нет — издаваться негде. Так что гонорар издали — единственные средства и надежды. Пишется, как сами знаете, теперь туго, мало... И вот при таких обстоятельствах приходится еще выклянчивать даже не аванс, а свой заработанный гонорар!.. Пишешь, просишь, умоляешь, но дать ответа не удостаивают твои друзья-писатели! И поневоле берет раздражение...

Печально, конечно, что Вы сочетались с Набиркиным, у которого гонорар надо получать только хватанием его за горло. При таких условиях, конечно, не только сотрудничать, но и редактором быть не подобает. Меня, попрошу Вас, Александр Иванович, я попрошу сейчас же вычеркнуть из списка сотрудников, да в № 4 я уже не красовался. Откровенно говоря, я даже боюсь, что г. Набиркину русские писатели в его «Отечестве» были нужны вовсе не с литературными целями, а какими-то иными... я, ведь, полагал, что Вы знаете этого человека...

Однако дарить ему гонорар за свой рассказ мне вовсе не хочется. Если же предложенные мне Вами в письме условия — 1 фр. за строку — есть величина мнимая и Вы не имели права ее устанавливать, приглашая сотрудников, вообще это Ваша редакторская промашка, то я согласен не спорить за эти условия... Во всяком случае я надеюсь, что Вы отстоите мне 175 франков. Думаю, что Вам при таких условиях нельзя быть редактором, а тогда, конечно, нельзя быть сотрудниками и всем писателям, кои пошли исключительно на Ваше имя. Не забудьте о сем, дорогой Александр

Иванович, при своем уходе. Ах, как бы был нужен беспартийный — настоящий русский национальный журнал и газета!.. Неужели «Нац. Съезд» не будет иметь общих объединяющих литературных органов?.. Беда: негде печататься!.. С Монаховым в съезд, с Керенским, с Черновым идти невозможно, с «Волей России»—подавно, «Русская Мысль» села на мель, «Совр. Зап.» все-таки в своих обозрениях журнал партийный... Некуда!.. Неужели без Набиркиных нам не обойтись?! Прямо берет отчаяние... Неужели во всей совокупности имен мы не представляем такой ценности, чтобы нашелся русский капиталист с демократическим уклоном, который пошел бы на крупное и значительное предприятие? Грош цена тогда такому национально-патриотическому подъему!..

Осенью перебираюсь жить в Прагу. Дело за деньгами. Для сына нужен политехникум, а здесь его нет. Придется очень невыгодно продать свой новый роман в Германии.

Ну, жму руку и желаю набить морду Набиркину.

Ваш Евгений Чириков.

Привет «братьям-писателям».

Письмо Н. А. Тэффи А. И. Куприну.

Понедельник

«Дорогой мой друг милый Александр Иванович!

Сердечно благодарю Вас за милое внимание. Конечно, очень уж мало они предлагают. Меньше 100 фр. трудно брать за рассказ, тем более, что я так мало продуктивна. Поторгуйтесь, миленький, за меня. И если они согласны, пусть пришлют небольшой авансик — и я тотчас вышлю им что-нибудь.

А я сейчас больна — лежу уже несколько дней. А Вы сегодня верно у Эльяшевичей[1]? И я была бы, да вот пришпилил бог к постели.

Мой сердечный привет милой Елизавете Маврикиевне и Кисе.

Сердечно преданная Вам Тэффи.

Сейчас увидела, что на одной страничке повторила 3 раза слово «сердечный». Это...»

Александр Иванович совсем перестал вмешиваться в эмигрантскую политику и если и сотрудничал в «Возрож-

[1] Семья преуспевавшего во Франции адвоката.

дении» (нефтяника Гукасова) и в «Последних новостях» (Милюкова), то исключительно с беллетристикой. Как к этим органам относились старые знакомые Куприна, видно по письмам Амфитеатрова и Лазаревского.

1926. XII. 22

«Дорогой Александр Иванович!

Очень обрадовали Вашим письмом. А то, откровенно сказать, у меня еще с Праги 1922 г. была подозрительная мыслишка, будто Вы на меня за что-то обиделись и дуетесь, хотя никак не мог придумать, за что. Ибо и к Вам лично, и к громадному таланту Вашему я всегда относился с величайшей любовью, и, кажется, никаких неприятных трений между нами и интересами нашими никогда не бывало...

...Что Вы поделываете, что и где пишете? Когда-то я получал «Русское время» и читал Ваши публицистические выступления. Но сейчас, правду сказать, даже не знаю, издается ли еще «Р. Вр.»? А в других газетах Вас не видать.

Ах, и не говорите мне о «Возрождении»! Более бездарного ведения газеты при больших возможностях успеха я не запомню. Разве «Новости» Нотовича — помните? Скучно у них работать до тошноты. Не знаю, внесет ли какое-нибудь оживление в дело новая перетасовка редакции, о которой писал Зайцев. Я думаю, что по-прежнему пирожники будут тачать сапоги, а сапожники печь пироги, тщательно не подпуская к газете «спецов» газетного строительства. Да уж хоть бы порядком в деле искупалась его бездарность, а то — хаос...

Да, имей я в распоряжении мало-мальски приличный капитал, чтобы на первых порах не морить с голоду семью, сотрудников и себя самого, охотно тряхнул бы стариною и думаю, что сумел бы сделать дело. Но бодливой корове бог рог не дает.

До свидания. Желаю Вам всего хорошего. Поздравляю с Рождеством и Новым Годом, покуда нового стиля. Впрочем, уже и до наших недалеко.

Ваш А. Амфитеатров».

Письмо Б. А. Лазаревского[1] А. И. Куприну.

2/X—27 г.

Дорогой Александр Иванович!

Ты не ответил мне на письмо. Когда можно зайти? Выздоровел, но душе скучно, не могу работать.

В «Возрождении» — Семенов ласков и чуток, но Маковский и Ходасевич[2] выжили Сургуча, выжили и меня...

Если побыть 1 час в редакции, то сразу это слышно.

Как на улице против венерических заболеваний раздаются листочки с рекламами Боктиров,— так в издательстве здесь тычут этого Ходасевича, журналиста и поэта, но нездорового, с узенькими глазами, скупого и непоэтичного. Противно. Идти некуда... Я, как пес слышит злую кошку, слышу злость этих Ходасевичей и Маковских и вымученность их «поэзии». Некуда деться, а жить только для брюха — тоже не интересно.

Твой Борис.

Ты пойми: Ходасевич редактор для меня...

Последней редакционной работой Куприна была «Иллюстрированная Россия», еженедельник, руководимый неким Мироновым. С политикой к тому времени Александр Иванович окончательно покончил. Это сотрудничество продолжалось до 1933 года.

Письмо Куприна к И. Шмелеву.

Дорогой Иван Сергеевич,

Когда Вы получите это письмо, то наверное Ваш гонорар уже будет у Вас. Очень прошу Вас не гневаться на меня за такое долгое замедление.

Суть в том, что в редакции я самый последний и почти ничего не стоящий винт.

Завтра напишу Вам о всех грустных и гнусных подробностях, ибо понимаю хорошо Ваше законное негодование.

Ваш сердечно
А. Куприн

(Получено 15. V. 1932).
И. Ш.

---

[1] Б. А. Лазаревский, литератор.

[2] В. Ф. Ходасевич, поэт и литературный критик.

Глава XXI

«ЖАННЕТА — ПРИНЦЕССА ЧЕТЫРЕХ УЛИЦ» И «Ю-Ю»

В 1923 году, после неудачной попытки восстановить в парижском пригороде условия милой зеленой Гатчины, наша семья — отец, мать и я — переехала в Париж. Поселились мы на некоторое время у вдовы Збышевской, гатчинской знакомой, на улице Ренеляг. Мы сняли у нее две странные комнаты с резными потолками и окнами с цветным витражом, отчего нам казалось, что живем в церкви.

Помню, как к нам приезжал князь Юсупов[1]. Тогда он меня поразил своей необыкновенной красотой. С Куприным они встречались в Париже только несколько раз. В то время в Париже объявился один очень шустрый жулик, который сфабриковал письмо якобы от имени Куприна, просившего помочь материально, по мере возможности, молодому, талантливому, но очень бедному автору. Кстати, письмо было написано с орфографическими ошибками. Молодой человек хвастал, что он в день зарабатывает больше, чем Куприн в месяц. Поймать его удалось Юсупову. Он единственный из многих жертв обратил внимание на ошибки в письме, а также на очень некультурный почерк. Юсупов немедленно позвонил моему отцу, вызвал полицию. Но потом оказалось, что по французским законам этот человек не был наказуем, так как ничего не вымогал силой и никакого преступления не совершал.

Запомнилась мне также смешная история с Юсуповым в Америке. Какая-то очень богатая американка устроила прием в честь князя и княгини Юсуповых. Тогда это было одной из сенсаций, а на сенсации модные салоны американских выскочек были очень лакомы. Эта американка провела весь день у телефона, звоня всем своим знакомым и умоляя их во время приема ни разу не упоминать слово «Распутин». В момент прихода Юсуповых, когда все уже собрались, американка торжественно объявила: «Князь и княгиня Распутины!»

В это же лето приезжал в Париж Ванечка Заикин. Он ходил по Парижу в косоворотке, как некий русский великан, на голову выше всех французов.

---

[1] Юсупов, один из богатейших людей дореволюционной России. Он был женат на племяннице Николая II. Участвовал в убийстве Распутина в декабре 1916 года.

Повесть «Жаннета — принцесса четырех улиц» зародилась в то время, когда мы жили у вдовы Збышевской, хотя была написана гораздо позднее.

Улица Ренеляг упиралась в бульвар Босежур, проходивший вдоль окружной железной дороги, за которой начинался Булонский лес. Перечитывая повесть, я вспоминаю воздушный переход в конце нашей улицы, газетный ларек с кислым запахом капусты, тряпья и свежей типографской краски и чумазую Жаннету с черной челкой и грязной мордочкой.

Помню маленькое кафе Бюссак, которое так часто посещал отец, страстно желая приобщиться к простым людям — каменщикам, плотникам и всякому рабочему народу, забегавшему в кафе выпить стакан вина или поиграть в карты в свободную минуту. У отца сложилась репутация вежливого, но непонятного чудака. Однажды, не имея денег, отец подарил мадам Бюссак свою книгу на французском языке с надписью: «Самой умной и красивой женщине Пасси».

Вскоре нам посчастливилось найти меблированную квартиру совсем рядом, на бульваре Монморанси, продолжении бульвара Босежур, вдоль железной дороги. Посчастливилось потому, что в то время Париж переживал жилищный кризис.

Десять лет мы прожили в этой квартире. Двери и окна двух комнат выходили в крохотный двухметровый палисадник, в котором упорно не приживались цветы несмотря на все старания отца, так любившего садоводство.

В конце длиннющего коридора находилась третья комната, кабинет отца, которую из-за зеленых обоев он называл своим аквариумом. Там он с трудом, а иногда тщетно, старался писать, чтобы заработать на нашу скудную жизнь.

Тогда же появился у нас новый, полноправный член семьи, знаменитый кот Ю-Ю, герой рассказа «Ю-Ю».

Первым прототипом Ю-Ю послужила кошка Катя, которая фигурирует также и в рассказе «Сапсан». В рукописном ненапечатанном варианте рассказа есть достоверная история Кати. Отец пишет:

«Это было в 18-м году. Приехал мешочник из Пскова, кум нашей бывшей стряпухи Катерины Михеевны, взял у нас за свиное сало заветную «штуку» кавказского зеленого крученого шелка и цейсовский бинокль в желтом кожаном

футляре. Потом пошарил глазами по кухне и наткнулся на Ю-Ю (Катю), которую знал уже четыре года.

«Вот бы кошчонку мне, товарищ барыня, продали или обменяли. Хороша кошечка! У вас она все одно с голоду подохнет, да и вы са... — как он не был глуп, но на этом скользком месте осекся и поправился: — да и лишний рот у вас».

Он был прав в своей обмолвке, могло быть действительно так и прийтись, что и она и мы... Но чем же кошка виновата? Продать ее мы не смогли. Выменять — тоже. И подарили.

А через год от этого Ефима пришло письмо Катерине, где после всяких «ще кланяюсь и кланяюсь...» было написано: «А товарищу такой-то с низким поклоном передай, что кошка ихня такой у нас красивой в деревне и не видали. Все бы хотели от нее котеночка но она с нашими котами не знается, гордо себя против их держит».

Вот и все о Ю-Ю (Кате).

А теперь у нас в Париже живет «кот-воркот, бархатный живот».

Этот кот-воркот и был Ю-Ю. Прожил он у нас десять лет, был известен всему кварталу за красоту и ум. Мы жили в первом этаже с окнами, выходящими в крохотный палисадник. Ю-Ю был настолько чистоплотен, что за своими маленькими делишками перебегал через дорогу в овраг, где проходила окружная электричка. У Ю-Ю была одна неприятная особенность, за которую его нельзя было наказать. Свои мышиные и крысиные трофеи он приносил домой и с гордостью клал на подушку одного из нас, уверенный в нашей радости.

Вечером Ю-Ю никогда не входил в дом, пока все члены семьи не вернулись, встречал у метро одного из нас, провожал до двери, а потом снова шел караулить. И только с последним возвращающимся Ю-Ю входил в дом.

Когда к нам приходили знакомые, отец непременно требовал, чтобы прежде всего здоровались с Ю-Ю за лапу, которую тот снисходительно протягивал.

Я заболела, когда мне было пятнадцать лет. Целый месяц я была при смерти, и Ю-Ю в самом деле пролежал на пороге до того времени, пока не миновала опасность. Потом меня отвезли в санаторий в Швейцарию.

Из санатория однажды мне срочно понадобилось поговорить с мамой, и я заказала телефонный разговор на три

минуты, на больше не хватило бы денег. Ответил отец и потребовал, чтобы я поговорила с Ю-Ю — ему хотелось проверить, узнает ли кот мой голос. Я ответила, что не могу тратить драгоценные минуты на глупости, умоляла позвать маму, но отец упрямо повторял: «Сначала поговори с Ю-Ю». Не помню, чем окончился этот разговор, но отец уверял, что с тех пор Ю-Ю стал спать, свернувшись клубочком вокруг телефона.

Однажды, когда Ю-Ю дремал в палисаднике, чья-то злая рука совершила бессмысленное убийство, запустив в него камнем. Смерть была мгновенной.

Десять лет гулял Куприн вдоль железной дороги, покупал газету в ларьке, переходил воздушную лесенку, чтобы посидеть на скамейке в Булонском лесу, предаваясь грустным думам.

Помню хорошо еще одного персонажа повести «Жаннета» — румяного, улыбающегося калеку-нищего, приходившего раз в месяц в наш район со своей шарманкой. С отцом у него были особые отношения, начавшиеся в кафе Бюссак. Веселый калека настоял на том, чтобы угостить отца красным вином, и рассказал ему о своих семейных обстоятельствах. Обе ноги и руку он потерял на войне, пенсию по инвалидности получал ничтожную. Жена и дети, считая его дармоедом, заставили промышлять подаянием. Вначале ему было неловко, но его полюбили и оценили во многих районах Парижа. Отец тоже очень любил калеку и, заслышав хриплое «O solo mio», выбегал на улицу...

Повесть «Жаннета» — одно из редких произведений отца об эмиграции.

От веселого, полного, озорного Куприна ничего не осталось. Герой повести профессор Симонов — во многом сам Куприн. Тоска по родине и плохое знание языка отделяли его, как тюремные стены, от французской действительности и живого, нетерпеливого французского народа, не очень любившего иностранцев.

Живописец, описанный в «Жаннете», часто сопровождавший профессора Симонова, очевидно художник Нилус, друживший в то время с Куприным.

Я снова стала посещать тот самый полумонастырь, в который меня поместили сразу после нашего приезда в Париж.

Кто-то тогда мне подарил большой альбом, закрывающийся на замок. Мы с отцом решили вести дневник на злобу дня. Отец писал разные анекдоты, выдумки, шутки насчет наших знакомых, а я рисовала карикатуры. Как-то Заикин увидел себя в роли Иосифа, бегущего от мадам Петифар, то есть мадам Налбандовой, которая организовывала с мужем поездки по загранице Ивана Заикина. Карикатура и анекдот были очень удачны, и Ванечка со слезами на глазах умолял уничтожить их.

Были в этом альбоме и разные домашние шутки и издевки над соседями, над нашей хозяйкой Збышевской и ее дорогим единственным сыном Юрой. В общем, это был первый и последний дневник в нашей семье. Но, к сожалению, однажды поссорившись со мной, отец бросил его в огонь. Вскоре он сам очень пожалел об этом, но я уже не согласилась больше сотрудничать с ним, возмущенная, что он уничтожил наши шедевры.

Отец почему-то считал, что из меня может выйти художник, даже наивно хвастался моими талантами. Я согласилась заниматься рисованием только с одним условием, чтобы параллельно мне была дана возможность учиться танцам. В то время благодаря переводам книг Куприна на разные языки нужда немножко отступила и родители могли удовлетворить мою просьбу.

Я стала посещать Академию Жульен, где когда-то училась Мария Башкирцева, известная своим дневником и перепиской с Мопассаном, Лепажем и многими знаменитостями 90-х годов. Она была очень хороша собой. Умерла в Париже от скоротечной чахотки двадцати лет, оставив довольно талантливые картины. Дневник был напечатан, и им зачитывались институтки.

По вечерам я ходила на уроки характерных танцев.

Художник Нилус, известный не только своими картинами, дружбой с Репиным, но и талантливыми очерками, в то время очень часто приходил к нам в гости. Лицо у него было широкое, калмыцкое, всегда немного загорелое, как у капитана дальнего плавания. Он молчаливо сидел, попыхивал трубочкой и за всем следил своими зоркими глазами. Однажды отец обратился к Нилусу за советом насчет моих художественных способностей. Я помню, как расставила свои творения. Нилуса торжественно привели в мою комнату и стали показывать мои полотна, рисунки. Он очень внимательно и добросовестно все рассмотрел, продолжая

попыхивать своей неразлучной трубкой. Потом мы все уселись, и Нилус еще долго молчал, искоса посматривая на меня. Наконец он сказал:

«Если ты способна любить живопись больше всего на свете, если ты можешь забыть по крайней мере на десять лет или даже больше, что из тебя вскоре будет хорошенькая девушка, забыть танцы, развлечения, забыть самое себя, работать как вол, самозабвенно, без устали, ни о чем другом не думать, терпеть неудачи, начинать все сначала, терпеть бедность, не слушать ничего, что не касается искусства, — если ты можешь пойти на все это, тогда, может быть, из тебя и выйдет настоящий художник. Но если ты не чувствуешь в себе сил на все это, то лучше не надо продолжать, способных любительниц, художников, пишущих милые картинки, много, и никому они не нужны».

Я посмотрела на отца и резко ответила, что недостаточно люблю живопись, чтобы идти на подвиг. Я часто вспоминаю слова Нилуса и думаю, что он был безусловно прав: во всяком искусстве должен быть подвиг, самоотречение, громадный труд плюс талант. Без всего этого лучше заняться чем-нибудь другим.

Глава XXII

ЭМИГРАНТСКИЙ БЫТ

Раз или два в год устраивались большие благотворительные балы, обычно в залах гостиницы «Лютеция», на левом берегу Сены. Эти балы устраивались либо в пользу детских русских приютов, либо в пользу богадельни. Билеты распространялись среди богатых эмигрантов дамами, любившими фигурировать в эмиграции как дамы-патронессы.

В первые годы на такие балы собирались очень многие. Для них это было случаем себя показать и на других поглядеть, встретиться, поговорить о прошлом.

Ко мне, как и к другим семнадцатилетним девушкам, часто обращались с просьбой продавать цветы. Исполняли мы свою обязанность на совесть, каждая из нас старалась продать цветов на бо́льшую сумму, и поэтому мы буквально набрасывались на каждого входящего человека.

В той же «Лютеции», помню, начали выбирать «мисс

Россию», кандидатура которой впоследствии выставлялась на международных конкурсах. Первые выборы организовывал журнал «Иллюстрированная Россия». Главный редактор его, некий Миронов, скорее похожий на захолустного антрепренера, лоснящийся, улыбающийся, со множеством золотых зубов, приехал к нам домой.

Он стал упрашивать моих родителей, чтобы я выставила свою кандидатуру, уверяя, что это очень нужно для престижа журнала. Сначала я долго отказывалась, отцу это тоже было не очень по душе, но Миронов сумел нас уговорить. Взяв напрокат розовое платье с блестками, я явилась на это мероприятие. Обычно такие выборы предрешены заранее. Так было и на этот раз. Несмотря на обещание Миронова, выбрали другую девушку. От обиды и огорчения я хлопнулась в обморок и впоследствии отказывалась появляться на благотворительных балах.

С той же целью устраивались вечеринки и балы на разных собраниях — бывших офицеров, бывших моряков, но не с таким размахом.

В 1924—1925 годах многие писатели, артисты, художники раз в год устраивали свои вечера. Снимали зал, печатали билеты, те же дамы-патронессы их распространяли. Обыкновенно на вечере выступал сам виновник торжества и приглашал выступить наиболее популярных артистов эмиграции. Это давало возможность расплатиться с долгами и немножко вздохнуть от вечной мерзкой нищеты.

Так, например, на первых вечерах Куприна часто выступал очень популярный квартет братьев Кедровых, певших когда-то у нас в Гатчине для раненых солдат. Выступала Нина Кошиц, Тэффи со своими смешными рассказами и песенками. Среди них я помню одну про Красную шапочку. Припев был такой: «А вы знаете сами, как мы врем нашей маме». Волк там оказывался красивым юношей.

Обычно никто не отказывался участвовать в этих вечерах, зная, что в следующий раз ему также придется обратиться за помощью к друзьям, товарищам по несчастью. Единственный, кто ни разу ни в одном вечере не участвовал, — это Шаляпин.

Но постепенно интерес к этим вечерам пропал. Многие из эмигрантов, имевших средства вначале, разорились, распространять билеты стало все труднее и вручались они почти насильно. Надоела в общем однообразная картина.

Вот горькое письмо Марины Цветаевой к моей матери:

Париж, 21 января 1926 г.

«Многоуважаемая Елизавета Маврикиевна, сердечное спасибо за добрую волю к земным делам человека, которого Вы совсем не знаете, а именно — за неблагодарное дело продажи билетов на вечер стихов.

Я знаю, что ни до стихов, ни до поэтов никому нет дела: даже не роскошь — сложное развлечение.

Тем ценнее участие и сочувствие.

Прилагаю приглашение на вечер Вам и супругу.

С сердечной благодарностью
Марина Цветаева».

И письмо Ремизова[1] к А. И. Куприну с просьбой помочь привлечь пресыщенную публику. Уже нет в программе громких имен, нет известных певиц или балерин.

22. 4. 27 г.
Париж. Великая пятница.

«Дорогой Александр Иванович!

Если возможно, в Русскую газету дайте заметку о моем вечере. Я просил знакомых из «Пос. Нов.» и «Возрож.», но там «своею рукою подчерка стесняются».

Прилагаю программу.

Кланяюсь Елизавете Маврикиевне».

А вот программа вечера чтения А. М. Ремизова 29. 4. 1927 г.

I отделение

Верба — Литовская легенда
Весна — Из книги «Оля»
Сережа — Из книги «Взвихренная Русь»

Г-жа А. М. Ян-Рубан
исполнит романсы В. И. Поля

II отделение

Сцены из «Полунощников» Н. А. Лескова.

Одно время русским писателям-эмигрантам помогало чешское правительство, а потом сербское. Помогал также известный в кругах русской эмиграции некий «король жемчуга» Леонард Розенталь. Слыла легенда, что начал он свое колоссальное богатство с того, что мальчиком в ресто-

[1] А. М. Ремизов, прозаик и драматург, символист.

ране, открывая устрицы, в одной из раковин нашел жемчужину.

Розенталь сам считал себя немного причастным к литературе, написал и издал на свои средства две книги с прекрасными иллюстрациями. Писателям он помогал материально, а у других эмигрантов он охотно покупал оставшиеся драгоценности, в особенности жемчуг. В своем особняке он часто устраивал приемы, куда приглашались сливки русской эмиграции. Впоследствии Леонард Розенталь помог моей матери открыть переплетную мастерскую.

Все житейские невзгоды целиком легли на плечи моей маленькой мамы — все неприятные хлопоты, переговоры, все муки за неоплаченные долги и добывание денег «из-под земли» не только для нашей семьи, но и для еще больше нуждающихся друзей и знакомых. Это было в полном смысле слова каждодневное самопожертвование, отдача всех своих сил, души и сердца. И полное отсутствие эгоизма.

Мама видела, как трудно отцу было писать на чужбине, высасывать темы из пальца, как он говорил, как непостоянны были мои заработки. Чтобы как-то выйти из унизительного положения нуждающихся, она решила заняться коммерцией.

В 1926 году мама вместе с профессиональным мастером переплетчиком и маленьким подмастерьем открыла переплетную мастерскую. На маме лежала обязанность не только финансирования машин и сырья, но и сбор заказов, которых было много. Компаньон оказался пьяницей и часто не выполнял заказов. Подмастерье ранил себя резцом, и пришлось платить за его длительное лечение.

* * *

Отец, который никогда не обращал внимания на одежду, теперь радовался, как ребенок, новому костюму, галстуку. Помню, как побрившись и нарядившись, он приходил в мою комнату за одобрением и поцелуем. Иногда он приносил скромный букетик и дарил его мне с таким, например, четверостишием:

Какой у вас папаша,
Таких на свете нет.
Не злое слово ваше —
Тотчас же вам букет.

Однажды мы были приглашены на светский ужин к знакомым французам. Мама осталась дома, снабдив меня и папу 50 франками, что было в то время суммой порядочной. За столом я сидела напротив отца и в душе смеялась, увидев, что соседкой его оказалась очень древняя маркиза. Я знала, что отец любил ухаживать за хорошенькими женщинами. Потом я сама увлеклась разговором и перестала наблюдать за отцом, но вдруг, посмотрев в его сторону, я увидала лицо старухи и ахнула: отец как видно говорил ей комплименты. Она порозовела, помолодела, как будто ее коснулась волшебная палочка, и я поняла, что сердце женщины никогда не стареет. Потом нам пришлось идти пешком через весь город, так как отец широким жестом отдал наши 50 франков на чай наглому лакею, который с брезгливой усмешкой подал нам наши старенькие пальто.

В 1928 году в Сербии под покровительством короля Александра был организован съезд писателей-славян, для того чтобы обсудить трудные и сложные авторские права. Пригласили и русских писателей — эмигрантов. Вас. Ив. Немирович-Данченко, живший в Чехословакии, был председателем, так как в сербско-турецкую войну он был добровольцем на стороне сербов. Профессор Боголепов приехал из Берлина. А. И. Куприн долго колебался, поехать ли, — чувствовал он себя не очень хорошо, но в конце концов решился. Писатели были приглашены во дворец на чашку чая к сербскому королю. Для такого визита полагалась визитка, которой, конечно, у русских эмигрантов не было. Черные пиджаки и смокинги считались недопустимыми в это время дня, но к русским писателям отнеслись снисходительно.

Прием был очень теплый. Один из участников написал, что «как-никак ведь это единственный король в Европе, который просто, по-человечески заинтересовался нашей судьбой, захотел с нами познакомиться, поговорить, посмотреть на нас поближе, позвать к себе чай пить. До этих пор иностранцы — большие и маленькие — говорили с нами только о визах, о нансеновских паспортах, о праве на жительство и о более или менее срочном выселении из пределов...»

Отец вскоре стал пропускать заседания и банкеты, считая, что он человек не деловой. Говорить на общественных собраниях он не любил, а на банкетах чувствовал себя стесненным.

Интересная статья появилась в сербской газете «Политика». Вот выдержка:

Ах, Куприн! Сколько белградцев теперь при этом имени чувствуют в сердце радость и теплоту. Куприн за несколько дней в Белграде стал своим сербам.

«Ал. Ив. ти наш брат, ти наш человик»,— радостно улыбаются ему его бесчисленные новые друзья.

И действительно, этот необыкновенный, но в то же время всем такой близкий и дорогой русский человек как будто вышел из русских романов и пришел посетить Белград.

На многих приемах устроители озабоченно переглядываются и шепчут:

— Нет Куприна!

А Куприн между тем не сидит в номере отеля и не размышляет о судьбе света, а просто пошел наблюдать настоящую, нецеремониальную жизнь.

— Трудно мне там, — объясняет он свое бегство с приемов.

Журналистам, осаждавшим его вопросами о том, что ему больше всего нравится в Белграде, он весело ответил:

— Ваши недостатки!»

Вернувшись, Александр Иванович написал серию очерков о Белграде и о сербском народе.

Сербы продолжали оказывать материальную помощь писателям, а король Александр присылал коробки папирос Александру Ивановичу, похвалившему его любимый табак.

В 1934 году Александр сербский, приехавший с визитом к французскому президенту республики, был убит вместе с министром иностранных дел Барту в Марселе. Барту был за советско-французскую дружбу, и кое-кому было наруку устранить такого министра и создать международный скандал.

На сербский престол вступил ненадолго сын короля Александра Петр.

Пособия прекратились.

Глава XXIII

БАЛЬМОНТ

Когда поэт-символист Константин Бальмонт появился в первые годы эмиграции в Париже, то между ним и Куприным возникла теплая дружба. На родине они были знакомы, но очень отдаленно. Его дочка Мирра была моей сверстницей, и мы довольно часто виделись в Париже.

Квартирка у Бальмонтов была тесная, со множеством книг. После своей шумной славы в России он казался надменным. Длинные рыжие волосы, рыжая бородка, немного припухшие серые детские глаза; говорил он в нос, в особенности, когда декламировал стихи. Со всем, что у него было лучшего, хорошего, нежного, он сразу потянулся к Куприну.

Его жена Елена мне показалась очень древней, хотя в то время она была еще, наверное, молодой женщиной. Но невероятная любовь к Бальмонту превратила ее в темноликую, беззубую, высохшую мумию, в которой жили только странные трагические глаза. Одета она была всегда во что-то непонятное, небрежное, мятое...

Их дочь Мирра, названная так в честь поэтессы Мирры Лохвицкой, была похожа на отца. У нее были такие же серые, чуть припухшие глаза, ясная детская улыбка, открывающая маленькие редкие зубы. Она очень хорошо училась, писала стихи и гордилась своим отцом.

Прадед Бальмонта был сержантом кавалерии императрицы Екатерины Второй, по фамилии Баламут. В течение времени фамилия Баламут как-то превратилась в Бальмонт. Отец поэта служил и жил в г. Шуе, а в семи километрах от города владел именьицем, где родились его семь сыновей.

Бальмонт был очень эрудирован. В свое время он изучал языки лишь для того, чтобы познакомиться с подлинниками поэтов. Он прилично знал французский, английский, немецкий, греческий, латинский, итальянский, испанский, польский, литовский, чешский, норвежский, датский, шведский языки. Хуже знаком был он с грузинским, а также японским и санскритским. Бальмонт переводил на русский язык очень многих поэтов.

После первого, неудачного брака он женился на Екатерине Алексеевне Андреевой. Они много путешествовали, жили в Италии, Испании, очень долго в Париже, потом некоторое время в Оксфорде, куда его пригласили читать лекции о русской поэзии.

О многосторонности интересов Бальмонта можно судить по его письму к матери[1].

«Что же мне все-таки сказать о себе? Я читаю с утра до вечера, я ищу в книгах того, чего нет в жизни. Читаю по-французски книги Ренана по истории еврейского народа, книги разных авторов о демонизме; современные романы, современных поэтов; по-английски — «Потерянный рай» Мильтона; по-немецки — книгу Куно-Фишера о Шопенгауэре, статьи Гельмгольца по естественным наукам, специальные книги по истории средних веков; по-итальянски — Divina Comedia[2] Данте; по-датски — статьи Брандеса о датских поэтах; по-испански буду читать с сегодняшнего дня «Дон-Кихота». Таким образом, как видишь, пребываю в обществе гениев, ангелов, демонов. Стихов я почти не пишу. Вообще писать мне теперь ничего не хочется. Знакомлюсь с живописью и с историей искусства. В этом отношении Катя мне очень помогает, так как она с историей искусств знакома гораздо более, чем я.

Для меня знакомство с великими картинами в оригиналах открыло совершенно новый мир. Мне хочется подробно знакомиться с историей живописи и я уже прочел несколько специальных книг. В Национальной библиотеке в Salle des Estempes[3] собрана богатейшая коллекция воспроизведений различных шедевров различнейших стран и эпох, и с будущей недели мы будем вместе с Катей подробно знакомиться с произведениями китайской и японской живописи, в которой так много совершенно нового, свежего, оригинального. Театром мы оба интересуемся мало. Вчера были в опере, слушали «Тангейзера».

Бальмонт был одним из первых поэтов-символистов. Он был символистом не для позы и не из желания, как многие его последователи, быть оригинальным, — он видел и чувствовал именно так.

Марина Цветаева сказала про Бальмонта:

«Бальмонт в русской поэзии заморский гость. Мне всегда казалось, что он говорит и пишет на каком-то иностранном языке. По-бальмонтовски».

А Горький написал про него Д. И. Семеновскому:

«Бальмонт вообще большой, конечно, поэт, но раб слов, опьяняющих его».

---

[1] Из неопубликованных воспоминаний Е. А. Андреевой.
[2] «Божественная комедия»,
[3] Зал эстампов.

Звонкие стихи Бальмонта, пересказ его душевных переживаний, чувств, мыслей, мечтаний! Писал он их на одном порыве и никогда ничего не переделывал, даже если ему указывали на какие-нибудь ошибки. Его жена Екатерина Алексеевна пишет, что для него, как для ребенка, не было прошлого, не было и будущего, было только одно настоящее. Он совершенно не выносил крепких алкогольных напитков, они на него действовали раздражающе и делали его буйным, почти безумным.

Бальмонт предпочитал женское общество и всегда был в кого-то влюблен. «Любить любовь», — говорил он. Его успех у женщин даже невозможно объяснить. Его любили женщины с чистыми душами, женщины самоотверженные. И так почти до конца его жизни, не говоря уже о толпах обожательниц, готовых броситься к его ногам.

Бальмонт принимал все эти фимиамы любви как нечто совершенно нормальное и не хотел считаться с возможностью ревности или недовольства.

Живя в Париже, он встретился с молодой студенткой-математичкой Еленой Цветковской, которая полюбила его фанатично. Постепенно она крепко вошла в его жизнь, у нее родилась дочь Мирра.

Мировая война застала Бальмонта в Париже.

В Москве в это время в Камерном театре шли пьесы Калидасы и Кальдерона в переводе Бальмонта. Он рвется на родину, но ему удается вернуться только в 1915 году. Импрессарио Долидзе, тот, который позднее устроил поездку с лекциями Александра Ивановича Куприна и многих других, устраивает поездки Бальмонта в 1915 году на Кавказ и по всей России с выступлениями «Поэзия, как волшебство» и также с его переводом Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Всюду лекции пользовались громадным успехом. Вернувшись, он мечется между Москвой и Петроградом, между двумя семьями, двумя женщинами. Параллельно у него масса романов. Молодые девушки бросаются в пропасть от любви к нему, умирают от туберкулеза, и он пишет: «Я устал от чувств... Если бы все мои любви волею бога превратились в сестер моих, любящих друг друга, а ко мне, не считаясь, устремили бы лишь сестрины любви, я, вероятно, вздохнул бы с безмерным облегчением. Больше яда в любви, чем меда. Или нужно любить, как Дон-Жуан. А этого последнего мне что-то в сердце давно уже не позволяет».

Революцию Бальмонт воспринял и восторженно и растерянно.

Москва, 1919 год, 27 декабря. Ночь. Из письма Бальмонта к жене Екатерине Алексеевне.

«...Р. Меня призвали в Чрезвычайную комиссию, был донос на меня, будто я в непосредственной связи — с чем, ты думаешь — с Принцевыми островами! Там кто-то под моим именем напечатал какие-то стихи против Советской власти. В белогвардейской газете. Я объяснил, что никуда таких стихов я не посылал, да у меня их и нет, и я абсолютно чужд политики. Следователь — усталая женщина в пенсне, спросила меня, каковы мои политические убеждения. Я скромно ответил: «Поэт». Меня отпустили. Изумительная история!

— ...Некоторых черт в поэте никогда не бывает,— говорил Бальмонт. — «Так, поэт изменчив, он изменчивей морской волны, но никогда поэт не был изменником. Измена, изменничество, низость, предательство несовместимы с достоинством поэта, и я не знаю в истории ни одного поэта, который бы предал свою родину».

В 1920 году Бальмонт через А. В. Луначарского получает командировку на год в Париж. Но он остается в эмиграции, не сдержав своего слова Луначарскому.

Бальмонт начинает высказывать взгляды, враждебные Советской власти. Но, несмотря на то, что он более кого-либо был приспособлен к жизни за границей, там провел много времени и имел колоссальные знакомства, ему так же, как говорил Куприн, «не хватало крепкой душевной основы, — а все-таки там дом — захочу и поеду». Он жил в Париже вместе с Еленой и дочерью Миррой.

Бальмонт пишет: «Я живу здесь призрачно, оторвавшись от родного. Я ни к чему не прилепился здесь». Вот отрывок из его стихотворения:

Я в старой, я в седой, в глухой Бретани,
Меж рыбаков, что скудны, как и я.
Но им дается рыбка в океане,
Лишь горечь брызг — морская часть моя.
Отъединен пространствами чужими
Ото всего, что дорого мечте,
Я провожу все дни, как в сером дыме.
Один. Один. В бесчасьи. На черте.
Мелькают паруса в далеком море.
Их много, желтых, красных, голубых,
Здесь краска с краской в вечном разговоре,
Я в слитьи красок темных и слепых.

Мой траур не на месяцы означен,
Он будет длиться много странных лет.
Последний пламень будет мной растрачен,
И вовсе буду пеплом я одет.

«В Москву мне хочется всегда, — пишет Бальмонт в Россию Екатерине Алексеевне, — а днями бывает, что я лежу угрюмый целый день, молча курю, думаю о России, о великой радости слышать везде русский язык, о том, что я русский, а не гражданин вселенной, и уж меньше всего гражданин старенькой, скучненькой, серенькой Европы...

...Я ни на что не жалуюсь. Только два обстоятельства я воспринимаю, как мучение и несправедливость. То, что я в разлуке с тобой, и то, что я не знаю, когда мне будет суждено вернуться в Россию...

...Как, верно, хорошо сейчас в русской деревенской глуши. Вот где бы я хотел быть. Я ухожу туда мыслью часто-часто, и когда мысль дойдет до каких-то зеленых пределов — в душе рождаются стихи, и я чувствую, что моя связь с Россией слишком глубока, чтобы из-за скольких-то лет отсутствия она могла сколько-нибудь ослабеть. Нет, она углубляется в моей разлуке, а не слабеет, как все в душе становится углубленней, когда проходишь путь «от полдня до звездной ночи».

Прожив немного времени в Париже, Бальмонт потянулся к своему любимому Океану. Он пишет Куприну.

1921. IX. 13

Мой милый Куприн.

Я жалею, что мы далеко друг от друга, и не можем вместе испить по доброму стакану белого или красного сока деятельницы грез, лозы. Посылаю Вам сонет, написав который я как раз исполнился чувством, выраженным мною только что.

Я не согласен с Вами касательно Океана и Моря.

Именно приливы и отливы я люблю. В них ритм того Миротворческого Ткацкого Станка, который своим каchаньем внушает мне много-много напевов, внушил мне добрую половину моих стихов. На берегу Океана я никогда не чувствую себя ни маленьким, ни одиноким, ни в Пустыне, ни в безнадежности. А пересыпчатый песок дюн — живое мерцающее знамение вечно творческих пересозданий, в которых не теряется нить и каждая, самая невидная,

жизнь входит своей действенной частью в созданис ковра под ноги Его.

Что Вы пишете? Что Вы слышите?

Обнимаю Вас. От моих привет Вам и Вашим.

Любящий Вас К. Бальмонт.
1921. XI. 2.

Ну, что ж, мой милый. Мысли жарки, когда причуда бытия (твоя беда — беда моя!) нам денег не дает ни марки, и шлет заботы, как подарки.

Пусть мы бессильны написать
В пристойно замкнутом конверте.
Зато (какая благодать!) —
Запеть мы можем: «Люди, верьте».
Не люди, только звери вы,
Одушевленные предметы,
Вы полутени, силуэты
В волшебном адском фонаре,
А люди, души — лишь поэты.
Им Солнце светит на заре,
Им перевязь плетут туманы,
Им лес, как белке в час пиров,
Дарит орехи и каштаны,
Им блеском плещут океаны,
Даруя жемчуга стихов.

К. Бальмонт

1921. X. 22.

Милый Александр Иванович, отчего Вы не откликнетесь? Или Вы не получили, давно уже, мое письмо со стихами? Как Вы живете? Пишете ли что? Как здоровье?

Мы здесь целых три недели наслаждаемся не светлой осенью, а буквально вторым летом, и более теплым, чем первое. Я все время пишу стихи и отдыхаю душой от шумного и поглупевшего Парижа. Звездные ночи, тишина, океанская песня, стихи. Если бы больше было монет, было бы вовсе хорошо.

Все шлют привет. Обнимаю Вас.
Ваш К. Бальмонт

Бальмонты снова вернулись в Париж, поселились около Люксембургского сада.

Мирра, дочь Бальмонта, посещала Сорбонну, витала в высших интеллектуальных материях, а я в то время увлекалась кино и танцами — она меня немножко презирала.

Я помню, как-то мы были в гостях у Бальмонта. Сидя за столом, после нескольких бокалов вина Бальмонт впал в высокопарный стиль. Говорил сложно, с невероятной гордостью. Его семья внимала благоговейно. Но вдруг он встретился с прищуренными глазами Куприна, запнулся, потом ясно улыбнулся, залился звонким смехом, сразу же стал обаятельно простым. Наверное, в один из таких вечеров он посвятил Александру Ивановичу эти стихи.

Если зимний день тягучий
Заменила нам весна,
Почитай на этот случай
Две страницы Куприна.
    На одной войдешь ты в зиму,
    На другой — найдешь весну
    И «спасибо побратиму»
    Сердцем скажешь Куприну.
Здесь, в чужбинных днях, в Париже,
Затомлюсь, что я один,
И Россию чуять ближе
Мне всегда дает Куприн.
    Если я, как дух морозный,
    Если дни плывут, как дым,
    Коротаю час мой грозный
    Пересмешкой с Куприным.
Если быть хочу беспечней
И налью стакан вина,
Чокнусь я всего сердечней
Со стаканом Куприна.
    Чиркнет спичкой он ли, я ли,
    Две мечты плывут в огне,
    Курим мы — и нет печали,
    Чую брата в Куприне.
Так в России звук случайный,
Шорох травки, гул вершин
Той же манит сердце тайной,
Что несет в себе Куприн.
    Это мудрость верной силы
    В самой буре — тишина...
    Ты родной и всем нам милый,
    Все мы любим Куприна.

Бальмонт продолжал парить в каком-то своем, только ему присущем мировоззрении. К своей дочери он также относился, как к существу, предназначенному для высокой судьбы, ее стихи, когда она была совсем маленькой, он считал гениальными. Бальмонт писал про нее: «Мирра похожа

на редкостный цветок, и нет сада, где бы его посадить». К своей дочери от брака с Екатериной Андреевой он также относился, как к чуду природы, и считал, что и ей уготовано судьбой неопределенно возвышенное, радужное и поэтичное. В России он был весьма недоволен браком Ниники с Бруни и писал Екатерине Алексеевне:

«Я всю жизнь смотрел на Нинику, как на отмеченную судьбой, как на драгоценность, я любил ее, как светлое видение — и вдруг этот роман, такой обычный».

Ниника унаследовала трезвость, светлый и спокойный ум своей матери, и брак ее был счастливым. Но Мирру некому было отрезвить от высокопарных бредней ее родителей. Ей всегда внушалось, что она дочь «сына Солнца». К сожалению, ее дальнейшая судьба оказалась более чем трагичной. Неудачная любовь, потом неудачный брак и бесконечное количество детей, которых она не имела материальной возможности содержать. По мере их рождения дети разбирались благотворительными обществами и приютами. А Мирра ступенька за ступенькой опускалась в невероятную, чудовищную нищету.

Трудно понять, как Бальмонт — человек, хорошо знающий Запад, впал в такую зверскую нищету. Несомненно, немалую роль сыграл в этом алкоголь, к которому особенно пристрастился Бальмонт в эмиграции.

Он умер в 1942 году 24 декабря от истощения, 75 лет, в русской больнице Сен Женвиев дю Буа. Народу на похоронах было мало. Говорят, что моросил холодный дождь, и гроб опустили в яму, наполовину наполненную грязной водой.

Так окончил свою жизнь поэт, воспевавший солнце и океан и любивший красоту...

Глава XXIV

РЕПИН — КУПРИН

Переписка между Куприным и Репиным прекратилась почти на четыре года. Вероятно, были тому причиной переезд в Париж, всевозможные трудности на новом месте, неустроенность. Но Александр Иванович продолжал посылать Репину свои книги и статьи в газетах. С 1924 года переписка возобновилась.

А. И. Куприн — И. Е. Репину

6 августа 1924 г. Париж

«Дорогой,

прекрасный,

милый, светлый

Илья Ефимович,

П. А. Нилус вычитал мне из Вашего письма тот кусочек, где обо мне. К великой моей радости я узнал из этих слов, что Вы не окончательно забыли Вашего преданного друга и любящего почитателя — скромного скрибу Куприна. Крепко обнимаю Вас за это, протягиваю длани от пыльного, горячего, ныне опустевшего, но все еще грохочущего Парижа до тихой и нежной зелени «пенатских» берез. Во Франции тоже есть, как диковинка, пять-шесть экземпляров берез, но увы! Они не пахнут, даже если растереть их зазубренный листик в пальцах и поднести к носу.

Эмигрантская жизнь вконец изжевала меня, а отдаленность от Родины приплюснула мой дух к земле. Вы же живете бок о бок с Ней, Ненаглядной, и Ваш привет повеял на меня родным теплом... Нет, не вод мне в Европах!»

Куприн в этом письме напоминает о своей давней просьбе.

«Что касается «картинки», то я давно уже примирился с положением: «Обещанного три года ждут». Правда, у меня давно уже и место для нее уготовлено в моей рабочей комнате... Да и зачем «картина». Так бы что-нибудь: одна карандашная линия и под ней магические две буквы И. и Р».

Репин послал Куприну в подарок свой рисунок «Леший». Посланный через А. Ф. Зеелера, знакомого коллекционера, рисунок застрял в дороге. Не зная об этом, Куприн пишет:

(Париж. 1924 г.)

Я Вам долго не писал, оттого, что я очень мнителен. Мне показалось, что Вам стало неприятно, когда я принялся клянчить у Вас какой-нибудь этюдик. Столько людей, — подумал я, — к Вам с этим приставало. Ну, слава богу, все хорошо. Если надумаете прислать мне Ваш этюд, то лучше всего это сделать через Юрия Александровича Григорьева, редактора «Н/овой/ Русской Жизни».

У него всегда может быть оказия в Париж, я ему об этом сейчас напишу.

Я теперь надолго-надолго осужден странствовать подобно Вечному Жиду по чужим странам и городам, с паспортом в кармане и с чемоданчиком в руках. А в чемоданчике у меня будет кожаная двухстворчатая рамка. С одной стороны Ваш этюд, с другой — портрет Толстого с его надписью. Придя куда-нибудь, разверну, поставлю на стол и скажу: «Здравствуйте, отцы. Такую Россию бык не сжует и собаки не сожрут, только лишь послюнявят.

И. Е. Репин — А. И. Куприну

24 августа 1924 г. «Пенаты»

«Милый, дорогой, сердечно любимый, сверкающий, как светило, Александр Иванович!!! Как мне повезло: письмо от Вас! Не верю глазам. И как Вы пишете! Ваши горячие лучи все сжигают, всякий лепет 80-летнего старца сгорит в могучих лучах Вашего таланта... А я ведь, давненько уже, послал на имя Зеелера (rue de Prony) один эскиз «Лешего» и подписал на нем Ваше имя. Но, может быть, Вы его, Зеелера, не знаете? А он, страстный любитель живописи, выразил такую страсть иметь что-нибудь мое, что я, запаковывая рисунок ему, наткнулся на эскиз «Лешего» — и вдруг произошел незадержанный рефлекс (как говорилось в старину) — а не послать ли его с передачей Александру Ивановичу? — Так и сделал. А вот уже около месяца прошло — никакого ответа. Не пропала ли моя посылка? Зеелер очень аккуратный и корректный джентльмен. А может быть он в отъезде. Он деятельный член Земгора (и наша Куоккаловская школа видела здесь его в своих стенах).

За Петра Алекс. Нилуса радуюсь. В Париже нам редко кому счастливится. Как бы я желал прочитать нашумевшие его книги. Вот, попросил бы его прислать мне его книги, наложенным платежом — очень прошу. Издавна я много читал об этих книгах и ни одной мысли, даже в цитатах, не помню... Память у меня, как у всех старцев, плоха. Еще прошу и Вас и его: вложить при оказии свои фотографические карточки. Ведь я Вас очень давно не видал — какой-то Вы теперь? Помню только гатчинскую.

Так «не вод» Вам в Европе? Какое слово! В первый раз слышу.

Приметы верно оправдались: с самого Сампсония шесть недель стояла дивная погода и я, в первое лето, после мно-

гих холодных, накупался и нагрелся на горячем песке, чудо, чудо! Зато березы менее пахли этим горячим летом.

Так Вы встречаете Дени Роша[1]? Кланяйтесь ему. Дружески жму руку ему и всего, всего лучшего желаю.

А засим, награжденный Божиим милосердием свыше всякой меры, я уже мечтаю о чем-нибудь на закуску. И это: прочитать что-нибудь Ваше еще не читанное. Подобострастно и униженно прошу Вас: пришлите что-нибудь Ваше (непременно наложенным платежом!) О, как бы я теперь прочитал Вас!!! Милый друг, не сердитесь за назойливость, надоедливость — осчастливьте уже много, много осчастливленного старца, который, выпивая каждый день из своего фонтана по утрам и вечерам, угрожает доброй Финляндии прожить на ее земле сто лет — осталось всего 20 лет, пустяки — время идет быстро: мне кажется, что я все еще 40 лет, молодой человек.

Обнимаю Вас — Илья Репин».

24/VIII—24 г.

А. И. Куприн — И. Е. Репину

(1924 г. Париж)

«Дорогой Илья Ефимович.

На известие о Вашей болезни я не обратил даже внимания, хотя и внимательно прочитал его. Для меня главным указателем были и всегда будут Ваши же слова в письме ко мне.

«Вот, назло Финляндии, возьму и проживу до ста лет». Так оно и будет... только с большим «гаком», как говорилось у нас в благословенной, сытой, сдобной, теплой Малороссии. И длина этого «гака» целиком зависит от Вашей воли.

Как говорится в Библии?

«И когда насыщенный днями захотел Моисей» и т. д... Вы же обожаемый мною Отец, Брат и дражайший Друг, чьим ласковым вниманием я радостно пользуюсь, как браконьер, или, пожалуй, как контрабандист, Вы же жизнью, с ее невинными прелестями никогда в меру не насытитесь, уж очень она хороша для людей с великим сердцем и с простою душой.

Ваш всем моим существом
А. Куприн».

---

[1] Рош Морис Дени (1863—1954), известный французский искусствовед, переводчик русской литературы, перевел на французский язык Гоголя, Лескова, Чехова и других русских писателей.

А. И. Куприн — И. Е. Репину

(1924 г. Париж)

Вот, дорогой, любимый и чтимый Илья Ефимович, коротенькая заметочка. Не очень сердитесь за работу № 2. А вчера я послал Вам три образчика того, что я теперь пишу и как.

Пожалуйста, напишите мне, получили ли Вы, так в году 21-м две мои книжки, изданные в Париже: «Гамбринус» и «Суламифь»? Помню, что посылал, но одну ли, две ли — отшибло. И послал ли третью, изданную в Гельсингфорсе, «Звезда Соломона» — имеете ли Вы (hélas! оборот французский)? Чего нет — дошлю мгновенно.

С А. Ф. Зеелером говорил по телефону. Он все получил. От «Лешего» в восторге. Говорит: «раззавидовался и хотел присвоить, да, к сожалению, подписано Куприну. Правда, можно было бы надпись отстричь, но рука как-то не поднялась на такое гнусное дело». Обещал как-нибудь на днях завезти эскиз ко мне на дом. Жду.

Вот теперь я и скажу, в каком соседстве будете Вы неразлучно со мною, где бы я ни был:

1) Портрет Главного Старика с собственноручной надписью А-ру И-чу Куприну — Лев Толстой, 1906 г.

2) Пушкин (Кипренского).

3) Голова Спасителя, написанная моей дочерью.

Что же еще больше нужно?

Крепко люблю Вас

Ваш Куприн.

И. Е. Репин — А. И. Куприну

9 сентября 1924 г.

«Милый, дорогой, обожаемый Александр Иванович. Сплошной восторг и нельзя удержать подступающих слез от живой, реальной, исторической картины — кадета А. И. Куприна и Александра III, остановившихся в мимолетном взгляде на две с половиной минуты![1] Вот сила истинного гениального таланта: краткая страница, слетевшая с крылатого пера, разрастается в огромный этюд, в натуральную величину и незабвенно поселяется в памяти навсегда, в виде исторической картины «Войны и мира». О, горячо обнимаю Вас за этот сюрприз. Да, и — за «Одноруко-

[1] Очевидно, Репин имеет в виду автобиографическую повесть Куприна «Юнкера».

го коменданта»![1] Боюсь надоесть... Но что за затмение — у меня нет «Русской газеты» из Парижа; прилагаю стоимость: разумеется, при моей малодоступности к чтению, я только и буду ждать, не появится ли там нечто от Куприна? Благодарю, благодарю!.. Ах, вспомнил неприятное — только ради создателя, не сравнивайте меня с великим Львом — этим сравнением я так сконфужен и угнетен даже, до невозможности смотреть людям прямо в глаза. Видит бог, я не виноват, но — если бы этого не писалось!..

Простите за беспорядочное письмо. Это время я недостойно избалован судьбою — что называется — в зобу дыханье сперло и не могу вовремя и с тактом ответить на все ласки и преувеличения моих посильных достижений.

Ваш Ил. Репин».

* * *

С глубоким стыдом и поздним раскаянием я прочитала, уже вернувшись на родину, письма Куприна и Репина по поводу «Лешего», с которым моему отцу пришлось расстаться из-за легкомысленного поступка пятнадцатилетней девчонки, здоровье которой ему было дороже всего.

Новая шляпка с белой птичкой, которую мне очень хотелось показать своим подружкам в загородной поездке,— вот что причинило столько горя моим родителям.

Я сильно простудилась и в течение месяца была между жизнью и смертью. Описать состояние отца и матери, конечно, невозможно. Но мне, маленькой дурочке, нравилось это внимание, беспокойство. Даже смерть мне казалась романтичной. Когда мне стало лучше, врачи сказали, что только знаменитый город Лезен в горах Швейцарии может окончательно поставить меня на ноги. Но денег на это не было. Устроили литературный вечер, очень многие артисты, писатели откликнулись и участвовали в этом вечере. Наконец деньги были собраны, виза выхлопотана, но в последнюю минуту швейцарское посольство потребовало денежный депозит. Когда отправляли больных, правительство Швейцарии не хотело брать на себя, в случае несчастного исхода болезни, расходы на похороны. Опять моим родителям пришлось срочно занимать деньги.

---

[1] Рассказ Куприна, напечатанный в 1923 году в сборнике «Окно» (кн. I).

Мама поехала меня провожать до Лезена, так как я была еще очень слабой. Она пишет папе:

«Милый Саша,

Наш зверек после дороги скопытился — брюшину растрясло, но через два дня ожил и очень доволен своей судьбой».

Город Лезен расположен на высоте 1200 метров над уровнем моря. Он весь состоит из клиник, построенных по склону горы так, чтобы солнце все время не уходило с террас. Город разделен на две части — верхняя принадлежит только больным туберкулезом легких, нижняя — лежачим больным костным туберкулезом. Верх и низ не общаются.

Все кровати имеют колеса, и утром больных вывозят на террасы в любую погоду, летом и зимой, так как все лечение состоит в горном воздухе и солнце.

В этом городке принципиально никто никогда не умирает, то есть если и случается печальный исход, то ночью в полной тайне вывозят покойника в соседний городок или дальше, по желанию родных. Больные не должны знать об этом, чтобы это не подействовало на их психику.

Посредине городка проходит маленькая железная дорога. Два раза в день — утром и вечером — пыхтит поезд. И когда уезжает выздоровевший больной, то по какому-то беспроволочному таинственному телеграфу узнают об этом в остальных клиниках. И маленький поезд сопровождается хором пожеланий и приветствий.

Вначале мое пребывание рассчитывали на 1—2 месяца, но в этом городе все идет медленно, время зависит только от здоровья, и я в общем пробыла там 6 месяцев и начала очень скучать. Папа мне писал смешные письма.

«Стыдно, дорогая моя девочка, смеяться над старостью. Во-первых, сама такой будешь. Во-вторых, старость — одна из самых скверных, тяжелых болезней, да вдобавок она ничем неизлечима, кроме смерти. Ведь не станешь же ты хлопать горбатого человека по горбу и приговаривать: «Черт горбатый, горбатый черт!» Он ведь и без того знает, что он безнадежно горбатый, и от этого сознания мучается каждую секунду: даже во сне.

Ну-с в репу-с, как говорят англичане.

Теперь новости.

Был у нас вечер. Пришла пара милых Гольдштей-

нов[1]. Один Богуславский (Дэлли не могла, к ней приехали кузины из Шотландии, из Корки, две старых длинных девы и говорят уже четвертые сутки подряд). Один Писаревский (Н. О. приехала домой день спустя), трое Эльяшевичей. Сели играть в двадцать одно. Папа Ель принципиально не играет в азартные игры. Ирочка у меня в комнате читала историю Madame de Pompadour. Кончилось тем, что я выиграл 4 фр. Проиграл больше всех Богу и плакал тонким голосом. Но самое лучшее было вот что. Когда в промежуток между сдачами дали чай и фрукты, папа Ель рассказал замечательный медицинский случай. Немецкий ученый Петенгофер, желая доказать, что холерная зараза недействительна при соблюдении гигиенических условий, выпил стакан рвоты холерного больного. Принял меры и остался жив. Я немного удивился тому, что рассказ этот был преподнесен внезапно, без всякой связи с предыдущей болтовней. Обрадовался за железное здоровье Петенгофера. Но вдруг поглядел на Гольдштейна и обмер от ужаса. Бедный М. Л. был бел, как бумага, и я явственно видел, как груша, виноград, фиги и птифуры от Коклен вместе с чаем и лимонадом стремились вырваться нáружу из его желудка, и как он героическими усилиями воли водворяет их в прежнее помещение. Еще страшнее было то, что я не один это видел, а все и что всеми начали овладевать эти невольные подражательные спазмы. Вовремя рассказанный Писаревским анекдот спас положение.

Дробович[2] наконец привел к нам Ее. Премиленькая маленькая штучка. Очень брюнетка. Немножко египетское личико, с желтоватым (слегка) тоном и с шириной в скулах, с капризным ротиком и очень низким лбом. Она бы тебе понравилась как модель. А он... Если он ее любит — он пропал. Если не любит, отойдет ни с чем и в смешном виде. Ах, еще! Гольдштейн обратил внимание на твой автопортрет и сказал любезно Писаревскому: «Вот видите, как пишут портреты, если имеют талант». Писаревский ответил: «Мня, мня, мня...» — что-то в этом роде. Продолжение завтра. Мать сегодня купила марок; пока целую тебя, мое изумрудное сокровище.

А. Куприн».

---

[1] Гольдштейны, Богуславский, Писаревский, Эльяшевичи — парижские знакомые А. И. Куприна.

[2] Дробович, молодой журналист, одно время помогавший Куприным во всех семейных трудностях, как бы добровольный секретарь.

В следующем письме отец описывает мне маленькую сценку. В конце 1922 года мы наняли меблированную квартиру у некой мадам Chelat. Через два года ее контракт с хозяином дома кончался и был переписан на имя Куприных. «Шелавша» ни за что не хотела вывозить свою мебель и прекратить выгодную для нее комбинацию.

Париж. 1924 г.

«Дорогой мой серый, американский козел.

Ну и был же у нас водевиль! Мать назначила м-ме окончательное и решительное свидание, но заранее выписала Дробовича. Наконец это дело состоялось. Я писал у себя, в аквариуме, очередную клевету и несколько увлекся. Доносился до меня из столовой довольно громкий разговор, но я не обращал на него внимания. И вдруг слышу — буря! Бегу на помощь в столовую. Застаю картину: м-ме Chelat — не красная, а свекольного цвета — качается на стуле, машет руками и кричит. Над ней склонился Дробович и бубнит что-то треснутым басом. Мать порхает вокруг и без передышки щебечет на французско-негритянском языке. На втором плане м-ме Charles[1] в синем переднике прислонилась к стене, сложив ладошки у подбородка, и изредка томно стонет. В глубине сцены Madelaine[2] высунулась во входную дверь: она в восторге от скандала, порозовела и похорошела, глаза у нее блестят, она топчется на месте от нетерпенья — «Нон-нон-нон» (у нее выходит no-no-no-no) — орет Шелавша. Эти «нон» она выпаливает сразу тринадцать по простой гамме вверх и вниз...

Дроб:— Madame! Ecoutez! (Мадам! Послушайте).

M-me Chelat: No-no-no-no-no-no!

M-me Koup: Муа пейе нон, ву регарде контракт (я платить нет, вы посмотрите контракт; искаж. франц.).

M-me Chelat: No-no-no-no-no-no-no-no-no-no!

M-me Charle: On! M-me Chelat!

M-me Chelat: No-no-no-no-no-no-no!

Дроб (треснутым басом):—Alors, Madame, nous serons... (Тогда, мадам, мы будем...)

M-me Chelat: No-no-no-no-no-no-no-no!

Я сбежал. Спустя час встретил Дроба, бледного, губы белые и дрожат. Оказывается, м-ма Шела заявила, что эта

---

[1] Наша привратница.

[2] Дочка привратницы лет одиннадцати.

квартира ее и она не уйдет. Пришлось сообщить полиции. Та сказала: «Предупредите мадам, если продолжится припадок, позвоните нам». Ее предупредили. Она еще немного пробовала было погрозить, что все полиции Европы и Америки не тронут ее с места, но все-таки поджала хвост и ушла...

Сегодня утром, протягивая лапу матери и мне, говорила с милой улыбкой: Hier J'ai Taché (вчера я сержусь...)

Словом, шелявская полоса жизни кончилась. Но с барахлом мама еще не может расстаться. Что делать с твоими книгами? В сущности, они такое же барахло.

Твой А. К.»

Курс лечения в Швейцарии был окончен, но опять доктора, не считаясь с материальным положением, посоветовали перевезти меня на юг Франции на два-три месяца. Для этого опять понадобились большие средства, и, как последнюю меру, устроили лотерею среди русской эмиграции. В эту лотерею вошли последние семейные реликвии, и для того, чтобы еще больше раззадорить и заинтересовать тех в общем немногих богатых эмигрантов, отцу пришлось расстаться с самым любимым и дорогим его сокровищем — рисунком Репина «Леший».

С глубокой болью и чувством виновности звучат письма Куприна к Репину, хотя Илья Ефимович щедро и радостно откликается.

А. И. Куприн — И. Е. Репину

1925 г.

Ну, дорогой брат и друг, прекрасный художник,
любимый Илья Ефимович,

Снимаю шапку, бросаю оземь и каюсь в тяжком преступлении. Получил я «Лешего». Отдал его оправить и застеклить. Вместе с переплетчиком выбирали тон паспарту. Остановились на серо-зеленом. Вышло просто прелесть, как хорошо.

Но еще с мая захворала моя дочка перитонитом. Пришлось ее отправить в Лезен, в санаторий д-ра Колье. Там она и до сих пор. Горный воздух и горное солнце пошли ей на пользу. Но мы не соразмерили валютной разницы (100 шв. фр.— 372 фр. фр.), и с позволения сказать, сели на кол. Теперь мне и жене пришла в голову мысль: устроить лотерею, куда я загнал все, что у меня было ценного. Туда я загнал и «Лешего».

Суди меня, судья строгий, но справедливый. Я находился в крайности. Если Вам, милый Илья Ефимович, мой дерзостный поступок покажется злоупотреблением даром или превышением моей собственнической власти над любовным дарением, то мне еще не поздно будет изъять «Лешего».

Очень прошу Вас поэтому, черкните мне хоть словечко, хоть на открытке.

Сердечно обнимаю Вас.
Ваш преданный и Вас любящий неизменно
А. Куприн.

Вы ведь сами понимаете, как мне скучно без Вашего рисунка.

И. Е. Репин — А. И. Куприну

Конец марта 1925 г.

Милый, дорогой Александр Иванович.

Боюсь верить Вам. Неужели Вы пишете чистую правду? А ну его, сомнение: вчера, получивши Ваше письмо, я был счастлив, как никогда... Неужели мой бедный рисунок мог быть так полезен Вам и в — такую минуту? Вот радость... Горячо расцеловал бы Вас я за это, что Вы пустили «Лешего» в оборот и он не провалился, и за эту радость мне я доставляю себе большое удовольствие, в компенсацию Вам шлю рисунок с натуры: в Капулівці — Чертомильск, недалеко от места последней «Запорожской Сечи»; я был несказанно счастлив, встретив давно желанный образчик — запорожца. Абрам лысый. Сколько радости в его глазах и сколько аристократизма в выражении его лица!.. Ах, некому остановить меня... Вот расхвастался на радости старик... О, как я боюсь своего телячьего восторга! Простите.

«Це ще як запорозці були: там вже, хто зна які вони були»...— рассказывала мне старуха, там же, в Покровском 1881 года. «Айй, плакали сердяне, ще зосталися в тим Чортомильці, як товарищі до Турка помандрували... Та, оцей Абрам (він вже дуже старий), так він ще бачив запорозців».

Подобную же радость судьба послала мне в 1870 г., в Ширяевом буераке, где я встретил истого бурлака Канина — в Царевщине, близ Самарской луки...

Вас искренно любящий Ил. Репин.

А. И. Куприн — И. Е. Репину

27 марта 1925 г.
(Париж)

Дорогой Илья Ефимович,

Конечно, я поступил слишком ретиво, пустив «Лешего» в лотерею. Обстоятельства сжали в таких жестких шенкелях, что было не дохнуть. Подумал я в сердце своем: истинный, старый друг, широко знающий жизнь,— укорит ли он меня за своевольное и корыстное расположение даром его дружеским, если зарез. Прикинул на себе и сказал: нет, не укорит.

«Леший» был самым мощным магнитом. Лотерея сошла хорошо. Были не только удовлетворены мясник, зеленщик и молочник с булочником, но жена смогла поехать в Leysin (Швейцария), выкупить оттуда нашу Аксинью, отвезти ее в St. Antoine (200 м над Ниццей) в санаторию «La Colline» на два месяца окончательной полировки здоровья.

Нет, я довел свою дерзость до предела.

Так как Вы без гнева приняли мое извещение о «Лешем», то вместо того, чтобы ночью в темном углу придушить нового владельца, я ниже Вашей мне подписи, на серо-зеленом паспарту (очень подошло к рисунку) написал: «С милостивого разрешения И. Е. Репина». Ну, вот моя повинная голова — рубите.

Конечно, Вы не отрубите, ибо Вы не мясоед и не быкоубийца. Вы только скажете: «Стоит дарить бродячим писателям прекрасные вещи».

Обнимаю Вас сердечно и люблю навсегда. Будьте здоровы и радостны. Ваш твердо

А. Куприн.

И. Е. Репин — А. И. Куприну

8 октября 1925 г.

Дорогой, милый Александр Иванович.

Счастие мое, что я получаю из Парижа «Русское время», дважды счастье и «Русского времени», что там пишет Куприн! И как у Вас это выходит: в таких коротких листках такая сила-мощь, такая правда, убедительность!! Перечитываю по нескольку раз и начитаться не могу. Только меня Вы напрасно так хвалите и ждете чего-то. Увы — я только — старый пьяница в искусстве: все меньшая и меньшая порция (рюмочка) опьяняет меня; и я способен теперь, свернувшись в клубок, мечтать и грезить... А Парижа я

даже бояться стал... Разумеется, я давно уже не был там и не видал ничего уже бесчисленное количество лет... А как вспомню, как, бывало, с Поленовым мы два раза в неделю обходили картинные магазины... Прекрасно освещенные, только что написанные картины, еще издали обдавали нас очарованием, что мы к их свету уже бегом, без удержу скакали через улицу и надолго замирали от восторгов... И эти восторги обуревали нас долго! Долго! Да, гений Парижа всегда кипит, живет и увлекает... Мне думается, что и сейчас там все то же, вечная инициатива, восторг без устали и новости, новости — все еще не виданное, невообразимое. Так и на больших выставках в других государствах: бывало, проходишь, проходишь много отделов, даже до усталости: вдруг еще издали что-то сверкнуло, обдало чем-то неизъяснимым, очаровательным... О, да это — французы! Это их тон, это он делает такую музыку... И бредишь, бредишь этим тоном их очарования... Неужели этого больше нет? Не верится: и я мечтаю, что когда-нибудь я опять попаду в Париж и опять упьюсь до самозабвения... Неужели это все пропало?!!

Со вчерашнего дня у нас выпал снег и еще не растаял.

Если попадется Вам Леви[1], не сердитесь на него, он мне так много и так добросовестно служил и служит. И, правду сказать, у него огромный талант продавать: мои шансы он поднял высоко. А я намерен через него послать Вам давно отложенный этюдик, но Вы простите — это так ничтожно...

Вас всегда любивший и любящий Илья Репин.

О, Вы, Дионизос — бог — сила в Вас неземная!

Простите, не примите за лесть — это любовь...

А. И. Куприн — И. Е. Репину

(Париж. 1925 г.)

«Дорогой и горячо любимый Илья Ефимович.

Конечно, скромность есть лучшее украшение добродетели (см. § 17-й 2-го раздела XI тома книги «Житейская мудрость»). И Вам присуща она всегда. Но как Вы могли усомниться в том, что главнейшим образом «Леший» потянул публику брать билеты — этого я не понимаю. Не было ни одного моего клиента и ни одной клиентки, которые бы заранее не облизывались от мысли приобрести за 25 фр.

---

[1] Леви Василий Филиппович (1877—1955) — художник, ближайший помощник И. Е. Репина в его выставочных делах.

Кого! Самого Репина. И я по крайней мере ста человекам благосклонно предсказывал выигрыш. Болячка до сих пор осталась в моем сердце. Утешением (слабым) мне служит то, что «Леший» попал в хорошие руки: в милую, теплую, просвещенную семью, где без хвастовства или снобизма ценят и чтут искусство и где глубоко любят Вас, мой чудесный скромник, Вас, Художник величиною с Казбек.

Другое утешение — та дружеская снисходительность и доброта, с которой Вы приняли мой самочинный поступок. Третье — Ваш Monsieur le Zaporoge (помните у Гоголя в «Тарасе Бульбе» француз кричит: «Bravo, messieurs les Zaporoges», когда те лезут на приступ). Какое лицо. У нас про таких мужиков говорят в Зарайском уезде так: «Ён про-ост. Его простота, как мордовский лапоть, о восьми концов». И какая степная сила. И какое соединение доброты, жестокости, свободы, затаенного лукавого юмора и зоркости. Не посоветуете ли, батюшка Илья Ефимович, какого цвета паспарту пригнать?

И вот еще последнее, четвертое утешение. Собрал я — и все-таки, настаиваю,— благодаря Вам — около 10 000 фр. (десять тысяч). На эти деньги жена поехала в Швейцарию (Leysin, в горах), выкупила оттуда дочку нашу Аксинью (17 лет), отвезла ее в Ниццу, поселила ее там в санаторий «La Colline» д-ра Перского, где вот уже третий месяц мы держим эту непокорную девчонку в недорогих, но полезных, приятных и комфортабельных условиях.

Ну уж «Лысый» из моих рук никуда не уйдет!!! А пока, крепко Вас обнимаю и братски целую.

Весь Ваш А. Куприн.

Будет времечко — напишите два словечка. Обрадуете».

К сожалению, я уже не помню, когда «Лысый» тоже «ушел из рук». Но это было уже после смерти Репина, когда Куприн стал болеть.

В благодарность отец послал Репину свою и мою фотографии. Илья Ефимович был всегда немного преувеличенно восторжен. Его оценки моей наружности отец мне не показал, чтобы я не возгордилась.

И. Е. Репин — А. И. Куприну

8 февраля, 1926 г. «Пенаты».

Милый, дорогой, прелестный Александр Иванович,

сижу перед Вашим и — Вашей красавицы-дочери — портретами и не могу оторваться, до чего это обворожитель-

но!.. Ах, французы! Ведь это диво! Это конечно сделано прекрасным художником. Я думаю: хорошая, с большим французским вкусом, фотография увеличена, и по этому увеличению прошелся художественной ретушью опытный недюжинный художник — ну и получилось то, что я получил от Вас. Вы — как живой и — с самой симпатичной стороны: русский, высокой интеллигенции и могучего характера, человек. Да я едва ли и могу описать все, что мне грезится об этом поэте, творчество которого так могуче завоевывает — простите, умолкаю, ибо все это слабо и ординарно перед явлением чего-то нового и в высшей степени красивого своеобразной красотой мужчины, что-то богатырское. Теперь о портрете дочери: весь итальянский ренессанс, начиная с Андреа дель Сарто[1] до Сикстинской Мадонны, все незабвенные идеалы красивой нации — все соединились в этом — невообразимой красоты — образе!.. Ах, я до вечера не уписал бы все свои ощущения восторга перед этой ангельской красотой... И вот уже сила изображения — какие слова могут выразить то, что дано изобразительному искусству! Все это те редкости, которым нет цены... А мы тут подавлены морозами, да еще с ветром... Только и спокойствия — перед жаркой печкой...

Простите, Ваш дальне крайний обожатель Ил. Репин.

Спасибо, спасибо еще и еще раз за дивные фотографии.

И. Е. Репин — А. И. Куприну

4 июня 1926 г.

О милый, дорогой, несравненный Александр Иванович!

Еще живо представляю себе сценку перед Вашими портретами; у нас еще звучит прелестный итальянский язык красивого молодого итальянца — Стафети. Он, с места в карьер, приковался к Вашему портрету, со многими расспросами о Вас, после перешел к портрету Вашей дочери — удивился, что это не природная итальянка, и много, много говорил мне тут о Вас и пр. Он очень хорошо говорит по-русски; заинтересован нашей литературой и, конечно, Вами... Был на могиле Леонида Андреева в его разрушенном, уже проданном доме. Привезли его, итальянца, милые шведы, наши добрые соседи (г. Шредер, был он, еще не так давно, Куоккаловским комендантом, летом живут в Териоках)...

---

[1] Андреа дель Сарто, флорентийский художник эпохи Возрождения.

Ох, я бессовестно посягаю на Ваше время. И ведь все время в душе пишу Вам о себе. Но не жалейте, что я не осел на сем предмете. Старость, старость никому не интересна; да еще заглушенная собственной болтливостью...

И. Е. Репин — А. И. Куприну

(Конец 1926 г.— нач. 1927 г.).

Милый, дорогой Александр Иванович.

С тех пор, как Ваш и Вашей дочери портреты висят в нашей столовой, я с особым удовольствием провожу время против них; подолгу рассматриваю их... А сколько разговоров... Да, всего лучше так, в общем иконостасе, помещают дорогие нам лица! О, сколь мы угнетены ЗИМОЮ! Морозы! Снега!.. Сегодня уже все наши окрестные говорят, что лета не будет в продолжение трех лет — будет непрерывная зима!!

Я не перестаю жалеть о старом стиле...

Ну, какая же это пасха! И здесь так развертывается деспотизм лютеранского рационализма!.. Наших бедных попов, как и монахов (которых уже делается жаль), ссылают за то, что служили по старому стилю.

Простите за это глупое письмо: жалобы, жалобы на природу и людей... Неверно!.. Несправедливо!..

Ваш Ил. Репин.

В январе 1927 года Репин получил от Куприна письмо. Александр Иванович писал:

«Проклинаю я парижскую зиму. Нет хуже зимы на свете, чем здесь. Утром дождь, в полдень снег, к вечеру теплый весенний день, к ночи мороз и ураган. Никак не приспособишься. Все парижане и эмигранты ходят с носами, разбухшими от насморка, чихают, кашляют, слезятся. И Ваш покорный слуга с сентября по сии дни кашляет весь день и всю ночь, точно овца.

Со злостью и завистью думаю, что далеко, где-то на юге

На берегу морском
Под сенью акаций
Сидит поэт Гораций
И... трет песком.

Да как вспомнишь еще, что вовсе не поэт Гораций теперь наслаждается прелестью и теплотою благословенного Юга, а нувориш, спекулянт, живодер, кровосос, банковская

пиявка, то мысленно точишь воображаемый кинжал на воображаемого буржуя. И как хочется настоящего снега, русского снега, плотного, розоватого, голубоватого, который по ночам фосфоресцирует, пахнет мощно озоном; снег, который так сладко есть, черпая прямо из чистейшего сугроба. А в лесу. Синие тени от деревьев и следы, следы: русаки, беляки, лисички-сестрички, белки, мыши, птицы».

И. Е. Репин — А. И. Куприну

9 февраля 1927 г.

Милый, дорогой Александр Иванович! Да, у нас кругом лежит тот снег, который Вам нравится. Но теперь у нас и сын мой, который приносил зайцев из той — с голубыми тенями — лесной собственности зверьков... Теперь запрещено,— вероятно, уже до Петрова дня — стрелять этих милых существ. Это разумно.

Мне стыдно, что Елена Павловна[1] с моим дружеским поклоном Вам повела такую строгость — непременно лично (...). Но я все, все ей прощаю. Ибо я имею от Вас драгоценный автограф с воспоминанием о вилле Горация на Байском берегу... Ах, сколько раз мы с Юрой проходили мимо этой виллы, когда целую зиму прожили в Неаполе. Недалеко там и Люкрино. (Не знаю, выздоровели ли там устрицы?! Какие устрицы! Как мы объедались!.. Но потом их объявили ядовитыми и запретили...) Да, на Байском берегу мы делали большие прогулки... (Не прочь был бы и я пройтись по этим просторам милого Юга, милейшей страны) И — представьте!— тоже заскучали о снеге и махорке, к которой Юра приучил и меня! И как он, т. е. Юра, а не махорка, там поправился и понравился итальянцам. С ним все заговаривали, и он больше меня знал язык. И в Неаполе он впервые стал рисовать и рисовал козочек, которые приводились даже в четвертый этаж и там доились — прямо в стаканы. Мы жили совсем близко в Kastel-ого и ходили туда обедать. Какие там были обеды! И какие рыбы! Рыбы и по цветам и по форме были такое загляденье! Жаль было их есть!..

А — под строгим секретом Вам — я покаюсь, что я опять стал мечтать о Запорожце. Но из этого уже ничего

---

[1] Тарханова-Антокольская Елена Павловна (1868—1932) — жена известного физиолога, академика И. Р. Тарханова. Была с Репиным в дружбе, переписывалась с ним.

не выйдет... А мне один приятель, из Петроднепровска, прислал дивную книжечку. Яценка-Зеленского[1]. Такой chef-d'oeuvre в литературном даже отношении. Этот монах Киево-Печерской Лавры два раза ездил по командировке во врем(ена) Екатерины II на Запорожье и казакам за подаянием. Эти простые сердца щедро вытряхали кошели... Но счастье не в этом, а в том, что даровитый монах так описывает, не мудрствуя лукаво, что я перечитал ее три раза и еще буду читать столько же раз и с возрастающим удовольствием.

Вообразите: простота и при этом — даровитость самой последней манеры, которую мы теперь нередко получаем из России: вроде — Романовых[2], Леон Леоновых и т. д. Но и об этом молчание! Простите старого болтуна.

Ваш Илья Репин.

А. И. Куприн — И. Е. Репину

8 сентября 1927 г.
(Париж)

Сколько, сколько раз — я вспоминал это идиотское административное запрещение, которое трижды не дало мне возможности приехать к Вам в Куоккала из Гельсингфорса! Теперь у меня еще сильнее желание повидать Вас хоть на минуточку. Хоть только потереться щекою о Ваш рукав. Как Вашу чудесную живопись, так и Вас всего люблю я с наивной дикарской чувственностью. Так же люблю Пушкина, Толстого и Бетховена...

Ах, драгоценный Илья Ефимович! Как бы горячо я хотел сейчас повидаться с Вами. Вы такой же русский, как русский снег, такой же вкусный, такой же чистый, такой же волшебный и такой же простой и такой же божий.

И. Е. Репин — А. И. Куприну

«Пенаты», 1927 г.

Александр Иванович!

Милый голубчик, совсем Вы меня избалуете. Ведь ужас, куда возвели!.. А я-то как повестями и рассказами упивался, наслаждался!!! У меня большое преимущество перед всеми богатырями и всеми святыми — куда им, они мне зави-

---

[1] Имеется в виду книга «Две поездки в Запорожскую Сечь» Яценко-Зеленского, монаха Полтавского монастыря, в 1750—1751 гг.

[2] Романов Пантелеймон Сергеевич (1884—1938) — советский писатель.

дуют теперь... Да этаких еще не было, то есть повестей и рассказов. Ах прелесть, прелесть... Что это я так скверно писать стал?! Ужас как гадко!.. Это оттого, что в комнате холодно. Ведь адская стоит зима, даже к фонтану до сих пор не иду. Потом не согреешься — особенно после холодной водицы...

Простите, простите, дорогой мой; даже стыдно так писать и еще посылать, да ведь куда? Кому?..

Сегодня Вера приедет из Гельсингфорса. Вот порасскажет... Про нас-то мы уже помолчим... Прошли наши красны денечки...

Да, недаром я еще с юности не любил стариков (только не подумайте, что великих стариков — тех я обожал)..., а так, шевелящихся старичков, еще вроде меня, еще не прочь поправиться, в своей безнадежной походке — совестно им уже на людях фигурировать. А ведь как это незаметно: понемногу да понемногу и ведь чуть, чуть — вот, вот да мимо; ах это мимо плохо... Ах, вот некому запретить — все пишу и пишу... неужели все это Вам читать?! Простите, простите... А я Вас так люблю и обожаю...

Ваш Ил. Репин.

Вот последнее письмо Репина.

Я не знаю, какое стихотворение послал ему Александр Иванович.

17 июня 1930 г.
«Пенаты».

«Милый, дорогой мой поэт — Александр Иванович, я так осчастливлен Вашей поэмой. (Одно слово не разобрано.— *К. К.*) Дорогая Ваша любезность застает меня больным и не способным к этому роду искусства, который Вы соблаговолили востребовать.

Увы, я позорно спрятался за могучего сына и он великодушно заменяет меня... что делать? Я едва дышу и едва ноги таскаю.

Простите, простите!
С обожанием к Вам, Илья Репин».

Илья Ефимович Репин умер 29 сентября 1930 года, приблизительно через три месяца после этого письма, на 86-м году жизни.

В первую годовщину его смерти А. И. Куприн написал очерк, посвященный художнику. Очерк появился в «Иллюстрированной России» 26 сентября 1931 года в Париже.

Глава XXV

МОЯ ЮНОСТЬ

В 1925 году, после продолжительной болезни, я вернулась из Швейцарии и Ниццы в Париж. Шестого июня того же года отец писал своему другу борцу Заикину: «Ксения приехала из Ниццы домой. Выросла, похудела, немного забронзовела на воздухе. Все говорят, что хороша собой. Но, ангел небесный! Какой же в этом толк, если нет в виду американца (не знаешь ли ты, где их достают?!)»

Отец шутил насчет того, что французы женятся лишь на приданом, а эмигрантские женихи, дескать, голодранцы. И вся надежда — выдать меня за валютного американца.

«Научилась, дурочка, краситься, и ничем ее не убедишь, что к ее, хотя и тонкой, но очень русской лупетке это вовсе не идет».

В тот год наше материальное положение было опять крайне тяжелым. Чтобы послать меня лечиться в Швейцарию, потом в Ниццу, родителям пришлось прибегнуть к большим жертвам и влезть в долги. Отец и мать настаивали, чтобы я продолжала учиться рисованию, хотя платить за уроки им было не по силам. Я решила пойти работать манекенщицей.

Одним из самых знаменитых законодателей мод в середине 20-х годов был Поль Пуаре. Его фирма занимала огромный особняк на площади Елисейских полей.

Я пришла наниматься на работу в первый раз в моей жизни. Поднялась по широкой мраморной лестнице, покрытой мягкими коврами. Узнав, зачем я пришла, внушительного вида швейцар велел мне идти с заднего хода, то есть служебного. Я почувствовала себя униженной, долго колебалась, войти или нет. Когда я вошла, меня долго рассматривали, заставляли ходить, улыбаться, показывать ноги.

Несмотря на молодость и застенчивость, меня все-таки приняли. И в первый день, во время перерыва, все манекенщицы собрались в огромной гостиной. Меня стали учить медленно ходить с презрительным видом, отступать, поворачиваться, с быстротой молнии переодеваться. За мою конфузливость меня прозвали «девой».

В то время труд манекенщицы очень плохо оплачивался, но зато можно было брать платья из коллекции на вечера. Почти у всех были покровители — один или несколько.

Относились ко мне в общем хорошо, хотя моя наивность многих забавляла.

Сам хозяин вел себя, как царек в своем государстве. Волосы и борода у него были нарочито обстрижены на полсантиметра. Полного эксцентричного человека знали всюду, журналисты постоянно помещали на него карикатуры. Пуаре часто устраивал для рекламы блестящие приемы. Хозяин заставлял манекенщиц выстроиться в полукруг и долгим тяжелым взглядом рассматривал каждую девушку, потом вдруг делал жест, как бы отгоняя муху. Это значило, что эту девушку выгоняют.

Иногда работа была легкой, иногда тяжелой. Новые модели создавали каждые шесть месяцев, тогда приходилось часами стоять на помосте, и модельеры драпировали на нас материи, кружева, ленты, кроили, закалывали, как на деревянных манекенах. Часто от усталости девушки падали в обморок.

В 1925 году Пуаре было предложено поехать на гастроли в Берлин, чтобы демонстрировать модели в театре «Die Comedie». Он выбрал 12 манекенщиц, в том числе и меня, и одел нас в совершенно невероятное пальто в ярко-желтую и зеленую полосу. У него в договоре было условие не показывать модели в других местах, но он привык делать все, что ему вздумается, поэтому принял предложение демонстрировать также модели в каком-то большом кафе днем. Узнав об этом, театр порвал с ним контракт и отказался платить за наше пребывание в гостинице «Адлон».

Собрав нас всех у себя в комнате, он предложил нам тайно вынести чемоданчики и бежать, не уплатив по счету. Манекенщицы подняли бунт: было совершенно ясно, что незаметно уехать 12 девушкам, одетым специально, чтобы обращать внимание, невозможно. В конце концов все устроилось, и мы уехали.

Вскоре дом моделей пришел в большой упадок, и Поль Пуаре разорился. Много лет спустя я встретила его на юге Франции в качестве коммивояжера по продаже вина. Он был жалким, старым, руки у него тряслись, глаза слезились.

* * *

Как многие молодые девушки, я мечтала о работе в кино. Режиссеры и продюссеры мне казались высшими суще-

ствами, волшебниками. Взмахнут палочкой — и я кинозвезда.

Работа манекенщицей имела одно достоинство: я могла взять на вечер какой-нибудь сказочный туалет. Однажды я была приглашена на прием, Дом моделей одолжил мне золотое платье и золотое сорти де баль, обшитое зелеными страусовыми перьями. Вероятно, моя в общем-то еще детская мордашка в этом невероятном туалете казалась смешной, но я чувствовала себя королевой вечера. Там довелось мне познакомиться с наиболее известным тогда французским режиссером Марселем Лербье.

«Великий немой» выходил из пеленок. Лербье, Рене Клер, Дювивье, Абель Ганс были киноноваторами. Каждый в своей тайной лаборатории придумывал трюки. Каждый старался создать новое в звуковом кино. Лербье был эстетом. Его сотрудники молитвенно относились к нему. И вот я заинтересовала его, он предложил мне сделать кинопробу. Студия Лербье размещалась на окраине Парижа. Пробы оказались удачными, и Лербье предложил мне подписать договор на киносъемки. Отец писал Заикину по этому поводу 20 декабря 1926 года: «Дочь подписала контракт с кинематографом. Будет «крутиться», но это меня не очень веселит. Здоровье ее жиденькое...»

У режиссера Лербье я снялась в пяти фильмах: «Дьявол в сердце», «Тайна желтой комнаты», «Духи́ дамы в черном», «Императорская дорога» и «Авантюрист».

Отец всегда вместе со мной переживал мои надежды и разочарования на трудном этом поприще.

С появлением говорящего кино обратили внимание на мой русский акцент, который я долго не могла искоренить. Пришлось поступить в театральную школу.

Успех мой в кино был переменчивым. Сколько было обещаний, ожиданий в темных передних у постоянно возникавших и прогоравших частных предпринимателей. Все заработанные деньги уходили на туалеты, ведь киноактриса обязана часто показываться, быть на виду.

Сколько ночей мы с мамой провели, перешивая старые платья, поднимая петли на чулках. За мной приезжали веселые, беззаботные компании в дорогих автомашинах, а дома был выключен газ и электросвет за неуплату.

Постепенно мое имя как актрисы кино стало довольно известным. Отец всем рассказывал, как однажды шофер такси, услышав имя Куприна, спросил:

7 Заказ 1261

— Вы не отец ли знаменитой Кисы Куприной?

Вернувшись домой, Александр Иванович возмущался:

— До чего я дожил? Стал всего лишь отцом «знаменитой» дочери...

К тому времени я снялась еще в ряде фильмов («Последняя ночь», «Лоретта», «Женский клуб» и др.). И вот в день моего рождения папа преподнес мне красную розу и шуточное четверостишие:

Ах! Нет другого мнения,
Всех краше в мире Ксения,
Твердят кинематографы
И всякие фотографы,
А также господин
А. Куприн.

Много раз с отцом вели переговоры об экранизации его произведений. Но мода на русских во Франции прошла, «славянская душа» надоела...

В 1927 году Голливуд заинтересовался «Поединком». Снова возникла надежда купить домик на юге Франции, избавиться от преследовавшей нас бедности. Переговоры длились почти год. Отец пошел даже на то, чтобы изменить «Поединок», сделать фильм со счастливым концом, как требовали законы Голливуда. Но все это ничем не кончилось. Последняя встреча отца с кинематографистами произошла в 1935 году. Некие, довольно темные, эмигрантские деятели пожелали приобрести права на экранизацию произведений Куприна. Отец решил вести переговоры самостоятельно, хотя и не имел никакого представления о гонораре и практической стороне дела. Меня и маму он отослал из дому, но я спряталась в соседней комнате.

Тогда мне, уже связанной с кинематографом, хорошо были знакомы нравы и обычаи некоторых киножуликов. Три мало почтенные личности приехали к Куприну с закусками и водкой. Они угощали отца, которому было строго запрещено пить. Затем стали подсовывать договор на кинопостановку «Ямы» по его сценарию. В договоре значилась абсурдная сумма. Но еще больше меня возмутило то, что Куприну в этой картине предназначалось играть роль старого пьяницы. Тут я не выдержала, ворвалась в комнату, накричала на этих субъектов и почти выгнала их. Отец был очень сконфужен, но в душе доволен моим поступком.

Так завершилась «кинокарьера» Александра Ивановича Куприна в годы эмиграции.

Тяжело жилось русским театральным актерам в эмиграции. Почти никто из них не смог поступить во французский театр из-за незнания языка. Часть из них жила в Доме для престарелых актеров, кое-кто работал гримерами в киностудиях, шоферами такси, некоторые на дому всей семьей шили игрушки, делали куклы, другие служили официантами. Но любовь к театру не угасала в их сердцах.

С большим трудом кому-то удавалось найти мецената, согласного помочь им раз в год нанять театр. И вот начинались репетиции в сарае или у кого-нибудь на дому по вечерам и ночам. Ставили «Живой труп», «Дядю Ваню», «Вишневый сад».

Страстно спорили насчет того, где стоял самовар в Художественном театре — направо или налево, из какой двери выходила Соня или Лиза. Споры иногда принимали острый характер, старики обижались, уходили, хлопнув дверью, через пять минут возвращались.

Наконец наступал долгожданный день. На один вечер все актеры чувствуют себя снова людьми. Зажигаются огни рампы. Играют всем сердцем и всей своей тоской по утраченной родине, утраченной любимой профессии, жалкие и трогательные.

Я помню, как Соню в «Дяде Ване» играла актриса Кржановская, семидесятилетняя дрожащая старушка. Очевидно, зрители помнили Кржановскую еще по России и видели ее молодой. В зрительном зале также идет своеобразный спектакль. Сюда пришли люди для того, чтобы вспомнить блестящие мхатовские вечера, свою молодость, свою страну. Здесь и допотопные старушки, вынувшие из нафталина бабушкины кружева, оренбургские платки; бывшие губернаторы, бывшие князья, все бывшие, бывшие, бывшие... Слышатся восклицания: «Ваше благородие, как поживаете?», «Княгиня, позвольте ручку поцеловать».

У меня было впечатление, что я попала в какой-то затонувший мир, где жизнь остановилась и все застыло на мертвой точке.

Я мечтала поступить во французскую консерваторию, единственную государственную театральную школу, но доступ туда был для меня, как эмигрантки, закрыт. Частные же школы были платными, а мои родители жили тогда в тяжелых материальных условиях. Поэтому свою артистическую деятельность я начала с кино, где в то время не тре-

бовалось никакой подготовки. Мой дебют в театре произошел позднее. Один юркий антрепренер решил сформировать актерскую труппу и поехать по городам Франции. Был подготовлен детектив, который назывался «Таинственная леди». Действие происходило среди английских офицеров в Индии. Я должна была играть секретаршу генерала.

Турне началось с Руана. Как назло в этом городе, где всегда идет дождь, в особенности в апреле, стояла чудесная солнечная, совсем летняя погода. Обрадованные жители Руана гуляли на улицах и парках и не собирались в театр. Билеты не продавались. В отчаянии наш антрепренер заставил нас проехать по городу в открытом грузовике, обклеенном афишами, в костюмах пьесы, представляя из себя живую рекламу. Но и это не помогло. Снятый напрокат Оперный зал был почти пуст. Перед выходом на сцену я помолилась Элеоноре Дузе, но и это не помогло.

В третьем акте происходит следующая сцена: мы окружены туземными войсками, генерал решает послать офицера прорваться на мотоцикле через линию врага за помощью. По ходу действия я стою на балконе, изредка сообщая генералу об удаляющемся звуке мотоцикла. Последняя моя реплика: «Генерал, звук вдруг прекратился, что-то случилось». За кулисами завели настоящий мотоцикл, шум он производил неимоверный, чему способствовала прекрасная акустика оперного театра и пустого зала. Стоя на балконе, повернутом за кулисы, я, к моему ужасу, увидела, что с мотоциклом никак не могут справиться и заглушить его. Растерявшись, я выпалила свою реплику под громовой хохот редких зрителей.

На другой день снова солнечная погода и еще меньше зрителей в зале. На третий день наш антрепренер, похудевший, небритый, с отчаянием объявил, что заплатить он нам не может и что мы можем возвращаться в Париж хоть по шпалам.

Несмотря на неудачный дебют, сердце мое уже навсегда завоевал театр.

Иногда, по старой памяти, мы бывали в цирке, но уже как рядовые зрители, чужие. Не было больше веселых друзей, теплых приветствий, встреч вне цирка. Незнание языка, чувство отчуждения и изгнанности давили на отца и убивали в нем веселую непосредственность, благодаря которой он немедленно мог сдружиться с людьми любой

профессии. Это болезненно отзывалось на его творчестве.

Помню, как нас познакомили со знаменитыми клоунами Фрателини. В антракте нас повели к ним в уборную, которая была очень оригинальна. Длинная, узкая, как коридор, набитая самыми разнообразными предметами: маски, парики, музыкальные инструменты. За недостатком места сотни бутафорий висели на балках скошенного потолка. В шкафу сверкали и переливались роскошные костюмы главного из Фрателини — Франсуа, всегда изысканно одетого. Их было трое, прославившихся на весь мир клоунов — Франсуа, Поль и Альбер. Их отец Густав родился во Флоренции и собирался быть доктором, но он страстно любил свободу и примкнул в качестве медика к восстанию против Бурбонов, возглавляемому Гарибальди. Густав попал в плен. Чтобы развлечь несчастных узников, он начал выдумывать гротесковые сценки. Так началась его карьера клоуна. Позднее он женился, у него было десять детей, из которых остались в живых четыре сына.

С двумя товарищами и с семьей началась кочевая жизнь Густава по Европе. Встретив в Германии импрессарио Смоленского, они приехали в Россию, где, как пишет Пиерр Мариела, пробыли одиннадцать лет.

Когда мы с отцом пришли в уборную Фрателини, они очень ласково приняли нас и между двумя мазками грима на ломаном русском языке вспоминали свою жизнь и приключения в России, которую они изъездили вдоль и поперек. Они считали, что, кроме парижан, русский зритель самый чудесный ценитель цирка в мире. Один из трех братьев — Альбер с улыбкой сообщил нам, что он родился в Москве и что при рождении его обмыли водкой. Детьми они уже участвовали в пантомимах. В каком-то затерянном уездном городке России два товарища, работавших с Густавом Фрателини, его покинули. Положение было катастрофическим. И вот в холодной избе началась настоящая клоунская карьера четырех мальчиков. С энергией отчаяния они в одну ночь срепетировали номер, который на другой день прошел с большим успехом.

Во время разговора в уборную вбегают молодые люди, девушки, дети — это все потомки трех братьев, они работают в цирке. Куприн жадно слушал быстрые фразы трех клоунов. Он спросил о своем друге Жакомино, но Фрателини только кивают головами и улыбаются: «Си, си, Жакомино». Когда разговор заходит о Дурове, они перестают улы-

баться. Оказывается, Фрателини не поладили с ним — и у них и у Дурова было по дрессированной свинье. Ссора приняла настолько бурный характер, что в Москве образовалось два лагеря: за и против иностранных клоунов... Директор цирка устроил торжественное примирение на арене, но это была только инсценировка — вражда так и не прекратилась.

Антракт кончился, пришлось прощаться с Фрателини. У отца как-то опустились плечи, ему не хотелось расставаться с любимым цирковым миром, который на несколько минут оторвал его от горькой эмигрантской действительности.

Глава XXVI

ГОРОД ОШ

Наша семья жила в Париже более чем скромно, но все мы трое любили мечтать о путешествиях, в случае, если с неба упадут деньги. Отцу очень хотелось поехать в Италию, на лечебный курорт Сальце Маджоре, где он отдыхал в 1914 году. Но деньги не часто падали с неба. Нам даже редко удавалось покинуть пыльный и жаркий город летом. В 1925 году отец отправился в старинный город Ош на юге Франции. Поселился он в небольшом пансионе, откуда часто писал маме.

Понедельник 19-8-25 г.

«Ош, 19 августа 1925 г.

Целую. Здесь хорошо! Крушение маленькое было: я выдавил ночью стекло во время сна. И еще целую (то было тебя, а это хрюшку).

А. К.

Пришли почтой ключ от большого чемодана.

Здесь пиво стоит 75 сантимов (дохлое и стакан емкостью в столовую ложку), а местное белое вино 30 сант., но пахнет клопом (я его пью за обедом). Живется так себе. Местность так себе».

Про город Ош.

«Он ничем не замечателен. Ж... город. Но тихий. Сегодня был язык с каперцовым соусом. Что-то важное я тебе должен написать, но вспомню по дороге.

Твой душевный Александр».

Французский маленький пансион на первых порах тоже казался папе неуютным и шумным, еда отвратительная.

«Знаешь что? Здесь кормят бяконно. Мясо или не прожевать или не котлеты, а жвачки, замазка. Рыбы нет вовсе. Больше макароны и сырое тесто, обмоченное во фритюре. А я-то дома, дурак, брыкался...

Прощай. Иду в баню. Денег не надо.

Саня».

Через несколько дней.

«Сегодня приехала 3-я сестра хозяйки с 7-ю детьми и бонной. За столом было 12 человек, да пять малых ели отдельно. Бабушка сейчас играет на рояле. Кажется, я больше 3-х недель не выдержу и напишу тебе правду, мне телеграфировать: «Выезжай срочно, хочу тебя!»

Да в 40-й раз спрашиваю, писать ли «Яму» или бесполезно. Не бойся, на расстоянии я кроткий, ни ругаться, ни бурчать не буду.

Ну, целую тебя
Твой любящий Александр».

Ош, 28 августа.

«Как я благодарю тебя, Лизанька, за то, что ты часто мне пишешь письма — этого раньше не бывало — должно быть, ты с годами стала умнее. Получаю их с радостью и читаю, облизываясь, по три раза.

Нет, я Ю-Ю не просил, кажется, переписывать. Но они все равно напечатали и со зверскими опечатками. Ю-ю, конечно, окончена. Отдали ее мешочнику и прощай. Ну, как они тебе? Как Жанетка? Чувствуется еще привязанность в словах?

Завтра вышлю тебе рассказы «Розовые жемчужины». Это, помнишь, любильный рассказ про лицеиста Лелюкина и про Александра III. Я писал нарочно посуше. Куда девать? Если Филиппову, я хотел, чтобы ты отстояла подпись Али-Хан. Может быть, Миронову за 150-200 — тогда фамилию.

Я тебя спрашивал, делать ли «Яму» или нет, авторы романов совершенно бесполезные дети в переделке своих вещей. Так делать ли?

Ммпцняуф. И звук поцелуя
Сан

Какие у нас с тобой лады... издали!

А ты рада, что я часто пишу?

Что-то Вы издали мне кажетесь не такой бякой, какой вблизи, мадам».

В 1925 году Макс Моррей, драматург, предложил моему отцу переделать для театра нашумевшую тогда «Яму» в переводе прекрасного переводчика Манго. Отец согласился, но пристроить эту инсценировку не удалось в каком-нибудь хорошем театре. Тогда Макс Моррей предложил инсценировку одному специфическому театру — «Гранд Гиньоль» («Театр ужасов»). Из-за трудного материального положения отец согласился. Инсценировку переделали, сократили до двух актов. Женька, героиня пьесы, на сцене разрезала себе горло с хриплыми криками. Во время репетиций несколько раз отец протестовал, например, когда захотели одеть девиц в русские национальные костюмы, а также против всякой другой неизбежной «клюквы».

Спектакль шел месяцев шесть и, конечно, никакого удовлетворения отцу не принес.

После десятидневного пребывания в городе Ош отец написал свой, как он сам его называет, «прелестный рассказик-поэму «Южные звезды» и «Французская деревня».

Отец открывает всю прелесть города Ош[1]. 1 сентября 1925 года он пишет мне:

Chere Kissssssa!

Такой charmeuse я вообще не встречал, как ты. Признание во мне мужчины, — в то время, когда уже и я сам и другие в этом сомневаются, — разве можно сказать что-нибудь более лестное и приятное человеку моего возраста.

Я бы очень хотел, чтобы ты, после того как я обследую здесь место, приехала сюда погостить одна. (Конечно, я еду). Здесь прекрасный воздух, тишина и широкий, далекий простор для зрения. Весь сентябрь будут гостить дочери хозяйки: одна 27 лет, другой 24, третья — двенадцати. Они все хохотушки, а, главное, чудесно говорят на том изысканном, аристократическом французском языке, который, кажется, теперь пропадает, вытесняемый арго улицы.

---

[1] Описание старого города и представления «Фаворитки» вошли в цикл «Юг благословенный».

Я бы хоть завтра уехал, но лишь вчера открыл старый город — крепость с башнями и арками, с тайниками, со страшными узкими улицами — лазами, которые называются Les Poustrelles и так круты, почти отвесны и притом длинны, что, когда я начал спускаться по одной, у меня задрожали ноги и закружилась голова; все-таки спустился крошечными шажками, хватаясь за ставни и за подоконники домов. В этом старом городе для меня клад.

Здесь в новом городе я открыл превосходные бани. Стоит 2 фр. 25 с. Есть два кино, но очень мизерные. Есть еженедельный foire (рынок) птиц, лошадей, быков.

Вчера я был в театре на представлении оперетки Доницетти (XVII столетия) «Фаворитка», под открытым небом и освещением электрическим и лунным, а вместо стен — два ряда старых огромных платанов.

Целую тебя, моя дорогая
Твой А. Куприн.
Вдруг ответишь?

Уже во всех последующих письмах видно, насколько плодотворно повлияла на Куприна перемена обстановки. Он очень много работает.

Сент. 1925 г.

«Ми Ли!

1) Как же вы обе живете и что делаете?

Завтра посылаю Филиппову «Ю-Ю». Послушай: ведь две статьи в неделю будет не 150 франков, а целых 200. Как бы Филиппов здесь не вильнул хвостом. Все-таки вам двум пусть лишние 50 пойдут на орехи. Прислал ли деньги Миронов? Здесь мое письмо к нему. Приставь-ка адрес и брось в ящик. Почему не пишет? Муху проглотила? Закончила ли Ксения кроссворд? Чем вы занимаетесь? Кто у вас бывает? Знаешь ли, что сроки ломбардные подходят?

Я много пишу. Жаннетка у меня спорится.

Раньше, чем не кончу наброски «Ямы», свою пьесу, Жаннетку и «Царя царей» — не уеду. Я вам докажу, что характер у меня стальной, двойной закалки. Отдал сапоги в починку (19 франков). Новые ужасно грубы.

Был в соборе. Витраж и резьба по дереву восхитительны. Газету нашу все не получаю. Неужели эта дырявая голова забыла? На этой неделе я послал две статьи. Хоть бы ты вырезала и переслала!

Ну, что же? Конечно, вас обеих целую, хотя знаю, что без никакой взаимности.

Впрочем, весь ваш Хан, Али-Хан, Эскандер-Бренче».

Отец во многих письмах советуется с мамой. Вот коротенькие выдержки:

Ош. 21—8—25.

«Ли!

Нарочно посылаю тебе «Ю-Ю», чтобы ты видела, какая она большая и хорошая».

«Завтра пошлю тебе продолжение «Ю-Ю». Полагаюсь на твой вкус, вводить ли черного кота в рассказ или нет. Он не помешает, тем более задуман по-своему. Но сообрази: в сборнике будет и «Ю-Ю» и продюссерский кот. Впрочем, все зависит от достоинства. Жду твоего мнения. А остальные также еще раз прошу переписать и мне прислать. Понравилась ли тебе моя «Звезда», или ерунда?»

«Вот, маменька, прочти это. Если хорошо — включим в «Жаннету»— либо в 1-ю главу, либо отдельно 2-й главкой».

«За «Звезды» спасибо. Ты редко хвалишь. А «Ю-Ю»? А ничего о «Жаннете». Да переписываешь ли ты их?»

Ош. 9—25.

«Милая Лиза!

Писаревские вдруг прислали мне сегодня 100 фр. (после того как я им написал очень нежное письмо, отказываясь ехать на бой быков в Байоне. Предлог — спешная работа по беллетристике). Оставалось что делать: послать мне 100 обратно и обидеть их, или уж ехать. Я поехал, мамочка. Статью о бое быков ты можешь заранее продать за 500 франков Гукасову, через Миронова. Эти вещи я мастерю горячо и быстро. Что не пишешь.

А. Куприн».

Писаревские были нашими друзьями. Я не помню, чем он занимался, но это была довольно состоятельная пара. Его жена была молодая и хорошенькая женщина, увлекавшаяся скульптурой. Она лепила бюст Александра Ивановича и отчаянно с ним кокетничала.

«Мили!

Вчера, в понедельник 7-го, приехал из 4-дневного курсирования. Был в горах, у океана (в Биаррице), на бое быков в Байоне и не только сам растрясся на ж. д., но растряс и все деньги, какие скопил, придерживаясь свирепейшей экономии. Но зато Писаревских ничем не обременил. Умен?

Приехал в понедельник. Увы! От Филиппова денег не нашел. Хозяйка косится. Вчера послал вечером тебе телеграмму. Бамбук! Целую.

АКА».

Вторник, 8-го — 25. Ош.

В кармане 2 франка.

Ну, Любинька-маленька, ведь я четыре дня потрясуном на ж. д. и не сразу пришел в себя: все еще ехать, ехать. Теперь опять вошел в работу. Полный тем... Ой, не скучно ли? Не топчусь ли я на одном месте?

Приехал в понед., не застал я денег. Но потревожился не особенно много, попросил подождать до завтрева. Во вторник действительно пришли Филипповские, а сегодня, в среду,— твои. Не бойся, не растрачу. Но дорога в Luз, в Бойону, в Биорицу у меня ловко обошлась на положенные деньги. В будущую среду уеду. Сначала протелеграфирую тебе, сколько мне надо будет выслать. Боюсь я за «Бой быков». Он выйдет так ярко, что глаза слепить будет. Несмотря на то, что это зрелище описано 1000-й раз, из которых я читал не меньше ста описаний, мне удалось найти и совсем новое. На мое счастье, напр. один «Espada»: торжественно посвятил быка, который еще носился по арене, своей старушонке матери. При мне один бык вел себя таким героем, что я сам орал от восторга. При мне же были и большие неудачи и т. д. А главное — краски! Очень я боюсь, что дешево заплатят. Больно сюжет мне мил.

Напомню тебе о ломбарде. Что Ксения? Рисует ли? Я получил от нее очень милое, остренькое письмо. Но грамота! грамота!

Странно, что я соскучился по вас, а обе вы — нет по мне. Или не хотите расслаблять моей воли? Умницы.

По-французски я совсем разучился говорить. Надоело напряжение, с каким приходится вот уже месяц 2 раза в день по два часа ловить смысл их быстрых слов, переводить

их себе на русский, потом составлять русский ответ и переводить его на французский.

Целую вас обеих.

Матреше поклон. Что же? Она опять уедет через месяц кровя разгонять? Да пусть она попробует делать домашние колбасы. Вот поел бы.

Твой Алекс...

Бывают ли Ладыженский и Н. Рощин [1]?

Да! Пришли-ка мне на французском «Caniche blanc» («Белый пудель»), для подарков «Soulamith».

Рассказ «Бой быков» впоследствии был назван «Пунцовая кровь».

В следующем письме папа пишет:

«...Нет уж лучше прикреплюсь к Ошу и уеду, когда исполнится месяц ровно, то есть. Здесь я ездил в III классе. Обратно поеду вторым, с оплаченным сидячим. Все равно ночь не спишь и так и так. А то и в III скамейки мягкие. Я в дороге в вагоне успел написать 8 страниц Жаннетки.

Что ругаешься? Бяки-обстояки? Или от неудовлетворенности? Ну, скажи не ехать на лекции, я и не поеду. Я и без обид вовсе. Мне за самого себя только обидно. Стараюсь, работаю над собою, окончил детские курсы и все проваливаюсь. Но мне кажется, я теперь совсем уже поумнел.

Целую. А. Куприн.

Как это меня сразило, что обычных понедельничных Филипповых денег не было вовремя!!! Куда отдашь «Бой быков» (с картинками). Это будет беллетристика чистой воды! Обсасываю тему с удовольствием.

Жаннетка вырастет строк до тысяч двух. Ох, беда—продешевишь. Тебе мой профессор не очень нравится. Ну, да ты пристрастна. Пиши часто и ласково. Получил от Апель письмо. Там и о жареных гусях. Поел бы я их, грешник. Где спит Матрениха? И где они уместятся, если я приеду».

---

[1] В. Ладыженский и Н. Рощин — русские писатели-эмигранты.

В то время была у нас домработница Матрена, сорокалетняя безграмотная бабища, заброшенная глупым случаем на чужбину. В 1919 году она плавала на корабле в качестве судомойки и так и не поняла, каким образом очутилась в Париже. Отец называл ее Матренихой.

Ее мечта была выйти замуж и стать не мамзелей, а мадамой. Года через два у нее появился ухажер Ленечка, для которого стали копиться деньги и обновки.

Вскоре Ленечка уехал куда-то на заработки, и началась переписка с активной помощью отца. Вначале он просто писал под Матренину диктовку в стиле «Здравствуй, Ленечка, привет от Матрены», но потом вошел во вкус и начал разводить тонкую лирику.

Вся наша семья принимала горячее участие в сердечных делах Матрены. Как-то влюбленные условились, что если кто-нибудь из них захочет порвать, то не надо слов и объяснений, достаточно будет послать завядшие розы.

И вот однажды приходит картонка на Матренино имя. Побледнев, она развернула и грохнулась в обморок среди засохших лепестков, рассыпавшихся на полу.

Вскоре Матрена утешилась, выйдя замуж за русского сапожника.

Но мне всегда было немного жаль, что пропали папины письма, так как Ленечка, конечно, и не подозревая, кто автор, уничтожал их.

Глава XXVII

САША ЧЕРНЫЙ

Когда я думаю о Саше Черном, то у меня перед глазами встает он таким, каким я его видела очень часто в последние годы в Париже. Легкие белые пушистые волосы, каких я ни у кого не встречала и даже не могу найти сравнение, на что они были похожи. Голос тихий и очень молодой. Большие черные выразительные «чаплинские» глаза. Когда он смотрел на детей или на цветок, у него появлялось на лице что-то очень светлое, похожее на отсветы ярко разукрашенной новогодней елки на лице ребенка. Очень скромный и неприхотливый в быту, тихий и молчаливый на людях, он все видел и замечал в преломлении своего своеобразного и беспощадного юмора.

Саша Черный был на десять лет моложе А. И. Куприна. Он часто приезжал к нам в гости в Гатчину. Я тогда была еще совсем маленькой и не любила чужих. Саша Черный подарил мне свою книжку с надписью: «Мрачной девочке Ксении».

Гатчинскую гостеприимную и шумную жизнь он описал в стихотворении «Пасха в Гатчине».

Из мглы всплывает ярко
Далекая весна:
Тишь Гатчинского парка
И домик Куприна.
Пасхальная неделя,
Беспечных дней кольцо,
Зеленый пух апреля,
Скрипучее крыльцо...
Нас встретил дом уютом
Веселых голосов
И пушечным салютом
Двух сенбернарских псов.
Хозяин в тюбетейке,
Приземистый, как дуб,
Подводит нас к индейке,
Склонившей набок чуб...
Он сам похож на гостя
В своем жилье простом...
. . . .

Саша Черный в 1919 году очутился в Ковно в Литве, а потом эмигрировал в Берлин. Там он принял деятельное участие в журнале «Жар-Птица», организованном наподобие петроградской «Жар-Птицы», в которой он сотрудничал.

Александр Иванович Куприн всегда любил и ценил Сашу Черного и очень обрадовался, получив от него письмо из Берлина. С тех пор их связь не обрывалась. К сожалению, ответов Куприна мне не удалось разыскать. Мне кажется, что письма Саши Черного к Куприну особенно интересны потому, что ярко рисуют жизнь в Берлине в тяжелые годы эмиграции.

«Дорогой Александр Иванович!

От А-ра Митр. Федорова[1] узнал Ваш новый адрес. Он

[1] А. М. Федоров, писатель, друг Куприна еще по Одессе.

пишет, что у Вас есть его рассказ «Сила земли», который просит переслать мне для журн. «Жар-Птица».

«Птица» эта наконец выйдет между 1 и 5 авг. Я Вам писал, давно уже, — просил дать несколько страниц в этот журнал. Ответа от Вас не получил. Прошу опять о том же. Помимо того, осенью в Берлине затевается литературный альманах «Грани», может быть, и для этой затеи у Вас найдется что-нибудь? Деньги Вам сейчас же по получении рукописей будут высланы (размер гонорара по Вашему указанию).

Жить все невыносимей, только в работу прячешься, да и та скрипит: до словесности ли сейчас...

Так бы хотел Вас повидать, иногда кажется, что и прошлого не было... Да никуда не выбраться: на крупу хватает, а о разъездах мечтать не приходится. С «Жар-Птицей» к Вам пристаю не потому, что я «завед. литературной частью», а потому, что хочется Ваше живое слово услышать. О далеком ли, о том, что после нас будет, о том, чего никогда не было, — все равно...

Если знаете, сообщите адрес Ив. Ал. Бунина — говорили, что он переехал. Месяц провел у моря, послезавтра возвращаюсь в Берлин. Не надо ли Вам в Берлине чего-либо по вашим литературным делам? Напишите: я здесь всех крокодилов знаю.

Сердечно кланяюсь Вашей жене и Вам. Жена кланяется Вам обоим.

Преданный Вам Черный.

2 августа 1921 г.
Адрес тот же.
Берлин».

Письмо Саши Черного Куприну А. И. из Берлина.

23/XI-1921 г.

«Дорогой Александр Иванович!

Я валяюсь все время в постели, болен — поэтому и молчал. Вот сегодня голова свежее, и я решаюсь ответить Вам на Ваше невеселое письмо.

О чем писал бы сейчас Чехов, если бы жил с нами в эмиграции? И кто угодно из настоящих (независимо от табели о рангах) что может еще сказать?

И вот иногда и пишешь, то точно доскребываешь из

нутра остатки правды и последней боли: вокруг валюта, подрастающие незнакомцы с политехническими телодвижениями... Скучно. Вот, бог даст, последняя надежда, удастся уехать к знакомым на хутор (в Германии) и работать на земле.

Через «Грани» справлялись как-то какие-то люди, уступите ли Вы «Звезды Соломона» для фильма? Я обещал написать Вам — такие предприятия, кажется, не плохи, если не попасть в лапы крокодилам. Может быть, дать Ваш непосредственный адрес?

Отчего Вы не присылаете перевода «Дон-Карлос»? Я Вам немецкий текст ведь давно выслал. Хотелось бы все-таки для детей еще что-нибудь состряпать: они тут совсем отвыкают от русского языка, детских книг мало, а для них писать еще и можно и нужно: не дадите ли несколько страниц для детского альманаха?

Пишу Вам криво и грязно, лежа писать не приноровлюсь никак. Целую Вас дружески и сердечно. Не радует ни «пышность» «Жар-Птицы», ни сравнительное благополучие собственной шкуры, а переезжать на Мадагаскар поздно — и денег нет и не привыкнешь. Приходила ли Вам мысль о переезде сюда, в Германию, — здесь все же бездна всякого литературного дела, — а людей чуть-чуть... Жду Вашего «Дон-Карлоса» и сердечно кланяюсь.

Ваш А. Черный».

Письмо Черного Саши Куприну А. И. из Берлина.

«Дорогой и милый Александр Иванович!

Очень меня Ваше письмо огорчило, а я, видит бог, ни в чем против Вас не согрешил. Послал Вам по получении Ваших книг, писал Вам вторично (заказным) с сердечной просьбой помочь нашей берлинской «Жар-Птице» Вашей работой, — в третий раз писал Вам из . . . . , где я пробыл месяц — опять просил о том же. Первые письма посылал на Ваш старый адрес: не дошли они, что ли? Вырезку с Вашим отзывом обо мне не получил, но прочел отзыв этот в «Общ. Деле» и конечно, он ценен для меня, как каждое Ваше доброе слово. Единственно, в чем виноват, — что не отозвался на Ваше приглашение в «Отечество». Но признаюсь: я Вам до того писал с просьбой о сотрудничестве в «Жар-Птице» — Вы не ответили, вот я немного и скис...

Помимо того, у меня вместо «отечества» такая черная дыра на душе, что плохой бы я был сотрудник в журнале под такой эмблемой.

Слухи о Вас? Я их не знаю, — всякие слухи эмигрантско-вшивого толка отталкиваю с бешенством, и если бы даже услышал, что Вы родную тетку сварили в котле со смолой, — ничуть бы это не изменило моей большой любви к Вам.

И опять пристаю к Вам с тем же: каждое присланное Вами слово будет и для меня лично и для журнала большой радостью. Вы настоящий — и когда Вы молчите и когда о Вас ничего не слышно, а русский язык поступает в исключительное владение разных прохожих людей в литературе — обидно и досадно... Я... и ценю и люблю Вас раз навсегда и окончательно и дошел до этого сам.

Будьте здоровы, сердечно жму Вашу милую руку, только ради бога, не называйте меня больше никогда «глубокоуважаемый»

Неизменно Ваш А. Черный.

9/VIII-1921 г.

Стихи и рассказ Федорова получил — спасибо. Если знаете, сообщите адрес И. А. Бунина, — говорят, он переехал?

А. Ч.»

Издательство
«Грани»

Саша Черный (А. М. Гликберг) — А. И. Куприну
Берлин, 1921, 20 декабря.

«Здравствуйте, дорогой Александр Иванович!

Последние дни вспоминал о Вас, перечитывая Вашу «Белую акацию», «Воспоминания о Чехове» и статью «О Гамсуне». Радовался чудесной Вашей простоте и увлеченности — нет их больше в русской литературе...

Ремизовы, Белые — язык профессиональных юродивых, надменно-манерные периоды задом наперед, а внутри мыслишки ценою в дырку от бублика. Откуда они? И ведь талантливые люди, вот что обидно, но растягивать талант, как резинку, до гения — нельзя безнаказанно никому.

«Дон-Карлоса» получил. Прочел его в один прием: очень хорошо! Задача была опасная: белый ямб в 200 с лишним страниц и слона укачает, да и вся эта шиллеровская постройка немного мохом обросла (все же это не «Фауст» и не

«Ад»), — но выполнена работа великолепно. Исчезает ощущение перевода, плавность и стройность подлинного старого мастерства, — я думаю, что только «там», закрываясь такой работой, как ширмой, можно было так увлекательно выполнить такой труд. Несколько мелких «спотыкачей» я с Вашего разрешения отметил, — на днях перечитаю опять и выпишу их для Вас, все это мелочи может быть, я ошибаюсь.

Завтра у меня будет издатель «Граней». Поговорю с ним о деловой стороне этого издания, и он Вам напишет тотчас издательскую бумажку со всякими цифрами (сколько печатать и пр.). Общие условия в «Гранях» — 15% с продажной цены, — к сожалению, валютная разница превращает местные гонорары в переводе на франки в вербную свинью, из которой выпущен воздух.

Рассказ Ваш (или сказку?) «Воробьиный царь» еще не получил. Книжку свою («Сатиры I») переиздал с дополнением, на днях Вам вышлю. Нужна ли она сейчас кому-нибудь?..

Так трудно жить! И все-таки надо, — нельзя же торжествующим сукиным сынам и последние человеческие вакансии уступать. Да и писать еще хочется, несмотря ни на что.

«Жар-Птицу» с январского номера, вероятно, редактировать больше не буду. Устал, а коммивояжерствовать по добыванию изящной словесности для каждого номера все труднее и невыносимее — да и где она, эта словесность?

Марья Ив(ановн)а Вам и жене Вашей сердечно кланяется. Ей легче: она дает уроки русской истории и литературы, учит ПРОШЛОМУ, это м(ожет) быть, самая благодарная работа сейчас. О «Звезде Соломона» завтра переговорю с издательством «Граней». Это через него справлялись об этой вещи какие-то фильмовые детоубийцы.

Если у Вас есть Ваша фотография, пришлите: будет у меня тогда к Новому году чудесный подарок.

Сердечно преданный Вам
Ваш Черный».

Письмо Саши Черного А. И. Куприну из Берлина.

«Дорогой Александр Иванович!

На днях приводил свои бумажные джунгли в порядок и,

перекладывая Ваши письма в толстый непромокаемый конверт, думал о Вас. И вот от Вас письмо.

Рукопись «Воробьиного царя» у меня, завтра вышлю бандеролью. В «Гранях» я не работаю свыше года, только терплю от них очередные огорчения, получая вместо гонорара за «Сатиры» натурой, то есть свои же книги. Но на днях я там буду и скажу, чтобы Вам переслали авторские экземпляры «Воробьиного царя».

У нас дожди, холод, ветер и мгла со всех сторон. Знакомый дантист, не лишенный геологической интуиции, уверял меня, что приближается пятый ледниковый период. Это ко всему-то остальному! Собственно следовало бы после таких слов избить его и повеситься на подтяжках — а я вот принимаюсь за большую книгу для детей... Авось хоть в раскопках найдут.

Собираемся с женой в Италию: ей предлагают там уроки, а у меня на несколько месяцев будет литерат. работа (все по детской части), с возможностью перевода в Америке на англ. и евр. языки (от двух бортов дуплет в угол). Ждем визу и укладываем вещи: накопилась чертова куча хлама — то патентованный самозажигатель, то упражнения в заумном языке г. А. Белого в семнадцати томах; что брать с собой, что выбросить — решить не легко.

Посылаю Вам свою третью книгу стихов «Жажда». «Издание автора» — очень сложная комбинация из неравнодушного к моей музе типографа, остатков случайно купленной бумаги, небольших сбережений и аванса под проданные на корню экземпляры. Типографию уже окупил, бумагу тоже выволакиваю. Вот до чего доводит жажда нерукотворных памятников...

Посылаю Вам также второй экземпляр для И. А. Бунина, адреса которого не знаю, и прошу Вас передать ему эту книжку вместе с поклоном.

Будьте здоровы, дорогой Александр Иванович. Семейству Вашему оба кланяемся. Из Италии напишу Вам обстоятельно, есть всякие планы, надо что-нибудь для детей сделать, да в здешней оголтелой жизни три с лишним года как в котле выкипели.

Ваш А. Черный».

Письмо Черного Саши Куприну А. И. из Рима.

«Дорогой Александр Иванович!

Письмо Ваше залежалось в Берлине на нашей старой квартире и только на днях переслали его в Рим. Получил и номер «Русской газеты» с Вашим рассказом. За посвящение — спасибо.

Теперь совсем о другом, дорогой Александр Иванович. Живем в Риме пока сносно, у жены постоянные уроки (с детьми Л. Н. Андреева), я продал свой «Дет. остров»[1], франц. и америк. издательству (право перевода). Очень хочется писать для детей. Русских журналов для детей нет, альманахов — тоже. Если есть в Париже франц. журналы для детей (несомненно есть), то куда и что посылать для перевода (прозу, конечно)? Если Вы в данном случае можете немного помочь мне, глубоко буду Вам обязан.

Жене Вашей кланяемся оба. Вам сердечный привет. Книг здесь нет, знакомых — ни души. Вообще, как в погребе.

Ваш А. Черный».

В Риме Саша Черный прожил около двух лет. Его жена Мария Ивановна продолжала давать уроки детям Леонида Андреева. Успех пьесы Л. Андреева «Тот, кто получает пощечины» в Америке и в Берлине давал возможность его вдове вести безбедную жизнь.

Мой отец позднее вспоминает свою встречу с Сашей Черным в Париже, куда он решил переехать из Рима.

«Ох уж это время! Неумолимый парикмахер. В Петербурге я видел его настоящим брюнетом с блестящими черными непослушными волосами, а теперь передо мной стоял настоящий Саша Белый, весь украшенный серебряной сединой».

Поселились они в маленькой квартирке и жили очень скромно, но не нуждались, так как Мария Ивановна продолжала давать уроки русского языка. Она была человеком волевым, организованным.

В России Саша и Маша Черные также жили очень неприхотливо, их желания и требования всегда были разумны и ограничены. Детей у них не было. Они никогда не жаловались, как остальные эмигранты, на бедность.

---

[1] «Детский остров», большая книжка для детей в стихах.

Знакомых, собутыльников, приятелей у моего отца за всю его пеструю жизнь было множество, но таких друзей, которым он отдал безоговорочно свое сердце, было, пожалуй, не больше пяти-шести. Саша Черный был последним таким другом. Мария Ивановна очень подружилась с моей мамой. В 1924 году в Париже отмечалось 35-летие творчества А. И. Куприна. Саша Черный написал статью «Тридцать пять лет». Вот отрывки из нее.

«...Александр Иванович Куприн — одно из самых близких и дорогих нам имен в современной русской литературе. Меняются литературные течения, ветшают формы; исканий и теорий неизмеримо больше, чем достижений, но простота, глубина и ясность, которыми дышат все художественные страницы Куприна, давно поставили его за пределы капризной моды и отвели ему прочное, излюбленное место в сознании не нуждающихся в проводниках читателей. Ибо нет в искусстве более высокого и трудного строя.

...Нашел в нем исключительно широкого выразителя,— словно не книга, а сама жизнь раскрывает перед нами одну зеленую страницу за другой. Не судья, не прокурор, автор всегда с нами, — никогда не над нами. Нам, простым смертным, с ним легко и радостно: поймет и никогда камнем не бросит.

...А здесь на Западе книги его совершают новый круг: в переводном отражении они входят в тесное и живое общение с европейским читателем и все шире привлекают к себе внимание далеко не гостеприимной к иностранцам критики. Эмигрировал в общем потоке не только автор, но и его книги. Кто лучше и полнее его расскажет недоверчивым чужим людям об огромной несуразной и милой стране, называвшейся Россией?»

Кончает статью Саша Черный пророческим пожеланием, что наступит день, когда Куприну не придется по газетным объявлениям, словно пропавших без вести родных, разыскивать свои книги. Они возродятся и будут в каждой русской культурной семье желанными и испытанными друзьями.

* * *

Интересна история маленькой французской бухточки, превратившейся в русский поселок. Там жили и похоронены Саша и Маша Черные.

Для того чтобы рассказать, как возник этот поселок, я возвращаюсь в далекое прошлое.

В 1900-х годах Александр Иванович в свой второй приезд в Ялту познакомился с писателем С. Я. Елпатьевским и близко сошелся с его семьей. Жена Елпатьевского, Людмила Ивановна, приняла большое участие в молодом Куприне. А в дочь Ельпатьевского, тоже Людмилу, А. И. был, по своему признанию, в ту пору немножко влюблен.

В 20-х годах, уже в эмиграции, Куприн ей пишет:

«В 1901 году в Ялте Вы, вероятно, и не подозревали того, что я в Вас был немножко влюблен? И конечно, не помните, как смешно и печально окончился этот односторонний роман?

Мы спускались с Дерсановского холма в ослепительно яркий летний день. Вы были в белом легком платье, которое Вам изумительно шло. Я в чем-то светло-синем из альпага или фланели. И вот, когда мы обогнули церковь, на самом крутом месте спуска и на самом критическом месте разговора случилась катастрофа. Мне помнится, будто я уже прижал левую руку к сердцу, а правую готов был простереть к голубому небу, как вдруг споткнулся, упал поперек густопыльной дороги и покатился по ней, подобно кегле. Встал я белый как мельник и на этом белом фоне — пунцовое от стыда лицо! Первым Вашим движением было — убежать или сделать вид, что Вы вовсе незнакомы с экстравагантным молодым человеком, вздумавшим кувыркаться среди бела дня на улице модного курорта. Но природная доброта взяла верх. Вы не только не бросили меня в этом моем идиотском положении, но даже милостиво помогли мне привести себя в сравнительно человеческий вид. Помните?»

Точно не знаю, когда на западном побережье Черного моря кто-то открыл райский уголок Баты-Лиман, совсем дикий, огороженный скалами и громадными соснами. Залив Баты-Лиман по-татарски значит Западный залив. Землю продавали за бесценок, и вскоре там образовалась своего рода колония.

Пайщики принадлежали к артистической, литературной и художественной среде. Художник Билибин, Короленко, Титов, писатель Елпатьевский, Милюков, Чириков, Сулержицкий, Швецовы. Многие из этих людей оказались в эмиграции. В начале 20-х годов семья Швецовых открыла на французской Ривьере первобытный уголок — Лафавьерскую долину, напоминающую Баты-Лиман.

До первой империалистической войны Лазурный берег был в моде только зимой, в феврале; Ницца и Монте-Карло, знаменитый карнавал цветов в феврале. Еще не было модно жариться на солнце. И только после 20-х годов начали разрастаться курорты Канны, Сан-Рафаэль и другие и совсем вытеснили Ниццу.

От Тулона берег разделен горами по имени Эстерель, по которым вьется дорога со множеством крутых поворотов.

Все модные пляжи начинались от Эстерель до Монте-Карло. А от Эстереля до Тулона в середине 20-х годов были совсем пустынные берега. Маленький курорт Лаванду состоял из двух гостиниц, деревушки и многокилометрового пустынного пляжа. С одной стороны после семи километров соснового леса в море врезался мыс Гурон, защищавший маленькую бухту под названием Ла Фавьер.

Лафавьерская долина принадлежала пяти-шести провансальским фермерам, имеющим виноградные и, главным образом, оливковые плантации. Разбогатев, они стали продавать лишнюю землю по баснословно низкой цене, так как туда не вела ни одна дорога, не было ни канализации, ни электричества, ни лавок, ни вообще какого бы то ни было признака цивилизации.

Людмила Елпатьевская вышла замуж за Н. А. Врангеля (ничего общего не имеющего с «Черным бароном»). Отец Николая Александровича, А. К. Врангель, жил в крымской деревушке Чергун во время севастопольских событий и по просьбе Куприна принял и укрыл матросов с крейсера «Очаков» в 1905 году. Врангели эмигрировали сначала в Болгарию. Оттуда Людмила Сергеевна вела с Александром Ивановичем частую переписку.

Через год к Швецовым на юг Франции приехал писатель Гребенщиков[1] и Врангели. Все были очарованы окружающей природой и решили устроить второй Баты-Лиман. Знакомая фермерша продавала целый холм вместе с заливом и пляжем, цена была что-то по 5 франков квадратный метр. Решили купить землю, разделить ее на куски и тянуть жребий среди желающих. Таковых оказалось много, прежде всего баты-лиманцы Елпатьевские, художник

---

[1] Г. Д. Гребенщиков, сибиряк, писатель-реалист, эмигрировал в 20-х годах. Его главным произведением был роман «Чураевы» в нескольких томах, сага из сибирской жизни, которую он писал в течение 23 лет.

Билибин с женой Щекотихиной, Титовы, профессор Метальников, Белокопытов, Гребенщиков, А. Л. Рубинштейн, Милюков, Саша и Маша Черные, Мечников, жена которого была художницей и скульптором, и многие другие.

Куприным было тоже предложено вступить в пай. Мой отец, всегда мечтавший осесть на землю, загорелся. Он пишет Врангель-Елпатьевской:

«Саша и Маша, кажется, отступились от земли, обещали мне передать свой участок. Но — вопрос, натужусь ли я для покупки и своих 600 сажен? Скоро будет общее заседание, где землю поделят, а затем надо будет в 10-дневный срок внести деньги. Кто не внес — из игры вон. Жду ворона, который спустится с неба с кредитными билетами в клюве».

К сожалению, ворон не прилетел, а Саша и Маша Черные все же купили участок с крошечным виноградником.

Белокопытов привез с собой казака П. Г. Мосолова, помогавшего строить домики. Те, у кого были средства, построили дома, напоминающие дачи Баты-Лимана, другие, а их было большинство, строили хибарки. Вид поселка был в общем довольно первобытный.

В 1929 году мои родители сняли там рыбачью хижину, одиноко стоявшую на выдающемся в море утесе. Там Куприн написал серию очерков «Мыс Гурон».

Я в то время только что снялась в первой кинокартине, и со мной подписали договор на год. Успех опьянил меня, и я разыгрывала из себя кинозвезду, отягощенную славой. Конечно, жить в хибарке без удобств я категорически отказалась и поселилась в Лаванду, в скромной гостинице. Я часто посещала родителей в их хижине, по местному называемой «кабано», легко проходя шесть километров сосновым, звенящим цикадами, лесом. В ту пору я еще была в том счастливом возрасте, когда жара и самые палящие лучи солнца нипочем. А иногда я брала напрокат тяжелую широкую лодку и с трудом гребла, преодолевая течение и прибой вокруг мыса Гурон. В своем очерке отец описывает меня как некую барышню Наташу. Молодое поколение русских туземцев Ла Фавьера я игнорировала. Иногда мои родители приходили ко мне в Лаванду, и мы проводили день на пустынном пляже, барахтаясь в ласковом Средиземном море.

Сын художницы Щекотихиной — Слава Потоцкий рассказал, что однажды Саша Черный в ярком синем костюме поехал кататься на лодке. Возвращаясь к мысу Гурон, на

причале он оступился и упал в воду. Новый синий костюм оказался очень недобротным и весь полинял. Александр Иванович, сидя на лесенке своего «кабано», острил, что Саша Черный стал сначала Белым, а теперь Синим. Сашу Черного всегда сопровождал фокстерьер Микки, герой рассказа «Дневник фокстерьера Микки».

Уже километров за двести до Средиземного моря чувствуешь специфический запах — запах мирта, хвои, морского прибоя. Он настолько сильный, настолько терпкий, что раздражал отца, а для меня остался как бы запахом юности.

А такой голубизны, как на Средиземном море, я нигде не видела. Даже самые размалеванные открытки не передают всей яркости красок поистине «Лазурного» края.

От Тулона по берегу шла маленькая железная дорога — какая-то семейная, домашняя. Часто машинисты останавливались на каком-нибудь полустанке, шли выпить с друзьями стаканчик знаменитого «пастиса» или поиграть в «петанк». Эта игра — самое излюбленное занятие провансальцев. В нее играют все и всюду, днем и ночью при свете луны. Играют, разделившись на два лагеря, металлическими шарами величиною с большой апельсин, позолоченными и посеребренными. Вначале кто-нибудь швыряет на неопределенное расстояние маленький деревянный шарик под названием «свинюшка». Игра заключается в ловкости метания шаров. Выигрывают те, чьи шары окажутся ближе к «свинюшке». Все это сопровождается чисто итальянскими жестами и возгласами. А если какой-нибудь пассажир торопился, то ему машинист отвечал с белозубой улыбкой: «Э-э...»

Часто письма, пакеты, посылки выгружались прямо на скамейку, и кто-нибудь оповещал жителей: «Эй, мсье... у вас там на скамейке срочное письмо...»

Интересны быт и нравы островов напротив Лаванду. Остров Дю Леван был куплен французским обществом нудистов, то есть людьми, проповедующими пользу житья-бытья в полной наготе. На этом острове добропорядочные французские буржуа проводят свои летние каникулы нагишом. И, странное дело, когда попадаешь туда одетым, то не им становится стыдно, не они чувствуют себя неловко, а вы. Натуральная жизнь настолько здесь естественна, что у многих людей приобретается нечто от животной грации, какой-то первобытности. Нравы там не разнузданные, а ско-

рее патриархальные. Шутников и безобразников с этого острова выгоняют.

Другой остров — Поркро. Он целиком принадлежит какой-то очень богатой француженке. Там есть маленький рыбачий поселок, две очень комфортабельные гостиницы — и все.

Мне очень понравились коренные жители этого острова. Все они рыбаки. Десяток семейств. Покормив детей, взрослые отпускают их на полную свободу уже с трехлетнего возраста. Все здесь живут в очень простых условиях. На острове нет ни магазинов, ни лавочек, единственное, что вы сможете купить, — это пару парусиновых сандалет, открытки и рыболовные снасти на почте.

Очень часто, наловив рыбы, мы причаливали к какому-нибудь берегу, разводили костер и варили знаменитую марсельскую уху под названием «буябес».

Хотя Александр Иванович собирался на будущий год снова в «кабано» на мыс Гурон, но ему так и не пришлось попасть туда. Через три года Саша Черный умер в Ла Фавьере. Некоторые говорят, что он помогал тушить пожар в крестьянском доме, вследствие чего его сердце не выдержало. Другие говорят, что он в этот день очень долго работал в своем крошечном винограднике под палящим южным солнцем. Очень может быть, что было и то и другое. Когда он скончался, его собака Микки прыгнула к нему на грудь и тоже умерла от разрыва сердца.

Отец был потрясен смертью Саши Черного, но его горе, как всегда, было замкнутым, молчаливым.

Свой некролог Куприн начинает со слов Г. Гейне:

«Герольдом моим будет юмор
Со смеющейся слезкой на щите».

Дальше он пишет, что однажды в душу и сознание читателей «вошел милый поэт, совсем своеобразный, полный восхищения жизнью, людьми, травами и животными, тот счастливый рыцарь, на щите которого, заменяя герольда, смеется юмор и сверкает капелька росы. И дружески интимной, точно родной, стала читателям его простая подпись под прелестными юморесками — «Саша Черный».»

Глава XXVIII

ПИСЬМА ОТЦА К МОЕЙ МАМЕ

В 1928 году отец почувствовал себя неважно, доктора посоветовали ему поехать полечиться. Кто-то порекомендовал Лансу. Прибыв туда, отец тотчас же пишет маме.

1928 г.

«Милая Лиза!

Мои спутники прислали открытки на все станции. Ну, ты знаешь, что я не люблю.

Зато я тебя люблю так, что не упишешь и на 1000 открыток. Здоров. Хорошо настроен. Пока все ладно.

Твой А. Куприн.

Поклон лежебоке».

А. И. Куприн — Е. М. Куприной

13 июня 1928 г.

«Приехал. Так устал от жары и пересадок, что спал всего 2 часа. Сегодня был у д-ра Белова. Жена его была добра, что повела меня в самое этабльссеману, в двух шагах от которой я и нанял комнатку с полным пансионом за 27 франков в сутки. Из того отеля, где я вчера вечером остановился, приходилось бы трижды в день спускаться вниз, чтобы купаться и пить воды. А Bourbon находится на высоте 200 метров и весь гористый. Где мне с моими ногами. Здесь были раньше Агафонов и Бернацкий и какой-то «тоже» русский писатель с длинной бородой и длинной фамилией, которую нельзя запомнить. Я не знаю, как будет дальше. Но дышать мне здесь гораздо легче. Правда, дыхание не доходит до глубины ... как в молодости, но все-таки до подложечки, а в Париже его хватало до кадыка в горле.

Здесь воды un peu[1] содовые, un peu литиевы, un peu асмиевые, un peu солоны, un peu успокаивающие, un peu укрепляющие. Они для тебя! Если ты дашь мне слово, что в случае, если я заработаю за этот месяц больше 3000 франков, ты после меня поедешь сюда и это обещание против

[1] Немножко.

обыкновения исполнишь, то я тебя снова буду любить и уважать.

Здесь 5000 жителей, но улицы полны. Чудесный скот. Много зелени. По ночам очень мелодично звонят лягушки. В бельтт никто не играет.

Выше того адреса, что на обороте, не забудь написать Александру Куприну, который тебя и Аксинью целует крепко

А. К.

Пши».

17—6—28.

«Милая Лиза!

Я уже начинаю сомневаться. После первой ванны чувствовал себя еще более расслабленным. Ночью болело сердце и спал всего два часа. Сегодня я нарочно велел вместо 34° сделать 30°, вместо 20 минут ванны — 15, вместо 7 минут душа — 5. Посмотрю, что будет ночью.

Я, конечно, знаю, что все такие грязевые, водяные и прочие не аптекарские лечения сначала расслабляют и изнуряют, но почему Актов не мог ошибиться, а коллега не счел нужным поддержать коллегу? Кого ни спроси — ревматизм, подагра. Некоторых уносят на носилках. Иные идут, согнувшись вдвое. А женщины здесь все старые, мордастые, и сразу видно, что у всех их внутренности протухли тридцать лет назад. Одно скажу: воды здесь изнурительной силы. Но я же не подагрик. Попробую еще раза два-три и брошу. Черт бы побрал их идиотского валика на постелях. Как живете, мои милые, такие чудесные и привлекательные издали дети? Что нового? Мне ску-у-у-у-чно!

А. К.»

19 сент. 1928.

«Я получил посылку, распечатал ее, немного надулся, что при ней не было письма. Потом пошел позавтракать. Так как никак не мог справиться с желтым огромным тугим воротником (новость!), то решил его переменить и тут же нашел твое милое письмо, почему и пишу в день дважды.

Очень прошу тебя — не посылай мне больше ничего или уж заодно пришли один из тех огромных английских чемоданов, которые выше Азанчевского и толще Налбандовой. Я тогда буду всюду передвигаться тихой скоростью. Ты

меня просто завалила носильными вещами. Уже сам не знаю, разыграть ли их в лотерею или пожертвовать в местный детский приют. Удивительно: как всегда меня трогают и радуют твои письма, когда мы далеко друг от друга.

И долго после них мир представляется каким-то тихим, светлым-светлым, чистым, спокойно-игрушечным, и всюду ландыши, и окна открыты в зеленый сад...

Твой Саша».

«Милая Ма, Ли и Лиза.

Как тебя мне не узнать? Одно письмо тебе написать лень и труд великий. А вот собрать и прислать багаж, годный для отправления экспедиции к Сев. полюсу, это тебя хлебом не корми.

Согласись, что когда твой ручной Мишка о чем-нибудь говорит по первому вдохновению, то так и нужно делать, ибо он решает не своим малым и диким умом, а звериным чутьем. Вот так и с дорогой. Поехал я во II классе, обошлось дороже на 60 фр., да завтрак 33 фр. Вот почти сто. А ехал в ужасающей тесноте и духоте. Буржуи не позволяли открыть окно в купе. Я испекся и задохся. А завтрак был плох, гораздо хуже твоего приготовления котлеток. Ксеньке, как всегда, ты отдала лучшее.

Каждая ванна здесь стоит 10 фр. Да лить воду — 20 фр. За все 21 день. Я уж отдал 70 (5 ванн). Да первая ночь в гостинице мне обошлась в 65 фр. (автомобилем от вокзала до города верст 15). Да три пересадки (третья из города в курорт) 15 фр. итого 33+70+65+15=183 фр., да у меня 170, итого 353. Куда же девались еще 47? Вот куда! См. малую бумажку.

Не находишь ли ты, что патентованным пером я пишу гораздо хуже?

Ну теперь: что я сделал. Переписал последнюю главу Жаннеты. На днях вышлю тебе рыжих, гнедых, серых, вороных. Пожалуй со стареньким рассказом Миронову коекак и оправдаю первую неделю.

Мне здесь сидеть, повторяю, стыдно: я один не ревматик, не паралитик, не подагрик. Я уж и то из сочувствия стараюсь сгибаться в спине, кривиться набок и хромать. Так, думаю, другим безобидно. Но что поистине мне в пользу — это воздух (240 м). Так как моя очередь лезть в ванну 6 ч. 30 м. утра, то идя туда-обратно, я с наслаждением дышу очень чистым воздухом, проходя парком. Потом метут ули-

цы, снует мимо меня множество автомобилей. И уже дышу тяжело. По правде, то мне бы надо было поехать куда-нибудь специально для инфюземы. А лучше было бы достать и форо скидку с III класса, да дунуть куда-нибудь высоко над Ниццей, а то в С. Соверг. Здесь я долго не заживусь.

Был в городе бродячий цирк. Я не пошел. В курорте есть Казино и в нем Булль, нечто вроде рулетки, только с 9-ю номерами вместо 36. Я пошел, поставил франк, проиграл и больше не пошел. Вино пью с водою «une quarte»[1], хватает мне на завтрак и ужин. Могу без труда обойтись и водою. Не умница ли?

Пиши пожалуйста про себя, про Ксенины горизонты. Да скажи своему Дрдр., что дать приличную форму для передачи тебе права получать деньги. Напиши о маленьких сплетнях.

Целую»

В 1930 году отец снова отправляется в Bourbon-Ланси на лечение. Ему исполнилось 60 лет. Его письма удивительно нежны к маме, а некоторые еще полны семейного юмора.

6 августа 1930 г.

«Ну, вот, милая Лизочка, я и приехал в этот замечательный городишко. Можешь себе представить: через почти три года. Мне кажется, что ни люди, ни улицы здесь, ни вывески, ни кошки с собаками — ничто, ничто не переменилось ни на йоту. Кажется мне, будто бы Бурбон-Ланси все это время прожил под непроницаемым колпаком, а я чувствую себя гораздо старее, чем прежде, и в этом сознании есть тягучая печаль.

Доехал я благополучно, если не считать одного маленького ротозейства. Доехал до Moulins и, не узнав его, покатил дальше. На станции «La Fertè Janteville» одумался и поехал обратно в Moulins, что мне стоило в 3 классе 3 фр. 50 с. К счастью, следующие поезда с пересадками сошлись хорошо. Комната препаршивая во 2-м этаже (по-нашему) и в ней неистребимый запах клюквенного киселя. Народу много, но не полно. Курвуазье поднят. Шикарный Гранд-Отель полон и заел его. Спасибо за укладку вещей. Сделано идеально, я насилу-насилу разделал ее. Какую-то рукопись ты забыла положить: теперь не соображу, какую именно, но все равно. Распорядилась ли ты о русской газете мне? Начну с «темы».

---

[1] Четвертинка.

Целую тебя крепко. Дочери послал. Пиши побольше новостей.

Твой А. Куприн».

12 августа 1930 г.

«Сам не знаю, почему я так часто и нежно думаю о тебе. И во всех моих мыслях одно: нет лучше тебя ни зверя, ни птицы и никакого человека. Какими прелестными кажутся мне теперь и твое лицо и твой голос! Нет, это не то, что «далекая» мило. Это от абсолютного и важного молчания. Ты думаешь: «хитрит мой Афанасий, подделывается». Право же не так. Покажу тебе рекорд бережливости, буду тратить на себя всего 5 фр. в день. Да и куда девать? Игры нету, даже в беллот, даже в 66, даже в пикет. В кино я не высижу более 10 минут, да ведь кино наш с тобою семейный враг. Рассказ «Свет царства» скоро пошлю тебе, а там начну отделывать Жаннетку, поцелуй экстрабоба. Да еще странно, совсем позабыл о существовании Ю-Ю. Впрочем, он стал теперь такой тупой и такой старый эгоист, что вряд ли почувствует мой ему поклон. Обнимаю тебя и целую осторожно в кончик носа и за ушком.

Твой Александр Идиотов».

10 августа 1930 г.

«Лиза!

В понедельник пришел Фактёр. Такой же толстый и румяный, как мой, и так же от него пахло вином, и такой же веселый. У меня осталось ровно точно полтора франка, я их ему и отдам. Теперь буду еще экономнее. Ну уж за что спасибо, то это за «Сегодня»[1]. Что за удивительная и как мало исследованная вещь память тела! Мы с Ксеном, как наивернейшее средство от запора полагали в чтении «Сегодня». Удивительно мягко и нежно действует в ватерклозет. Я теперь об этом позабыл, но при виде одном волшебной газеты сразу повлекло в W. C. Это после 5-ти дней воздержания. Чудо.

Я, пожалуй, здесь прижился. Но какая пытка мне, болтуну, молчать уже целую неделю абсолютно. Чувствую, что ржавеют какие-то горловые связки.

Но и рожи же здесь сидят за табль-д'отом: толстые, седые, злющие, бугристые: скажи, что значит слово La potiniere[2]. Унас есть здесь такой дансинг. Я еще не был

[1] Эмигрантская газета, выходившая в Риге.
[2] Место, где сплетничают.

там, а в Булль никто не ходит играть. Я тоже. Пишу тебе на подоконнике. Как видишь, довольно разборчиво. Это, оказывается, мне сначала по отвычке не давалось слово, а я валил на Ерему — на плохой стол. Что же нет никаких новостей? Или мы уж так, должно быть, стары, что нас быстро все забывают? Целую, моя дорогая, с нежностью и благодарностью.

Твой сердцем и всеми конечностями Алекс.»

Начиная с 1932 года почерк Куприна резко меняется, он начинает плохо видеть, иногда теряет чувство ориентации. Чтобы отдохнуть, он едет в городок Provins, не очень далеко от Парижа, куда мама его провожает. Но ему уже трудно жить одному, мама ему необходима каждую минуту, каждую секунду.

«Лиза (единственная).

Бумага у меня почти вышла. Пишу очень много. Оказывается, что для большой работы Карне[1] не годится. Я свое окончательно растянул и исписал. Остались три листочка. Никак не могу сообразить, куда у меня девалась рубашка-панама. Сплю прескверно. Никак не справляюсь с этими проклятыми перами и поминутно просыпаюсь.

Никак не найду ни стола, ни шкафчика, ни электрической кнопки, ни горшка, ни края постели. Кормят хорошо, но постоянно мясо. Жара чертова, и на улице и на дворе очень много свистают[2].

Приедешь ли ты ко мне?

Завтра вторник. Цирк, но без тебя я дорогу к нему не найду. Раз попробовал пойти в народную библиотеку, что в одном месте с народным судом и каждый раз вместо нее попадаю на вокзал или в Венецию. Здорова ли ты? Посплетничай мне что-нибудь о знакомых. Сейчас иду купить конверт и марку. Твоя дама из Bureau de Tabac[3], правда, головастая и расторопная женщина.

Ваш Александр.

Что Каску[4]? Поняла ли она о нашем отсутствии и обрадовалась ли тебе?»

---

[1] Карне — блокнот.

[2] Отец органически не переносил свиста; я полностью унаследовала эту черту.

[3] Bureau de Tabac — лавка, где продают табак, табачные принадлежности, а также и марки.

[4] Каску — наша кошка; по-французски Каску значит сорвиголова.

«Теперь я тебе по чести скажу, Лиза. Больше вытерпеть я уже не могу. Я много сделал успехов, я сам мою и сушу мой платок, вскоре перейду к подштанникам. В довершение к прежним кипам я надрал уже 30 страниц главы «Травля». Живу тихо, смирно, трудолюбиво и замкнуто. Но извелся. Шумы? Черт с ним, шумом. Сегодня воскресенье и они потише. Но какой-то депутат вот уже четвертый час читает над моим ухом политическую речь. Читает глухим голосом Волкенштейна, и сердце у меня корчится от омерзения.

Но самое ужасное — ночи. Досидеть до 12 совсем невозможно. Нечего делать. А рано ляжешь — сон испорчен. Боже мой, как я бился, как страдал, как отчаивался в эту проклятую ночь. Часами не мог найти ни кнопки, ни фонаря. Горшок уехал куда-то. Сплюнуть некуда. Черт возьми. Сел на эту высокую короткую идиотскую французскую национальную постель и решился ждать рассвета. Все думал, вот я голый, больной, всеми брошенный и оставленный, даже мамой, которая уехала бог знает куда и обо мне забыла. Ей-богу, клянусь тебе, эти долгие часы не лучше часов приговоренного к смерти. Умоляю! Увези меня отсюда. Кричу диким голосом! Я уже здорово настрекался на работу, продолжать, вернее кончать буду на курьерских. Спаси!!!

Александр.

Сойти с ума. На кровати и где же у них у сукиных сынов культура?

А. К.»

В письме имеются в виду главы «Травля» и «Позор» из «Юнкеров», над которыми Куприн работал в течение нескольких лет. С 1928 года роман начал печататься отдельными главами в «Возрождении». Этот роман был задуман еще в 1911 году как продолжение повести «На переломе» («Кадеты»).

Никаких рукописей, ни заметок с собой в эмиграцию отец не взял, поэтому ему пришлось начинать все сначала.

Глава XXIX
МРАЧНЫЕ ГОДЫ

В 1930 году приезжал представитель Советского Союза в Париж. У него было задание выяснить настроения некоторых эмигрантских писателей и художников и поговорить

с ними о возможном возвращении на родину. Я знаю, что он приходил к отцу, а также и к Бунину и к некоторым другим писателям. Но пропасть между новым и старым миром все увеличивалась. Были слишком свежи еще недавние обиды. Поэтому переговоры не могли привести к какому-то решению. Позже у Александра Ивановича осталось от этого визита смутное чувство, что, может быть, была упущена последняя возможность вернуться на родную землю.

Куприн делается все равнодушнее к эмиграции и ее политике. Он совсем перестает сотрудничать в эмигрантских газетах. «Последние новости» он называет «Последними пакостями». Когда к нему приходят какие-нибудь люди, их разговор быстро начинает его раздражать, и он уходит и запирается в своем кабинете. С этих пор письма Куприна носят совсем бытовой характер. Круг друзей и знакомых значительно сужается. Александр Иванович почти больше нигде не показывается.

Сидя рядом с портретом Л. Толстого, с которым он никогда не расстается, он сам себе читает Пушкина или Толстого наизусть, так как зрение у него все хуже.

Меня всегда удивляла его блестящая память обо всем, что он любил, и способность стирать, как резинкой, в памяти то, о чем он не хотел думать.

Его слова в очерке «Родина» страшны своей безнадежностью: «И вся молчаливая тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России».

Какой мрак был в душе постаревшего Куприна, какая горькая доля в этом страшном одиночестве!

Иногда летучая фраза, брошенная на ходу, может глубоко ранить сердце незнакомого человека.

Так, как-то возвращаясь домой по нашей улице Эдмонд Роже в 1934 году, я услышала веселый смех двух девушек и восклицание: «Смотри, какой смешной старичок на той стороне улицы, боится перейти дорогу!» Я посмотрела и увидела отца, увидела чужими глазами и ужаснулась перемене, происшедшей с ним, которой я не замечала, живя рядом.

Мой отец — старик! Это понятие так не подходило к его вечно молодому духу, никак не укладывалось в моем мозгу. Мое сердце сжалось. Он стоял на другой стороне улицы,

худенький, с какой-то растерянной улыбкой. Отец очень обрадовался, когда увидел меня, и как-то по-детски уцепился за мою руку. Он начал терять чувство ориентировки, но тщательно это скрывал, стыдясь помощи, как чего-то позорного.

С 1932 года старость и болезнь начали подкрадываться к отцу. Первым признаком был почерк. Ему стало трудно писать, потом он стал плохо видеть.

К шестидесяти годам в его письмах и стихах сквозит тихая грусть по уходящим силам и мысли о смерти. Своей сестре Зинаиде Ивановне он писал:

«Я старый, худой, седой и плешивый. Ничего не увлекает, не веселит, не интересует. Работаю как верблюд, без увлечения, без радости. По ночам увлечен мыслью о смерти — и ничего, не страшно, только бы без страданий, там — глубокий сон, без сновидений, лет на тысяч двести с гаком, а гак-то длинный с бесконечность...»

Однажды отец получил письмо от знакомого почитателя И. А. Левинсона, преподавателя русского языка в г. Атланта, в США. Завязалась переписка, вскоре ставшая очень дружеской и теплой.

Прелестно и грустно одно из писем Александра Ивановича к Левинсону.

1931 год, апрель — май, Париж.

«Дорогой г. Левинсон,

Спасибо за Ваше милое внимание, тем более, что оно оказалось изумительно-колдовски кстати. Но ведь вот в чем дело: жалуясь на судьбу, которая порой становится ко мне спиною, я вовсе не имел в виду Вас растрогать. Это было просто бессознательное стремление поплакать письменно в жилет доброго и крепкого друга, без всякого злого умысла.

Надо сказать, в тот период, когда шли наши письма, в противоположных направлениях по полуокружности земного шара, судьба и мне послала несколько радостей.

После отвратительной, то зверски холодной, то противно мокрой и бурной зимы, пришла весна, самая удивительная за десять лет в Париже. Весна совсем русская, тугая, упорная, затяжная. Медлительная. Каждый день приводил с собой новое яркое чудо. Вдруг зацвела, еще не выпустив ни одного листка зелени, огромная дикая слива, вся в белых цветах, охапками, точно вся занесенная снегом. А на другой

день убрались, как люстрами, прямыми белыми и розовыми свечками, каштаны. А дальше боярышник (кротечус), желтая акация, белая акация (Одесса, Большой фонтан и Александровский парк!), потом бузина, а за нею рябина, со своими странными запахами; нежными издали, противными вблизи. Завтра-послезавтра ждем зацветет липа. Как прелестно она запахнет. А кроме того, в этом году ужасно много полевых, лесных и оранжерейных цветов. Они очень дешевы, и сердце радуется, когда видишь на улице пестрые букеты. Я, как всегда весною, любуюсь и грущу, неужели последняя моя весна? Ну, что же! Неизбежное — неизбежно. Ни плакать, ни сопротивляться, ни грустить не будем, хотя, конечно, не отказался бы сладко погрустить и еще одну весну, еще самую-самую последнюю. Ах! Великолепная штука жизнь!

Крепко жму руку Вашу.

Ваш — А. Куприн».

В стихотворении «Розовая девушка» неожиданно для Куприна звучат пессимистические нотки:

Розовая девушка с кораллами на шейке,
Поливает бережно клумбу резеды,
Радугой пронизан сноп воды из лейки
И дрожат от радости мокрые цветы.
Ласточки веселые над пламенным закатом
Чертят черной молнией голубую даль.
Отчего ж душа моя печалью странной сжата,
Отчего мне вечера весеннего так жаль?
Ласкою мгновенья я больше не обманут,
Знаю я, весенние вечера пройдут,
Улетят все ласточки, все цветы завянут,
Розовые девушки состарятся, умрут.

Коммерческая затея мамы с переплетной мастерской завершилась весьма плачевно: компаньон продолжал пить запойно, заказы оставались невыполненными. Мама металась между неоплаченными счетами и недовольными заказчиками. Пришлось закрыть предприятие.

Продав переплетные машины, мама сняла маленькую лавочку на улице Эдмонд Роже, в которой устроила книжный и писчебумажный магазинчик. Так как ей приходилось ездить далеко, то и мы переехали на эту улицу. Это была крошечная, коленообразная улочка в самом отвратительном — 15-м районе Парижа. Этот район пересекается невероятно длинной улицей Коммерции, загроможденной лот-

ками с фруктами, овощами, дешевым бельем, грязными лавчонками. Без капельки зелени. Пыль, грязь, много подозрительных субъектов.

Но на улице Эдмонд Роже было очень тихо, по ней проходило мало народу, и потому наша лавочка прогорала. Иногда забегали дети, покупая на два су перьев или тетрадок. А книги матери трудно было продавать, ее негритянско-французский язык, как называл его отец, не давал ей возможности быть в курсе новинок и советовать французским покупателям, что читать. Французский буржуа, покупая книжку, любит поговорить. Постепенно французские книжки заменялись старыми русскими, и лавочка превратилась в библиотеку.

Наша квартира была напротив, во дворе, на первом этаже, в ней было три комнаты: столовая, спальня родителей, она же и отцовский кабинет, и моя.

Когда аренда лавочки оказалась непосильной, то стеллажи были перенесены в нашу столовую. Собралось около пяти тысяч книг. Клиентами были русские эмигранты.

У отца упадок сил и немощи как бы сковывали его еще ясную память и здоровый дух. Он все больше и больше уходил в себя; ненавидя все проявления болезни и старости, отдалялся от людей. Он часами сидел в своей комнате в кожаном кресле, превращенном когтями целых поколений кошек в нечто похожее на мех. Часто в библиотеке посетители яростно спорили между собой. Бывшие деникинцы обвиняли красновцев в трусости или в отступлениях; бывшие кадеты обвиняли эсеров в продажности. Пустые споры людей, живших прошлым. Когда яростные выкрики долетали в комнату отца, он мне говорил: «Ненавижу эти голоса, ненавижу... Пусть замолчат».

Иногда кое-кто врывался к нему. Тогда он делал вид, что не узнает, не отвечал никому.

Однажды к нему вошла жена доктора Харитонова, лечившего отца, и, сюсюкая, спросила:

«Александр Иванович, вы меня узнаете?»

Не смотря на нее, он ответил:

«Нет».

Тогда она спросила:

«А доктора Харитонова вы знаете?»

«Да, очень хороший человек», — тепло сказал Куприн.

«А что вы думаете о его жене?» — жеманно спросила дамочка, желая услышать комплимент.

«Стерва»... — коротко произнес отец.

Точно ошпаренная, дамочка выскочила из комнаты и, закатив глаза и ломая руки, воскликнула:

«Ах, бедный, бедный Куприн!»

А в это время бедный Куприн трясся от беззвучного смеха.

Вечером, когда наконец наступала тишина, приходил к нам старый, одинокий писатель Борис Лазаревский. Жадно и неопрятно набрасывался на еду, в которой мы не могли ему отказать. Николай Рощин, тогда молодой писатель, приходил пешком из пригорода. Он часами просиживал, глядя на всех сияющими, голодными синими глазами. Ему также никогда не отказывали в куске хлеба. Рощин старался помогать маме в библиотеке. В 1946 году Николай Рощин вернулся на Родину.

В то время безработица преследовала меня в кино и в театре. Бедность принимала жестокие формы. За неплатежи часто отключали газ, электричество, телефон. Мрачная тоска и безнадежность царили в доме.

Единственной радостью отца была маленькая кошечка Ю-Ю, названная так в честь знаменитого героя рассказа «Ю-Ю», лежавшая всегда у него на плечах теплым и нежным грузом.

Вдова Саши Черного Мария Ивановна была в ту пору самым близким другом матери и отца.

Из литературной и артистической братии близких почти никого не осталось. Каждый ушел в свои собственные горести, трудности жизни. Не о чем было больше говорить. Судьба писателей перестала кого-либо интересовать в эмиграции.

Самым горьким чувством отца было острое ощущение своей ненужности.

Художник Билибин в конце 1936 года получил разрешение вернуться на Родину. В разговоре с советским послом В. П. Потемкиным был затронут вопрос о возможном возвращении в СССР самых лучших и достойных людей эмиграции. Говорили и о Куприне.

Перед отъездом Билибин пригласил моих родителей к себе в гости. Сидя за столом, он много с восторгом говорил о Советском Союзе и о причинах, побудивших его вернуться домой.

Отец вдруг ожил, весь загорелся и воскликнул:

«Боже, как я вам завидую!»

Билибин спросил отца — почему же он не последует его примеру?

Но отец остро чувствовал свою вину перед Родиной, переживал свой отъезд и некоторые статьи, написанные под влиянием первых лет эмиграции. Он не мог поверить в возможность возвращения.

Билибин предложил взять на себя все предварительные переговоры в посольстве.

Вернулись домой родители очень возбужденные. Я помню, как они оба сели ко мне на кровать и стали советоваться. Я видела, как помолодело лицо отца и как в его часто безразличных, помертвевших глазах зажглись искорки.

Когда отец и мама наконец легли спать, для меня началась страшная, бессонная ночь.

Я знала, что без меня родители мои не уедут, для них я оставалась ребенком, нуждавшимся в постоянном присмотре. Но тогда моя личная жизнь, работа, перспективы, друзья — все было связано с Францией.

Последние мрачные годы с родителями, тоска, грусть тяготили меня. С другой стороны, я чувствовала абсолютную необходимость для отца вернуться на Родину, обрести счастье, пусть хотя бы на оставшиеся ему недолгие годы жизни. Я знала, что в Советском Союзе его продолжают читать и любить, и хотела надеяться, что родная земля даст ему силы поправиться. А если его годы уже были сочтены, то он не должен был умереть на чужбине — это было бы чудовищно, Куприн был слишком русским человеком, русским писателем. С возвращением на Родину его жизнь как бы замыкалась в закономерный круг. Я чувствовала, что не имею права быть препятствием.

Билибин уехал. Искры надежды снова потухли. И вдруг пришло приглашение от посла Потемкина зайти с ним поговорить.

Для эмигрантов в ту пору советское посольство было окутано какой-то тайной, легендами. Некоторые шоферы такси, бывшие белые офицеры, боялись проезжать по улице Гренель, где находилось посольство, говорили, что, дескать, их могут похитить, говорили также, что французская полиция фотографирует каждого, кто входит в посольство, и потом этот эмигрант уже на учете, за ним следят, он подвергается преследованиям, иногда и высылке.

Мои родители были очень взволнованы. Отец даже хуже

себя чувствовать стал. Видя все это, я предложила предварительно пойти вместо них в посольство.

Потемкин, человек высокой культуры, принял меня очень тепло. Я объяснила ему состояние отца, его горячее желание вернуться домой, его физическую слабость, объяснила также, как необходима строжайшая тайна, чтобы оградить Куприна от выпадов эмигрантов до его отъезда.

Решили, что Потемкин в ближайшее время вечером пришлет посольскую машину, и отца привезут к нему в гости, в неофициальную обстановку.

Через несколько дней — совсем как в детективном романе — посольская машина остановилась на соседней улице. Я проводила очень волновавшихся отца и мать, усадила их в машину. Вернулись они радостные и счастливые, обласканные и успокоенные.

Эти визиты несколько раз повторялись и происходили всегда в очень теплой обстановке.

Как-то раз, разговаривая в посольстве о своем отъезде из Парижа, отец вдруг замялся. Потемкин спросил: в чем дело? Александр Иванович решился задать мучивший его вопрос.

— Скажите, а кошечку можно взять с собой?

Присутствующие рассмеялись. Потемкин сказал:

— Ну, конечно.

Было решено, что я вскоре последую за родителями.

Очень скоро разрешение вернуться на Родину было получено, все визы были оформлены. Но оставалась самая трудная сторона: приготовления к отъезду, продажа библиотеки, ликвидация долгов, обязательств, усугубляемых трудностью сохранения тайны. В курсе отъезда была только вдова Саши Черного — Мария Ивановна.

Всем знакомым ликвидация библиотеки объяснялась желанием переселиться на юг Франции, где жизнь дешевле и климат благоприятнее для отца. Это не вызывало никаких комментариев, так как многие из писателей — Шмелев, Бунин переселились на Лазурный берег.

Как всегда, все трудности, все сложности легли на маму. А нетерпение отца все возрастало. Ему казалось, что время тянется слишком долго, что он не доживет, говорил, что пойдет пешком по шпалам, если почему-либо в последний момент его не пустят домой.

Иногда его обуревала радость, он ходил по квартире и почти пел: «Еду-еду, еду-еду...»

Последние дни вспоминаются с трудом, я была в каком-то тумане, старалась держаться, не расстраивать родителей.

Наконец наступил и последний день. Никто не провожал родителей, кроме Марии Ивановны Черной. Тяжелый багаж был уже отправлен.

Мы направились к Северному вокзалу. У отца на коленях была корзиночка с Ю-Ю. На вокзал приехал представитель посольства и торжественно вручил моим родителям советские паспорта. Я впервые за долгие годы эмиграции увидела на лице моего отца безмерно счастливую улыбку. Усаживаясь в вагон, он мне сказал: «Ты понимаешь, Куська, домой еду...» И даже зажмурил глаза.

У меня была только одна мысль: не плакать, не плакать, расставаясь с родителями. Для этого я напичкала себя нервоуспокаивающими средствами. Я сжимала зубы, старалась улыбаться. Когда, наконец, мне пришлось выйти из поезда, отец, высунувшись из вагона, схватил мои руки и, целуя их, все время приговаривал: «Лапушки мои...» Так и продолжал он их держать уже на ходу поезда. Я вдруг почувствовала в тот момент, что больше его никогда не увижу.

Поезд удалялся, и я, наконец, смогла заплакать. Мария Ивановна Черная, недолюбливавшая меня (только теперь я понимаю, насколько она была права, обвиняя меня в эгоизме), взглянула своими светло-голубыми, немного навыкате глазами и жестко сказала, увидев мои слезы: «Наконец...» В этот момент я возненавидела ее. Больше я ее не встречала, но знаю, что она очень любила моих родителей, помогала им. Сейчас я могу только просить прощения у ее памяти — человека очень честного, прямого и умного. Умерла она в глубокой старости, чуть не девяноста лет, в жестокой бедности, на юге Франции.

Как в тумане я вернулась домой.

Несколько дней все было тихо. Но вот появилось сообщение московского корреспондента Тан:

«Москва, 1 июня. Известный русский писатель А. И. Куприн, с начала революции проживавший в эмиграции, возвратился в Москву. Советские власти не препятствовали приезду писателя.

Советская печать отмечает возвращение Куприна на

«родину» без комментариев, но в сочувственных выражениях».

Примечательны кавычки в слове «родина».

«Последние новости» напечатали в тот же день:

«Вчера в течение дня по русскому Парижу распространилось невероятное известие:

«А. И. Куприн и Е. М. уехали из Франции... в Москву».

Ночью меня разбудил телефон.

«Вас вызывает Москва...»

В то время звонок из России был чем-то невероятным и мучительным. Мне велели повесить трубку и ждать. О сне не могло быть и речи. Через час вызвала Польша, сообщила, что меня вызывает Москва. Смешалась русская, французская, польская речь, Москва, Париж, Moskow, Paris, Moskou. Через несколько минут мне опять велели повесить трубку и ждать. Так продолжалось часа четыре-пять. Наконец под утро через треск и шум я едва услышала какие-то звуки. Я поняла, что это мама, и скорее угадала, чем поняла, нежные слова и тревожные вопросы.

Первым злобным визитом ко мне был визит докторши мадам Харитоновой. Перед отъездом мама послала ей подарок в благодарность за бескорыстный и внимательный уход доктора Харитонова за отцом. Это была старинная серебряная вазочка, наполненная конфетами. Мадам Харитонова швырнула вазочку, конфеты рассыпались, и она заявила, что не собирается принимать подарки от чекистов. Я ей ответила, что никакие злобные выпады не испортят теперь уже счастье и радость отца на родной земле. Она разразилась страшной руганью, и мне пришлось почти силой ее выставить.

Корреспондент парижских «Последних новостей» несколько раз звонил мне, допытывался о подробностях отъезда, старался узнать мое настроение и мои планы на будущее. Я ему сказала, что в ближайшем будущем собираюсь поехать вслед за родителями.

В одной из своих статей он вспоминает слова Куприна:

«Умирать нужно в России, дома, — сказал он тихо, — так же, как лесной зверь, который уходит умирать в свою берлогу.

Скрылись мы от дождя огненного, жизнь свою спасая. Есть люди, которые по глупости или от отчаяния утверж-

дают, что и без родины можно, или что родина там, где ты счастлив...

Мне нельзя без России. Я дошел до того, что не могу спокойно письма написать туда, ком в горле».

Корреспондент заключает: «Исполнилось всегдашнее желание Куприна».

Потом пришла одна милая, очень бедная женщина, помогавшая нам по хозяйству. Стыдливо она извинилась, что не может больше приходить ко мне, так как ее другие наниматели — русские эмигранты заявили, что не будут больше давать работу, если она будет продолжать общаться с чекисткой...

По ночам звонил телефон, анонимные голоса изрыгали злобные выкрики, сулили тюрьму и расстрел моим родителям в страшной «Совдепии».

2 июня появилась в «Последних новостях» следующая статья с высказываниями эмигрантских писателей по поводу отъезда Куприна:

«Сообщение «Последних новостей» о возвращении А. И. Куприна произвело в эмигрантском Париже огромное впечатление... Ни один писатель, никто из близких друзей Куприна не были об этом осведомлены: о происшедшем они узнали лишь вчера утром из газетного сообщения.

...В последние дни А. И. Куприн сильно нервничал и волновался. Сборы продолжались недолго. Е. М. продала свою библиотеку и 29 мая А. И. и Е. М. Куприны уехали, до последней минуты держа свой план в полном секрете.

Вчера утром уже из Москвы Е. М. Куприна позвонила в Париж дочери по телефону. Она сообщила, что поездка прошла вполне благополучно и что, несмотря на свое болезненное состояние, А. И. Куприн отлично перенес утомительную дорогу. Остановились Куприны в гостинице «Метрополь».

Иностранные газеты напечатали новость об отъезде Куприна сухо, без комментариев.

Почти во всех высказываниях эмигрантских писателей по поводу отъезда моего отца чувствуется желание отрицать патриотические причины, побудившие моего отца уехать на Родину, и приписывается ему и моей матери просто желание избегнуть бедственного материального положения.

И. А. Бунин пишет:

«Куприн давно уже не писал, и это облегчило его возвращение в Россию. Он по крайней мере не будет там ни в

какой зависимости. Думаю, что перед тем как решиться на это, ему пришлось многое пережить. Конечно, эмиграция во многом виновата, она могла бы содержать двух-трех старых писателей. Александр Иванович пользовался такой всероссийской славой, им так зачитывались, что нужно было о нем позаботиться должным образом: старого, больного человека судить нельзя.

Очень жалею, что я его, очевидно, уже никогда не увижу в жизни».

М. А. Алданов:

«А. И. Куприн, как всем известно, последние годы болел. Я очень давно его не видел — верно никогда и не увижу, о чем искренне сожалею, так как люблю его.

Жилось ему за границей не сладко, хуже чем большинству из нас. Но не это, думаю, было главной причиной его решения; может быть — это и вообще никакой роли в деле не сыграло.

Знаю, что он очень тосковал по России: меньше, чем кто бы то ни было из нас, он был приспособлен для жизни и работы за границей.

Политикой он никогда не занимался и мало интересовался ею.

Осуждать его нелегко. Могу только пожелать ему счастья. Возможно, что его решение будет соблазном для других эмигрантов, находящихся в этом положении. Это дело совести каждого, но не о каждом можно будет сказать то же, что о нем».

Н. А. Тэффи:

«Е. М. Куприна увезла на родину своего больного старого мужа. Она выбилась из сил, изыскивая средства спасти его от безвыходной нищеты. Давно уже слышали призывы — «Куприн погибает!» Для них собирали, вернее выпрашивали гроши.

Всеми уважаемый, всеми без исключения любимый, знаменитейший русский писатель не мог больше работать, потому что был очень болен. И он погибал — и все об этом знали.

Не он нас бросил. Бросили мы его. Теперь посмотрим друг другу в глаза».

А. М. Ремизов:

«Ничего особенного я сказать не могу. Я ведь А. И. Куприна совсем мало знал. Что ж — поехал, и бог с ним! Я его ничуть не осуждаю. А голодал он и нуждался очень.

Но разве не испытывают и другие писатели эмиграции постоянную и острую нужду?»

Через месяц, быстро продав всю мебель, я съехала с квартиры на улице Эдмонд Роже и прервала всякую связь с эмиграцией.

Глава XXX

НА РОДИНЕ

Светлые и нежные письма моей матери из Советского Союза объясняют все. В них бьется большое человеческое сердце, наполненное той любовью, во имя которой жила эта героическая маленькая женщина.

Москва I/VI—37 г.

...Против ожидания, папа перенес дорогу очень легко, но притомился, конечно, от сильных переживаний. Как только приехали в Негорелое, сразу другая атмосфера — русская речь, много внимания и ласки увидели от советских служащих. В Москве встретили папу представители писательских организаций и много старых друзей по литературе. Но что папу смутило — это множество фотографов, которые щелкали со всех сторон. Он так отвык от такого внимания и интереса к себе. До сих пор не может опомниться от чуда — вчера был в Париже, сегодня в Москве! Как в сказке. Так был потрясен радостью приезда и приема, что первый день не мог говорить.

Юшка была в дороге очаровательна, напрасно я покупала ошейник и шнурок. Сидела смирно на руках или рядом с кем-нибудь из нас.

В прекрасном отеле нам дали целую квартиру с ванной, кормят замечательно, внимательное отношение всех служащих даже трогательно.

...В скором времени, вероятно, поедем в санаторию по указанию врачей. Верю, что здесь папино здоровье восстановят и что он снова сможет писать — ласки в таком масштабе и внимания ему не хватало.

...Сегодня нам показывали Москву... Мое сердце порадовалось — сколько за эти годы сделано для народа — морально здесь настроены хорошо, у всех бодрый вид. Я лично, конечно, здесь буду чувствовать себя лучше, чем в эмиграции, где застой полный, — я надеюсь, что смогу

быть полезной родине, и это не слова, ты отлично знаешь мою натуру, всегда я мечтала о лучшей жизни для народа — девочкой еще болела душой за него.

Метрополь. Москва. 2/VI—37 г.

...Завтра мы поедем с папой к глазному врачу и потом поедем смотреть дачу под Москвой, никакой санаторий ему не нужен — так решили врачи. Воздух, усиленное питание и покой, а осенью предлагают в Крым...

...Были у нас Билибины — приезжали на один день в Москву — оба очень веселые и довольные, сын их учится и отбывает военную службу одновременно.

...Папа молодеет с каждым днем и твердо верит, что быстро окрепнет на родной земле, доволен, что кругом русская речь...

Кошечка очень мила, ее все балуют. На днях снимались с нею, пришлю тебе снимок — нас троих.

Вот и все новости пока, посетителей теперь меньше — ссылаясь на врачей, которые просили папу не тормошить. Да!.. Нашла М. К. Иорданскую, она живет всегда в Москве, была у нас два раза, мы хорошо встретились и тепло провели время. Много прежних журналистов видели; что меня поражает — они все молоды — многие старше папы, а на вид лет 50, а главное, все бодрые.

Голицыно. 5/VI—37 г.

...Вот мы и на даче, милая Кисанька, у нас 4 комнаты, пищу приносят из Дома творчества писателей, от них же приходит милая девушка 19 лет, Аня, прибирает квартиру. Как видишь, мы с папой на полном отдыхе. Тишина абсолютная, большой сад, есть грядки и клумбы, ждем рассаду всевозможных душистых цветов...

Голицыно. 11/VI—37 г.

...Мы живем в деревне, тишина и благодать — едим и спим, спим и едим — даже стыдно так жить, но утешаемся, что летом это необходимо, особенно для папы. Папа привык в «Метрополе» к людям, здесь немного скучает. По праздникам у нас все же бывают гости.

13/VI—37 г.

...Папа лег спать, но что-то сегодня жалуется на сердце, поэтому кончаю письмо, иду к нему посидеть около, пока заснет.

20/VI—37 г.

...Посылаю тебе весь твой зверинец. Папа, мама и Ю-Ю. Видишь на фотографии, что мы уже пополнели, что значит жить на Родине! А у папы какое милое и спокойное лицо!

...Сегодня мы узнали, что Щербовы живы и живут в Гатчино, у себя, в своем доме. Просили передать нам, что наш дом уже приготовляют для нас местные власти.

...Вчера был у нас Алексей Николаевич Толстой, он будет в Париже и хочет повидать тебя — не подойдешь ли ты для его пьесы.

Москва, 26/VI—37 г.

...Папа тоскует без тебя, кажется, больше меня — по несколько раз в день спрашивает: да когда же она приедет?

Посылаю тебе его портрет, может быть, дашь во французскую газету, пусть посмотрит французская публика, какое у него милое и счастливое лицо на Родине, и скажи им на основании писем от нас, как все искажают путешественники, нужно быть русским и любящим свою Родину, а главное, отрешившимся от прошлого, понимать, что все здесь идет к лучшему и крупными шагами...

Москва, 5/VII—37 г.

...Вчера был консилиум, если врачи найдут нужным, будет второй на днях, а пока решили, что у папы многие явления на нервной почве и что ему необходим покой, хорошее питание и много ласки В санатории он не нуждается и потому — вероятно скоро будем жить под Москвой, в садике будут давно желанные грядки, в которых он думает сам копаться. Можно было рассчитывать на внимание к папе, как к большому писателю, но он встретил здесь столько любви и нежности к себе, какую могла дать только

Родина, он так счастлив и я за него, что об одном только и печалимся, что не решались сделать это раньше: сколько он мог бы пользы принести своей стране. Сколько лет выброшено псу под хвост! Я думаю, что в таких условиях папа начнет снова писать, он и сейчас говорит, что о Москве старой и о Москве новой он так напишет, что заставит весь мир полюбить ее, как он любит!

Сегодня за нами заедут и снова будем осматривать Москву.

Голицыно, 17/VII—37 г.

...От всех волнений и переживаний папа немного прихворнул, на нервной почве, а теперь, когда ему говорят (желая услужить или помочь) — вы больной, он отвечает: «я не больной, я нервный».

Сидим тихо, мирно на даче. Теперь папа, узнав, что Щербовы живы, рвется в Гатчину... Пав. Егор., как художник, получает пенсию. Ну вот и все новости, м. б. еще и будем жить в Гатчине в своей избушке.

Голицыно, 25/7—37 г.

...Ты спрашиваешь, лучше ли глаза у папы, к сожалению, ничего сделать нельзя — это у него на почве склероза, если склероз всего организма уменьшится, то и зрение улучшится. Надеюсь, что он окрепнет на воздухе, да при хорошем питании.

Голицыно, 6/8—37 г.

...Начинаем скучать в одиночестве, папа уже желает видеть людей — просится в Москву, но я думаю сидеть, пока погода позволит. Папа очень любит прогулку — опускать к тебе письмо.

Голицыно, 12/8—37 г.

Милая моя единственная дочка!

Прочитав твое письмо, где ты пишешь, что сделалась настоящей звездой, я долго плакала — и от радости, и от тревоги за тебя. Ты в таком возрасте, когда у родителей нет права вмешиваться в дела своих детей.

Я конечно счастлива, что ты упорным трудом добилась признания: это была цель твоей жизни — и конечно всякого артиста. Но об одном хочу тебе сказать. Пусть от славы не

кружится у тебя голова. Живи скромно, не делай долгов, будь осторожна с людьми.

Сердце мое болит и я тоскую без тебя, но если ты будешь по-настоящему счастлива, то мы с папой будем счастливы!..

16/8—37 г. Голицыно.

...Погода здесь стоит чудесная, на даче пробудем, пока только можно будет, до холодных дней...

Пишу плохо, так как на руке у меня лежит Ю-Ю.

...Сегодня папа меня радует: веселый, бодрый и всем интересуется, а то эту неделю немного хандрил.

Ну, все трое целуем тебя, папа просит приписать, что Москва изумительно красивая и что мы ждем там квартиру, в надежде на твой приезд. Он с гордостью всем говорит: «У меня есть дочь, талантливая и красивая».

2/IX—37 г.

...Погода у нас еще хорошая. Сидим еще на даче, хотя в воздухе уже чувствуется осень. Папа сидит в боевой готовности — чтобы нести тебе письмо на почту, ужасно любит это занятие.

8/XI—37 г.

...Мы приехали в Москву на праздник XX годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Папе прислали почетные билеты на трибуну. Нам все было прекрасно видно. Папа потрясен грандиозным зрелищем! Сказал, что теперь я вижу, для советских граждан невозможного нет! Как жаль, что тебя в эти дни здесь нет! Москва необыкновенно украшена.

Москва, 22/XI—37 г.

...Раз ты собираешься скоро приехать, то я не хочу тебе ничего описывать — все сама увидишь. Какая ужасная жизнь в эмиграции, действительно стоячее болото! Здесь все работают, все стремятся вперед, во всех отраслях, всякий труд уважается. Я тебе писала, как оплачивается труд артистов, но забыла приписать, что такой фильм, как «Поединок», ставят в течение 6 месяцев.

Союз советских писателей все меры принимает, чтобы у нас как можно скорее была квартира либо в Москве, либо в Ленинграде.

Москва, 28/XI—37 г.

...Посылаю тебе вырезку о «Поединке», из которой ты увидишь, что начинают в декабре, — жаль, если ты опоздаешь из-за пустяка. На днях заканчивается сценарий на «Штабс-капитан Рыбников» и ведутся переговоры об «Олесе», хотят ее сделать заново.

...Мы с папой за это время переборщили с развлечениями, я ему поверила, что он окончательно окреп, и стала исполнять его прихоти: то в цирк, то в цыганский театр, то в кино... и нервы опять немножко разгулялись.

По словам свидетелей, отец часто плакал. Его все трогало — и русские дети, и запах Родины, и, в особенности, внимание к нему советских людей.

Писатель Телешов вспоминает:

«В доме отдыха Литфонда в августе 1937 года был организован товарищеский прием красноармейцев Пролетарского дивизиона. Приехало человек двести. Наготовили им ватрушек, квасу, всякой сдобы, ягод, что было исключительно только «свое» и ничего купленного. Сад был празднично убран. Везде флажки, букеты и плакаты с девизами и стихами. Гости пришли с маршем и песнями. Пели, играли в горелки, плясали взапуски. Некоторые из бывших здесь писателей читали новые стихи, как Лебедев-Кумач, Маркиш, Лахути. В ответ на это и красноармейцы читали свои произведения. Было весело и радостно. На этот праздник приглашен был и Куприн. На игровую площадку вынесли ему кресло, усадили с почетом и он сидел и глядел на все почти молча. К нему подходили иногда военные, говорили, что знают и читают его книги, что рады видеть его в своей среде. Он кратко благодарил и сидел в глубокой задумчивости. Некоторым казалось, что до него как будто не доходит это общее товарищеское веселье. Но когда красноармейцы запели хором русские песни — «Вниз по матушке по Волге», про Степана Разина и персианку и другие, он совершенно переменился, точно вдруг ожил. А когда запели теперешнюю песню «Страна моя родная», Куприн сильно растрогался. Когда же отъезжающие красноармейцы выразили уже громко как писателю свой прощальный привет, он не выдержал. То, что в этот день пережил он молча и, казалось, безучастно, вдруг вырвалось наружу.— «Меня, великого грешника перед родиной, сама родина простила, —

заговорил он сквозь искренние горячие слезы. — Сыны народа — сама армия меня простила. И я нашел, наконец, покой».

Когда отец вернулся на родину, он первым делом захотел узнать, живы ли Щербовы. Оказалось, живы. Мама пишет Анастасии Давыдовне, что Александр Иванович чувствует себя хорошо, но у него был нервный шок, ибо нелегко в его годы пережить такое счастье — снова обрести родину. Доктора, поместив отца под Москвой в Голицыно, запретили ему временно какие-то новые потрясения.

21/8—37 года мама писала мне:

...Теперь мы часто переписываемся со Щербовыми. Они так обрадовались нашему приезду, ведь они, бедные, одиноки — сыновей нет в живых. Одно меня тревожит, что Павел Егорович захворал гриппом и осложнилось воспалением легкого. Как всегда, не позволял доктора пригласить и только согласился ради нашей встречи. Страшновато, ведь он старше папы. Если он умрет, для папы будет драма — он так обрадовался, когда узнал, что слух оказался неверным — лет десять мы считали его умершим, а теперь неужели не увидим его.

Анастасия Давыдовна пишет, что Павел Егорович прочтет письмо от нас, спрячет, потом снова прочтет. Здесь тоже был слух, что папа умер в 31 году — к долголетию.

Папа сидит рядом и говорит: «Передай отцовское повеление дочери, чтобы ехала в родительский дом!»

6. VIII. 37 года в письме к маме Анастасия Давыдовна рассказывает, что еще до возвращения Куприна жильцам зеленого домика было объявлено о выселении и что «...когда принесли газету с извещением о Вашем приезде и изображение (ее принес нам знакомый в 1 час ночи), я взглянула мельком и отложила встречу. Александр Иванович такой худенький, что я боялась расплакаться при постороннем человеке, всю ночь не могла успокоиться и два дня было такое состояние, что если бы было время, то сидела бы и плакала, а если бы могла пить, то запила бы. Вот и сейчас, думая о нашей встрече, я радуюсь и боюсь, все всколыхнется в моей душе. Какая-то стала моя Оксанушка? Опять, опять увижу. Вчера встретила Вашу Катерину, поперек себя толще. Она так заржала — «наши, — говорит, — приехали» (Катерина у нас кухаркой работала до 1918 года, потом вышла удачно замуж и, как видно, преуспела. Она всегда считала себя членом нашей семьи и в

трудные голодные годы мы часто были сыты благодаря ей).

...Да, какие мы с Павлом бедные — нет ни Вадима, ни Егорушки. Но я не ропщу — «да будет воля Его». И теперь будем жить вместе, мои родные, и будет легче нам».

Щербов серьезно заболел, но, как всегда, грозно отказался от докторов и лекарств. Бедная тетя Настя в спорах и скандалах всегда была побежденной стороной.

13. VIII. 37 года в 2 часа ночи Анастасия Давыдовна пишет маме: «...Вчера Павел Егорович согласился позвать доктора только ради встречи с Александром Ивановичем. Доктор нашел катаральное воспаление левого легкого вследствие гриппа, который Павел Егорович вынес на ногах».

Как видно, Щербов остался все таким же властным и упрямым.

«...Я ни одного дня не забывала Вас. Пава ревниво Вас любит — «мои и больше ничьи». Даже адрес Ваш никому не дает и мне запретил».

Моя мать издали старается помочь Щербовым. Она посылает им деньги, зная, как трудно с больным, да еще таким капризным. Она пишет тете Насте, что помочь другу доставляет удовольствие Александру Ивановичу, а она всегда все делала, чтобы доставить ему удовольствие. Она, как ребенка, в письмах упрашивает Щербова слушаться докторов и принимать лекарства.

2/IX. 37 г. «...Александр Иванович в этом отношении покорный, все глотает, что дадут. Он сидит рядом и поддакивает: «Да, да, все глотаю. Скажи Павлу Егоровичу, что прошу его укрепить сердце, чтобы мы могли хорошенько выпить при встрече».

Павлу Егоровичу становится все хуже. Куприн рвется к своему старинному другу.

14. IX мама пишет: «Александр Иванович меня все упрашивает поехать в Гатчину. Говорит: «Поедем, милая, поскорей, может быть, мой приезд его поднимет, а если суждено... то я буду знать, что я скрасил ему последние минуты».

Но доктора все еще против поездки Куприна, ему требуется покой. Никто еще не знал, что и Куприн смертельно болен.

30. X. 37 г. Щербова Куприным: «Как тяжело переживать мне его страдания! Сознание, что вы есть у меня, очень меня поддерживает. Павел в бреду все вас вспоминал, все вас звал».

30. X. 37 г. мама пишет Щербовым, что «Александр Иванович сегодня заплакал, когда я читала в письме, что Павлу Егоровичу хуже. Решила ему больше правды не говорить».

Павел Егорович Щербов умер 31 декабря 1937 года, ночью, так и не увидевшись с Куприным.

В начале 1938 года мои родители решили поехать в Ленинград, с тем чтобы решить вопрос об окончательном местожительстве. Остановились у старого знакомого, портного Катуна. Когда-то отец предложил ему вывесить в приемной комнате следующую надпись:

В кредит не шью... Поставил точку.
Обычай дружбы мне не нов.
Наденет друг штаны в рассрочку,
И нет ни друга, ни штанов.

Вскоре Куприным предоставили квартиру на Лесном проспекте.

Мама мне пишет:

21/I—1938 г.

«Папа хворал, был в больнице, не хотела тебя огорчать. Теперь он дома, поправляется. Я пришла в себя и снова могу сесть за письмо.

У нас прекрасная квартира, 4 комнаты, ванная, кухня, центр. отопление, телефон.

Была у Щербовых, застала Павла Егоровича в агонии. 20 дней тому назад он скончался».

27/II—38 г.

«Ты спрашиваешь, какое впечатление от Гатчины? Конечно, очень сильное: стоит маленький зелененький домик, весь в снегу (эта зима очень снежная), в котором мы с папой были молоды, а ты была крошкой.

Весь поселок очень нарядный, от такого пейзажа глаз за 18 лет отвык. В самый дом не заходила — не хотела беспокоить людей».

Ни отец, ни мать так и не нашли в себе сил, чтобы зайти в зеленый домик. Слишком много воспоминаний было с ним связано, а они знали, что погоня за прошлым никогда ничего не дает.

2/VI—38 г.

«На этих днях едем в Гатчину, но не на свою дачу — на ней еще живут, нет еще помещения, куда бы их переселить. Мы пока будем жить у нашей соседки, с которой только теперь подружились. Приглашены на готовое.

Здоровье папы лучше, врачи надеются на полное выздоровление...»

Маленькая дачка Александры Александровны Белогруд, вдовы известного архитектора, существует и до сих пор, рядом с участком, где когда-то был зеленый домик.

Приехав в Гатчину, мои родители окончательно отказались от своего участка и от компенсации в 70 тысяч за него.

Жили они тихо. В саду Александры Александровны была масса цветов, она прекрасный и страстный садовод. Отец наслаждался, гулял маленькими шажками. Но болезнь и слабость усилились.

Ему стало очень плохо, врачи срочно решили перевезти его в Ленинград. За ним приехала санитарная машина. В последний момент Александра Александровна вдруг побежала на наш бывший участок и спешно набрала в корзиночку потомков когда-то посаженной отцом клубники Виктории. «Из вашего сада, Александр Иванович», — сказала она, поставив рядом с отцом сочные плоды. Куприн благодарно улыбнулся.

В Ленинграде врачи решили сделать отцу операцию.

24/VII—38 г.

«Ничего радостного о папе сообщить, к сожалению, не могу: у него рак пищевода! Операция ему сильно облегчила — его питают через желудок, он очень посвежел, но надолго ли это?

Сейчас проснулся (он много спит к его счастью) и первое слово — а дочка где, моя Ксения? — Я ему показала твой портрет с собачкой. Он сказал: «Какая она у нас красивая».

Я, конечно, чувствую себя придавленной судьбою... Сама понимаешь, смотреть на любимого человека и знать, что спасти невозможно!

В смысле ухода и окружения всем, что только возможно, он имеет: и лучшие врачи, профессора и знаменитости около него.

Что возможно для спасения или вернее для продления его жизни, все делается — одним словом, он на давно желанной Родине.

Я счастлива, несмотря на ужасное горе, что желание его и мечта сбылись».

Через неделю мама писала:

3/VIII—38 г.

«Нет слов, как мне тяжело тебе писать, что папочка тает с каждым днем...

О себе не пишу — ты ясно сама себе представляешь мое состояние — ведь папочка наш особенный! Нежен он со мною необыкновенно, но говорить уже не может. Но улыбается так мило, что сразу легче делается.

Больше не могу писать, сердце не выдерживает...»

Когда-то, заболев в молодости, Куприн сказал, что, умирая, он хотел бы, чтобы любящая рука держала его руку до конца.

Его желание исполнилось. Мама ни на минуту от него не отходила, и, несмотря на его слабость, всю свою оставшуюся силу он вкладывал, чтобы крепко, крепко держать маленькую ручку своей жены. Так крепко, что мамина рука затекала.

Мама записала в дневник все, что говорил незадолго до смерти отец:

«Я чувствую, что меня что-то вздернет, даже испуг будет, а потом я поправлюсь.

Я глупею, с головой что-то делается — помоги же мне, позови доктора.

Я не хочу умирать, жизни мне хочется. Ксению скорее позови, я не могу без нее больше».

Перекрестился и говорит: «Прочитай мне «Отче наш» и «Богородицу»,— помолился и всплакнул. — Чем же я болен? Что же случилось? Не оставляй меня».

«Мамочка, как жизнь хороша! Ведь мы на Родине? Скажи, скажи, кругом — русские? Как это хорошо!»

«Я знаю, что я иногда схожу с ума и бываю тяжел, но, милая, будь со мной милостива.

Я чувствую, что что-то ненормально, позови доктора.

Посиди со мной, мамочка, так уютно, когда ты со мной, около меня! Мамочка, люблю смотреть на тебя».

«У меня теперь какой-то странный ум, я не все понимаю.

Вот, вот начинается, не уходи от меня, мне страшно».

Александр Иванович Куприн умер 25 августа 1938 года. Моя мама погибла во время блокады Ленинграда пять лет спустя. Оба они покоятся рядом на Волковом кладбище. Это своего рода музей. Первым погребен здесь писатель-бунтовщик Александр Николаевич Радищев в 1802 году. Каждое имя на памятниках принадлежит прошлому, настоящему и будущему.

Вернувшись на родину, я, конечно, посетила Литераторские мостки, как теперь называется Волково кладбище.

Приближаясь к могиле отца, я увидела большой букет нарциссов, которые он очень любил и собственноручно сажал в нашем садике в Гатчине. Нарциссы были одним из первых чудес весны моего детства. Меня этот жест неизвестных почитателей растрогал до слез. Я часто приезжаю и долго гуляю по кладбищу, где похоронено много людей, связанных с моим отцом.

Вот высокий конус, похожий на «черного человека» — Леонид Андреев. Они часто ссорились с отцом. Вот задумавшийся над стопкой книг Н. К. Михайловский, на именинах которого полюбили друг друга мои отец и мать. А вот Мамин-Сибиряк с дочерью Аленушкой, а внизу под памятником скромная доска: Мария Морицовна Абрамова. Это моя родная тетка, сестра моей матери и мать Аленушки, для которой писались чудесные сказки. И. К. Гарин-Михайловский, о последней трагической встрече с которым мой отец написал очерк, С. А. Венгеров, А. Н. Будищев, забытый сейчас писатель, сосед и друг Куприна по Гатчине.

Здесь и старшее поколение великих мастеров: Тургенев, Салтыков-Щедрин, Гончаров, Успенский, Лесков, Кони. Добролюбов перед смертью попросил похоронить его рядом с Белинским, и вот уже более ста лет их два памятника окружает общая чугунная ограда.

Мои прогулки не грустные, здесь столько бессмертных.

Каждый оставил для потомства часть своей души, своего таланта и ума.

И я знаю, что и мой отец жив, жив в своих книгах, стоящих на полках миллионов советских людей.

Москва,
5 декабря 1968 г.

Творчество замечательного русского писателя А. И. Куприна очень любимо у нас в стране. Поэтому все, что связано с его личностью — воспоминания, письма, документы, обогащающие наше представление о нем,— дорого и вызывает большой интерес.

Из этих мемуаров, автором которых выступает дочь Куприна — Ксения, читатель узнает немало нового и важного о последнем тридцатилетии жизни писателя.

Книга «Куприн — мой отец» не носит научного или литературоведческого характера, поэтому читатель не найдет здесь исчерпывающего объяснения сложного пути А. И. Куприна, всех причин, в результате которых талантливый русский писатель оказался в эмиграции.

В то же время искренний и эмоциональный рассказ К. Куприной, насыщенный любопытными деталями, многое объясняет в биографии ее отца.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора 3
Глава I. Марья Морицовна 9
Глава II. Лизнно детство 15
Глава III. Куприн 19
Глава IV. Странствия 31
Глава V. Гатчина 44
Глава VI. Детство 51
Глава VII. «Сашка и Яшка» 60
Глава VIII. Война 63
Глава IX. Кавказ 67
Глава X. Щербов 78
Глава XI. 1917 год 84
Глава XII. 1918 год 90
Глава XIII. 1919 год 103
Глава XIV. Хельсинки 111
Глава XV. Париж 119
Глава XVI. Бунин 127
Глава XVII. Пригород 130
Глава XVIII. Лида 134
Глава XIX. Французская пресса 141
Глава XX. Эмигрантская пресса 147
Глава XXI. «Жаннета — принцесса четырех улиц» и «Ю-Ю» 154

Глава XXII. Эмигрантский быт 159
Глава XXIII. Бальмонт 165
Глава XXIV. Репин — Куприн 172
Глава XXV. Моя юность 191
Глава XXVI. Город Ош 198
Глава XXVII. Саша Черный 205
Глава XXVIII. Письма отца к моей маме . . . 219
Глава XXIX. Мрачные годы 225
Глава XXX. На Родине 237

Ксения Александровна Куприна

КУПРИН — МОЙ ОТЕЦ

Редактор **А. Д. Сконечная**
Художественный редактор **Н. Л. Юсфина**
Технический редактор **Т. Ф. Клапцова**
Корректор **Н. Д. Толстякова**

Сдано в набор 21/IV-70 г. Подп. к печ. 8/I-71 г. Формат бум. 84×108[1]/32. Физ. п. л. 8,0+20 вкл. Усл. печ. л. 15,54. Уч-изд. л. 15,27. Изд. инд. ХД-104. А06006. Тираж 75 000 экз. Цена 78 коп. в переплете. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия», Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Зак. № 1261. Отпечатано с готовых матриц в типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Зак. 2702.



«ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ»

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ

Михаил Шолохов. «Слово о Родине». Этой книжкой начинается издание серии книг «Письма из деревни».

В книжках этой серии писатели будут рассказывать о повседневном труде и жизни миллионов людей в колхозах и совхозах. О тех переменах, которые происходят на селе, как бы приоткрывая собой образ коммунистического завтра, о самом сельском труженике, умном, мужественном, духовно богатом герое наших дней, о его мыслях и настроениях. В книгу М. Шолохова вошли очерки «Слово о Родине» и «Свет и мрак». В первом очерке авторские раздумья о судьбах донского колхозного крестьянства конца сороковых годов. Второй очерк рассказывает о трудностях послевоенного возрождения в Придонье. Очерки написаны с остротой и силой, свойственными перу Шолохова-художника и Шолохова-публициста.

Помимо этих очерков в книгу включены беседы и речи, в том числе и выступление М. Шолохова на III Всесоюзном съезде колхозников.

В 1971 году выйдут из печати:
Книги серии «Письма из деревни»

И. Винниченко. **Это и есть жизнь**

Л. Иванов. **Добрые всходы**

Г. Радов. **Не упустить талант**

С. Шуртаков. **Село Андросово, откуда пошел род Ульяновых**

Покупайте книги в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.


Советская
Россия


Советская
Россия

Мария Морицовна Абрамова.

М. Гейнрих-Ротони — отец Марии Морицовны и Лизы.



Д. Мамин-Сибиряк, О. Гувале, Аленушка и Лиза.



М. Абрамова в роли Василисы Мелентьевны.



Лиза Гейнрих-Ротони во время русско-японской войны 1905 г.



Аленушка. 1912 г.



Любовь Алексеевна — мать А. И. Куприна.



А. И. Куприн. 1888 г.



Лида, дочь А. И. Куприна от первого брака.



А. И. Куприн в Киеве, 1897 г.



А. И. Куприн в Петербурге. Начало 900-х гг.



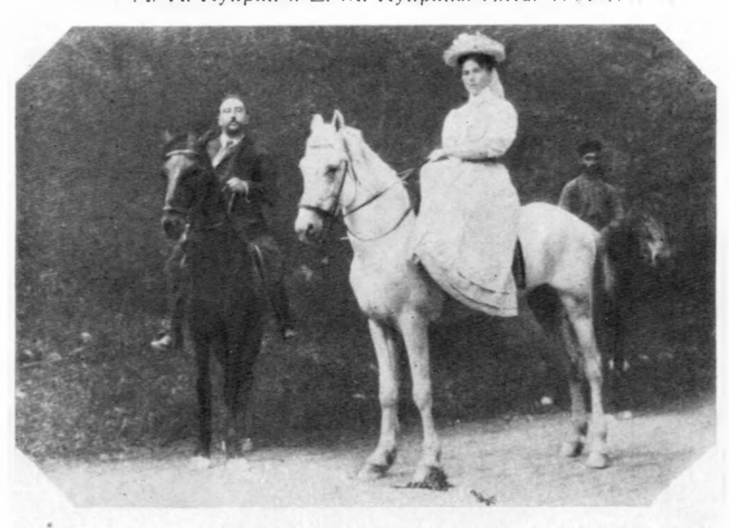
А. И. Куприн и Ф. Д. Батюшков в Даниловском.



Е. М. Куприна. 1909 г.



А. И. Куприн и Е. М. Куприна. Ялта. 1907 г.



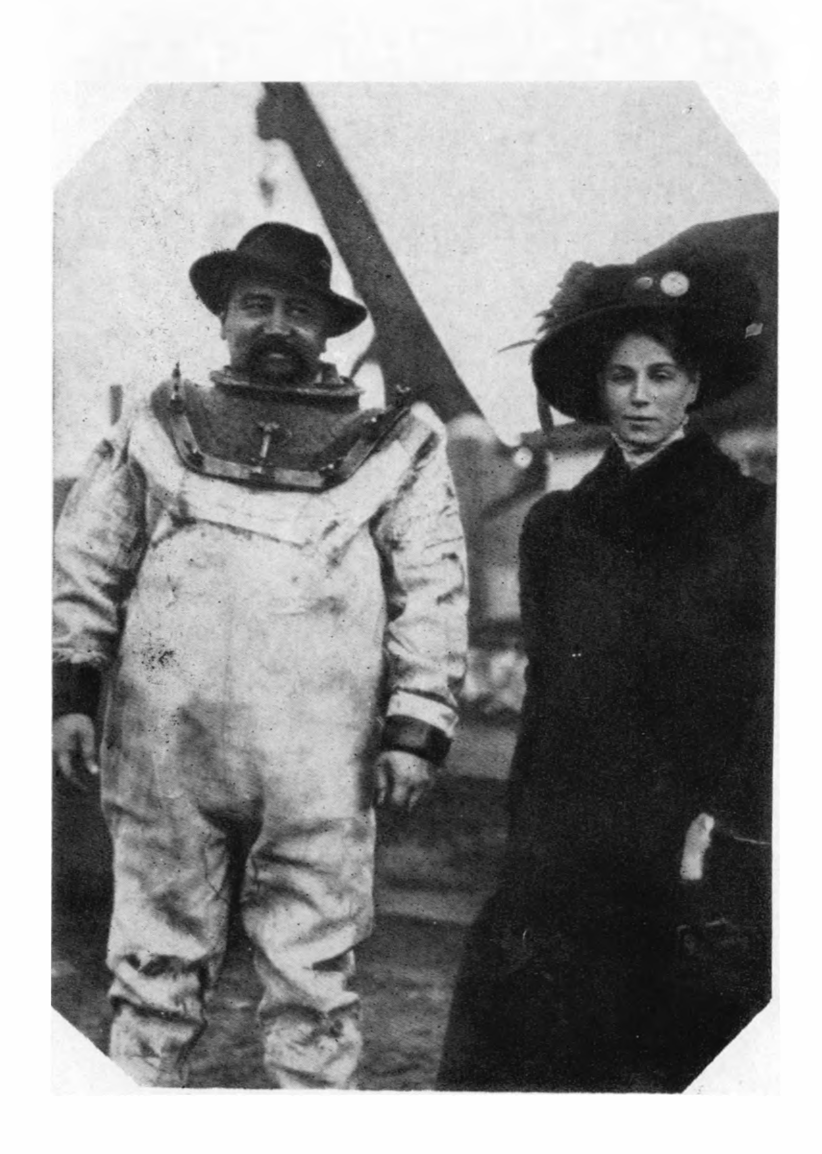
Семья Куприных в Одессе. 1910 г.



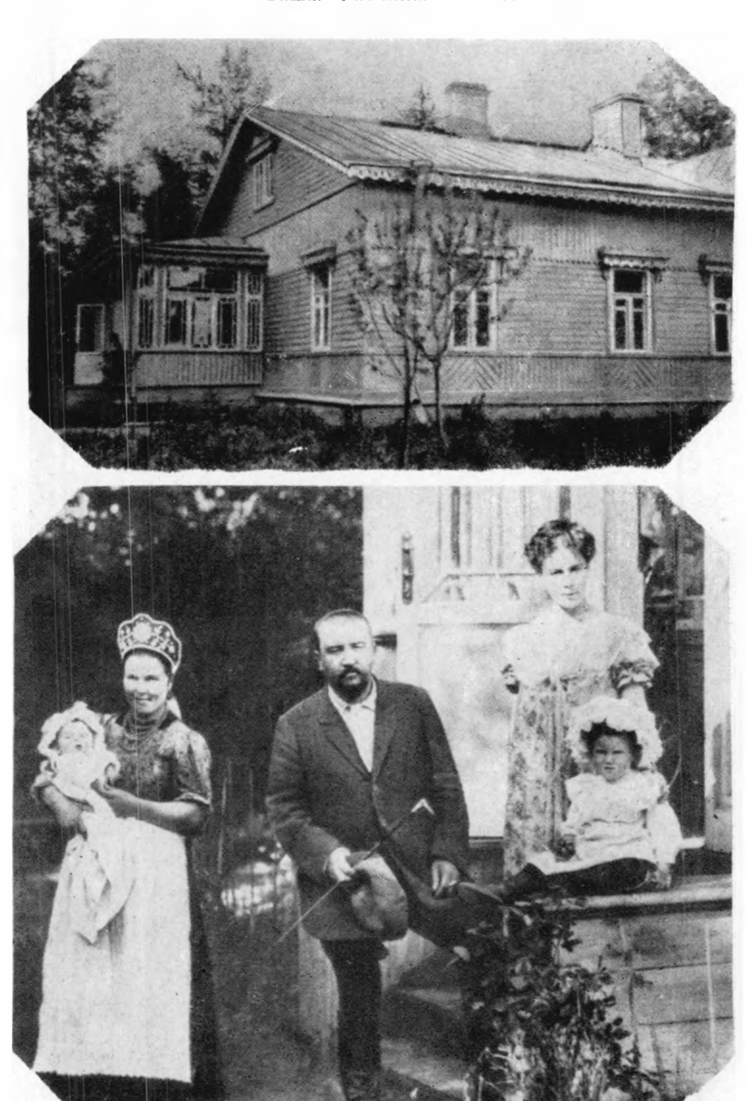
А. И. Куприн перед взлетом на воздушном шаре. 1911 г.



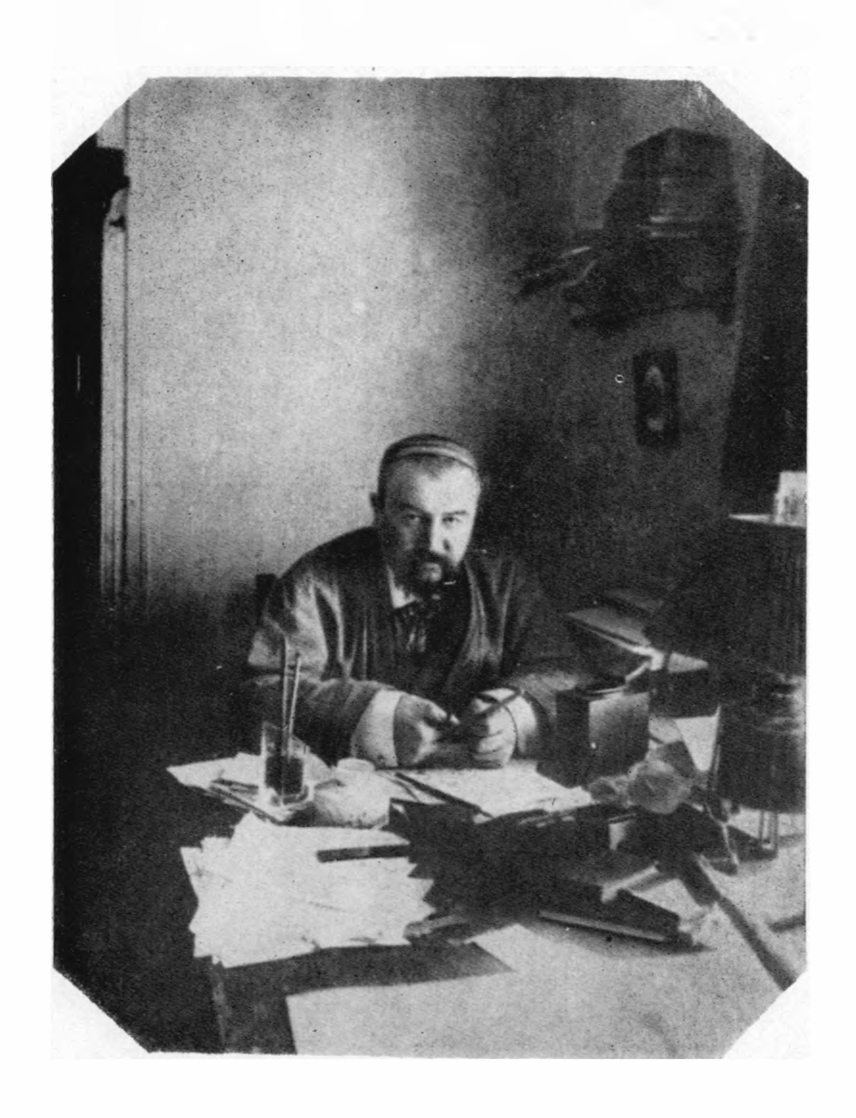
А. И. Куприн после спуска на морское дно и Е. М. Куприна.
1911 г.



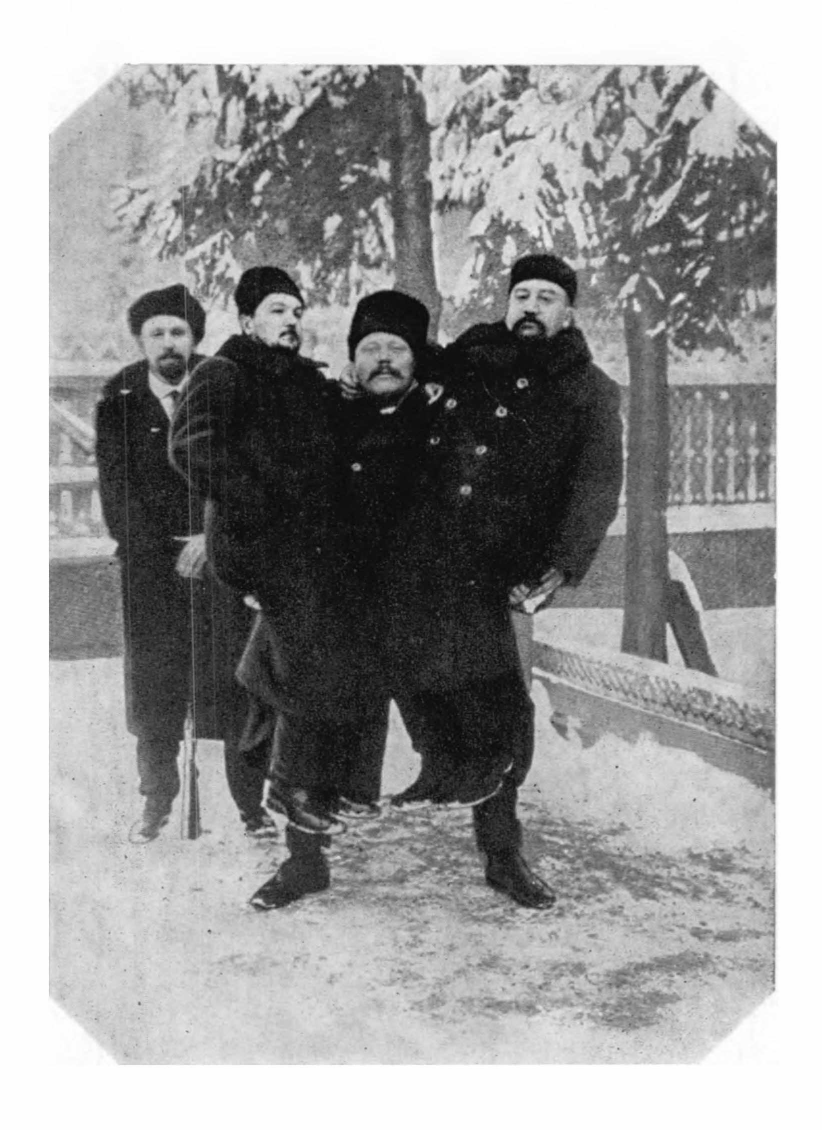
«Зеленый домик» А. И. Куприна в Гатчине.
А. И. и Е. М. Куприны с дочерьми Ксенией и Зиночкой и няня Саша. Гатчина. 1911 г.



А. И. Куприн в своем кабинете. Гатчина. 1912 г.



Борец Иван Заикин, справа А. И. Куприн, слева Будищев.



А. И. Куприн в гостях у Шаляпина. Петербург. 1912 г.



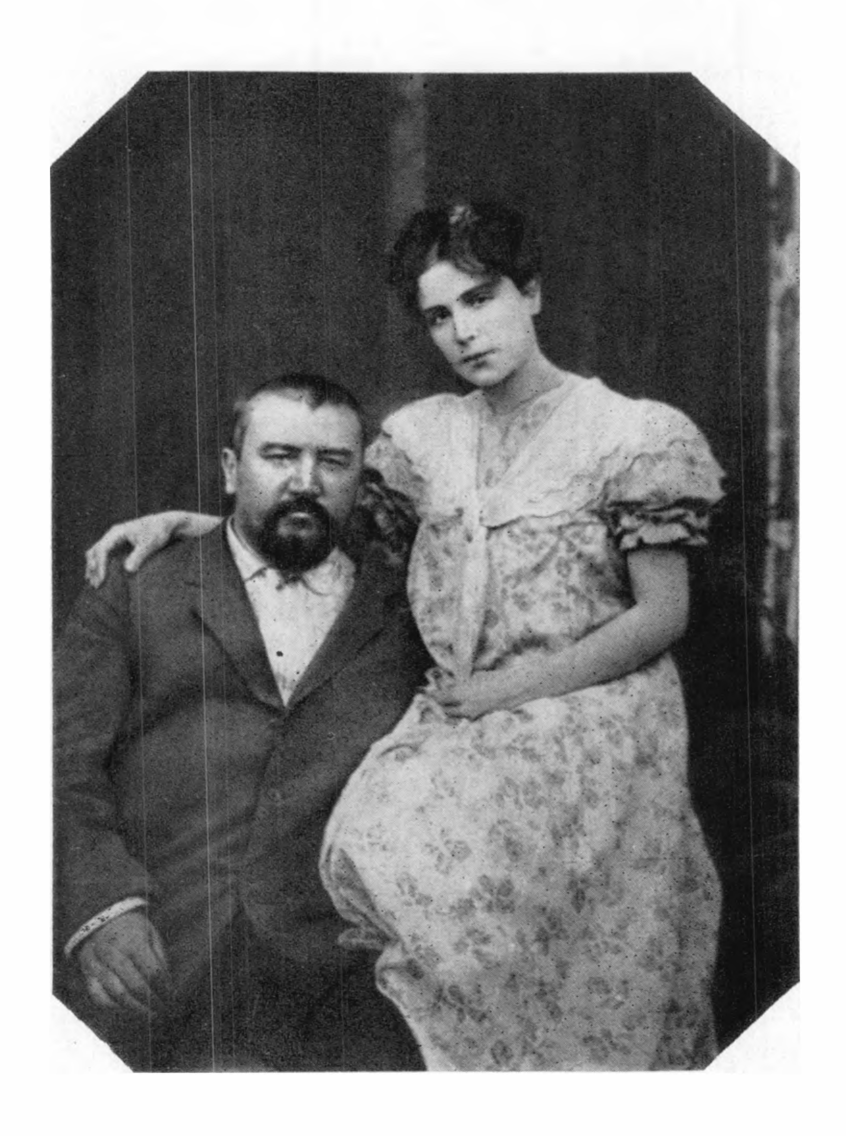
А. И. Куприн и клоун Жакомино. Гатчина. 1913 г.



Семья Куприных. Гатчина. 1913 г.



А. И. Куприн с женой Елизаветой Морицовной. Гатчина. 1913 г.



А. И. Куприн в своем огороде. Гатчина. 1913 г.



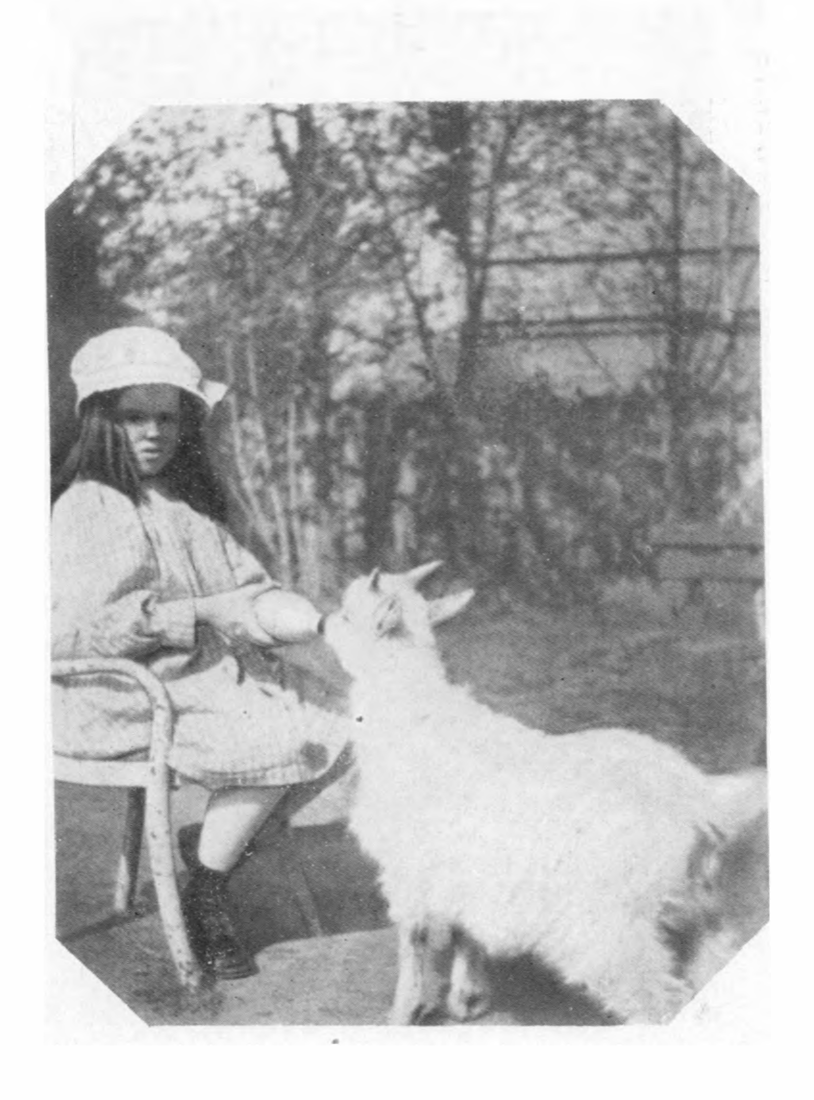
Куприн и дочь Ксения. Гатчина. 1913 г.

Куприн на прогулке с Сапсаном.

Завирайка — герой одноименного рассказа А. И. Куприна.



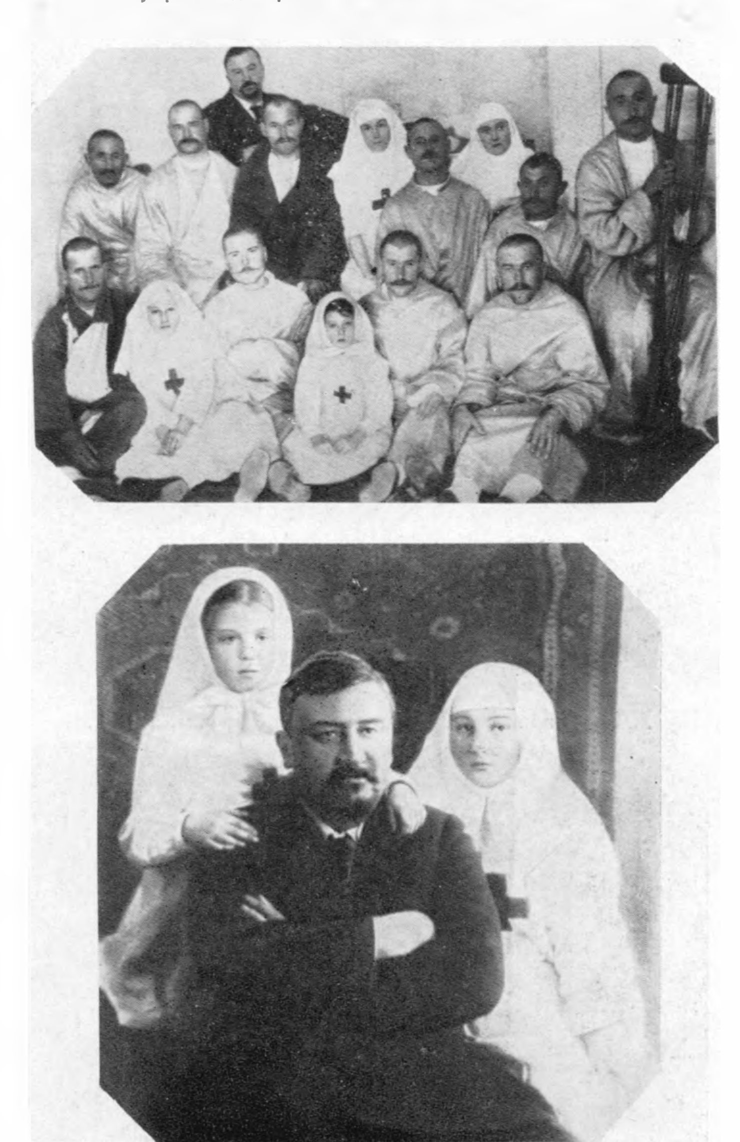
Дочь Куприна Ксения с козленком — героем рассказа «Козлиная жизнь».



Елизавета Морицовна и Александр Иванович Куприны во время первой мировой войны. 1914 г.



В госпитале, устроенном в «зеленом домике» в Гатчине. 1914 г.
Куприн с дочерьми Ксенией и Лидой. 1914 г.



А. И. Куприн и Мамонт-Дальский. Кисловодск. 1916 г.

А. И. Куприн с семьей Генсиорских. Тифлис. 1916 г.



Семья Куприных у плаката с изображением П. Е. Щербова.
Карикатура Щербова на А. И. Куприна и художника Троянского.



Mlle Kouprine

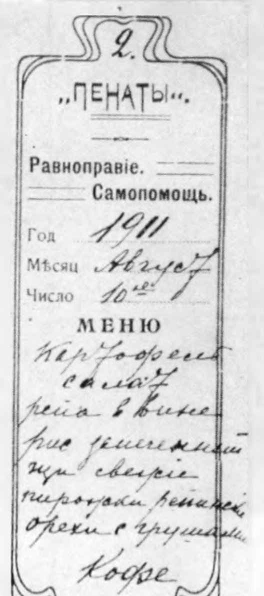
Фотографии Куприна и дочери Ксении, подаренные И. Е. Репину.



И. Е. Репин в «Пенатах».

Автографы.

„Слѣдует раскрѣпостить прислугу". Брошюра Н. Б. Сѣверовой.



2.

„ПЕНАТЫ".

Равноправіе.

Самопомощь.

Год 1911

Мѣсяц Август

Число 10-го

МЕНЮ

Картофель салат
репа в вине
рис [illegible]
щи свежіе
пирожки [illegible]
Орехи с грушами
Кофе

Правила круглаго стола.

1) Предсѣдатель обязан прежде всего — важничать.
2) За ним исключительное право снимать крышки с блюд и начинать кушанья.
3) Он обязуется напоминать присутствующим о солнечной энергіи.
4) Взаимная помощь между присутствующими не допускается.
5) Идея самопомощи должна торжествовать.
6) За нарушеніе этого принципа, т. е. за помощь ближнему виновный наказуется рѣчью.
7) Именные тосты не допускаются. Тосты должны быть облечены идеями.
8) Обѣд составленный из диких трав, преслѣдует идею раскрѣпощенія от ига старых идолов.
9) Подводить ближних для того, чтобы укрѣпить их в принципах круглаго стола, считается добродѣтелью.

А. И. Куприн. Париж. 1924 г.



Моей Красавицѣ

Alexandre Kouprine

Цѣнитель изящнаго.

1bis Boul.d Montmorency XVI:

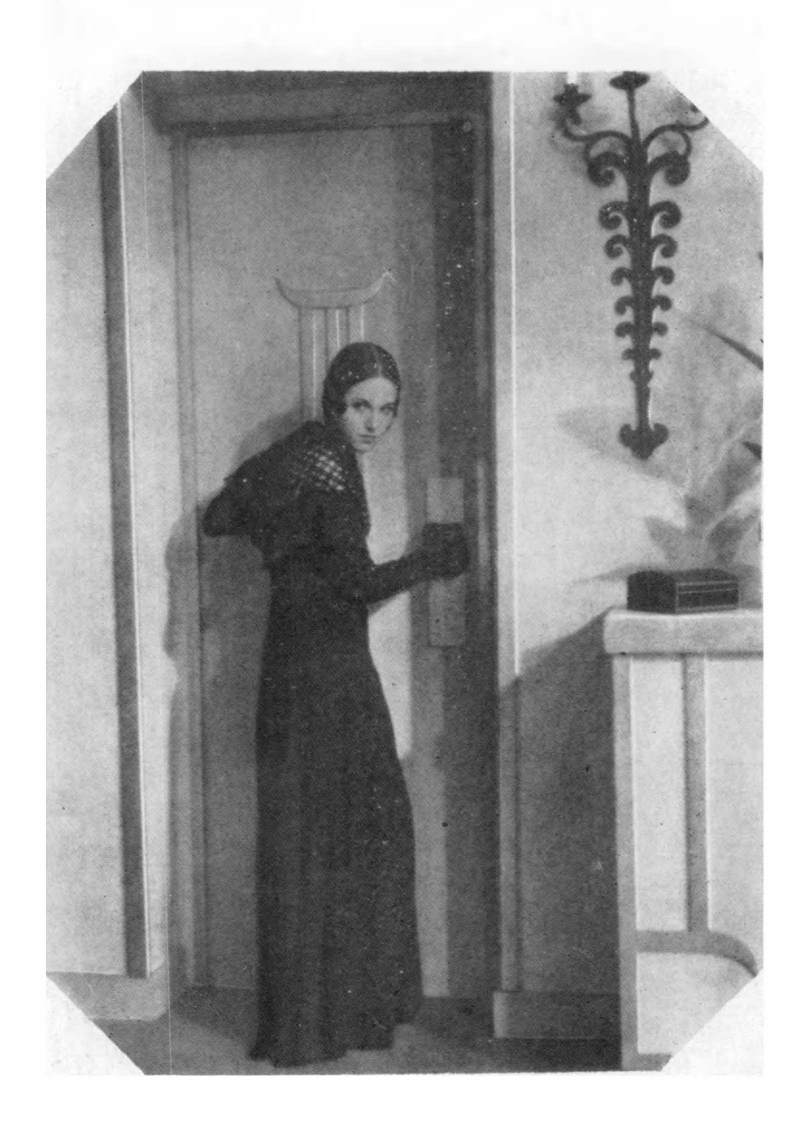
Ахъ! нѣтъ другова мнѣнія:
Всѣхъ краше, ~~[illegible]~~ въ мiрѣ Ксеня:
~~Свидѣтели~~ [illegible] кинематографы
и разные фотографы,
и такие господа.

Купринъ

К. Куприна — манекенщица. Париж, Дом моделей «Поль Пуаре». 1926 г.



К. Куприна в фильме «Духи дамы в черном». Париж. 1933 г.



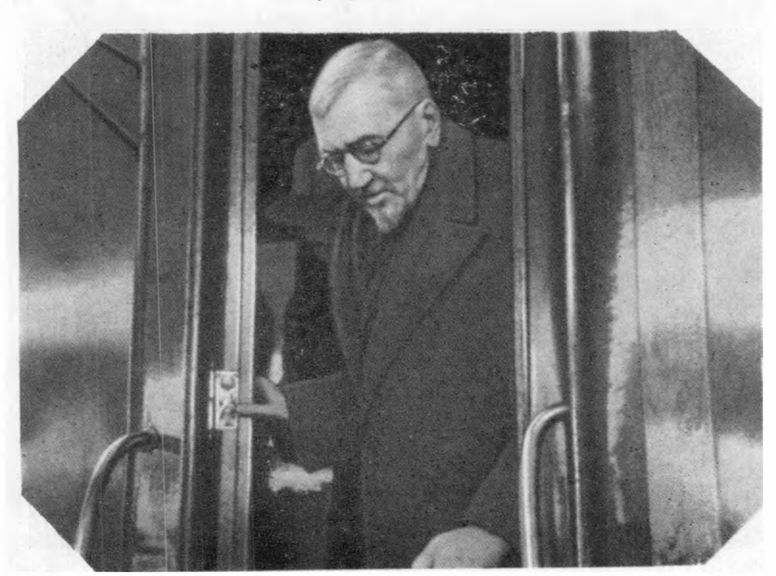
К. Куприна. Париж. 1936 г.



А. И. Куприн в своей библиотеке в Париже. 1936 г.



Возвращение на родину.



А. И. Куприн и Е. М. Куприна на Белорусском вокзале в Москве. 1937 г.



Куприн в гостинице «Метрополь». Москва. 1937 г.

Ф. Е. Долидзе и К. А. Куприна. Встреча в Москве спустя 44 года.

